РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ–АВГУСТ

"НАУКА"

МОСКВА – 2000

СОДЕРЖАНИЕ

Р.К. Потапова, В.В. Потапов (Москва). Фонетика и фонология на стыке веков: идеи, проблемы, решения 3
Л.П. Крысин (Москва). Социальная маркированность языковых единиц 26
Р.З. Мурясов (Москва). Неличные формы глагола в контрастивно-типологическом видении 43
М.Я. Блох (Москва). Диктема в уровневой структуре языка 56
О.Ю. Крючкова (Саратов). Редупликация в аспекте языковой типологии 68
Г.И. Кустова (Москва). Когнитивные модели в семантической деривации и система производных значений 85

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

О.А. Радченко (Москва). Проблема языкового сообщества в немецкой философии языка первой половины XX века 110

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

В.А. Плунгян (Москва). Typology of verbal categories: Papers presented to Vladimir Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday 139
А.И. Фалилеев (С.-Петербург). *G. Isaac.* The verb in the Book of Aneirin. Studies in syntax, morphology and etymology 144
В.Г. Буров, Б.Ю. Городецкий, А.Л. Семенас (Москва). *Ли Цинь.* Категория не-/определенности в русском языке: языковые средства и их функции в речи 150
В.М. Алпатов (Москва). *Partrick Sériot.* Structure et totalité. Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale 155

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), *М.М. Маковский* (отв. секретарь), *А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (зам. главного редактора), *Ю.В. Откупщиков,* В.М. Солнцев, *О.Н. Трубачев* (главный редактор), *А.М. Щербак*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2
Институт русского языка имени В.В. Виноградова,
редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-25-16

© Российская академия наук
Отделение литературы и языка РАН, 2000 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2000

© 2000 г. Р.К. ПОТАПОВА, В.В. ПОТАПОВ

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ НА СТЫКЕ ВЕКОВ: ИДЕИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Одним из знаменательных признаков развития фонетики и фонологии последнего десятилетия XX века является обращение лингвистов к учению Н.С. Трубецкого, к тем его направлениям, которые не нашли должной разработки по причине активного использования других теоретических концепций. Свидетельством возросшего интереса к наследию Н.С. Трубецкого служит выход в свет следующих книг: в России – "Н.С. Трубецкой и современная филология" [ТСФ 1993] и за рубежом – "Trubetzkoy's orphan" [TO 1996].

Как пишет В.К. Журавлев: «...вершина фонологии – это Трубецкой с его стремлением вскрыть механизмы связанности системы в нечто целое, "связанности" достижений своих предшественников – Бодуэна и Щербы, Яковлева и Якобсона, Мартине и Трнки. И ни одна из предшествующих и последующих концепций не имела и не имеет столь общенаучного характера... Лишь став вполне самостоятельной научной дисциплиной, фонология смогла оказать революционизирующее влияние на многие области знания: теорию письма, стиховедение и стилистику, литературоведение,... символическую логику, теорию формальных систем, теорию чисел, комбинаторную геометрию,... кибернетику и многое другое» [Журавлев 1993: 172].

Книга "Trubetzkoy's orphan" [TO 1996], которую согласно содержанию можно было бы озаглавить как "Судьба наследия Трубецкого", представляет собой расширенное издание материалов круглого стола по теме "морфонология", проходившего в г. Монреале в 1994 г. В качестве основного предмета обсуждения выступала морфологическая фонология, или морфонология, идеи которой определены Н.С. Трубецким в его статье [Trubetzkoy 1931]. Пафос организации вышеуказанного мероприятия связан с тем, что (и это отражено в названии книги "Сиротство Трубецкого") некоторые положения Н.С. Трубецкого в области морфонологии, к сожалению, не получили своего дальнейшего развития вследствие возникновения и активной "эксплуатации" ряда положений морфонологического направления, разрабатываемого такими учеными, как М. Халле, Н. Хомский, А. Мартине, В. Дресслер и др.

В дискуссии по данной проблеме нашли отражение различные точки зрения. Так, П. Кипарский охарактеризовал свое отношение к вопросу позиции фонологической/морфологической границы; В. Дресслер подытожил основные положения "ступенчатой" теории, отвечая критикам и формулируя дополнительные аргументы в ее защиту. Предпринимается попытка воссоздания традиционной концепции (противоположной точке зрения Панини), согласно которой морфологические чередования рассматриваются в рамках морфологии. При этом приводятся доводы в пользу функционирования корневой аморфной морфологии. Раздел морфологии, включающий формальные закономерности построения лексем и словоформ из морфем, а также внутреннюю структуру морфем, рассматриваемых в плане выражения, иногда называют морфемикой. При более узком понимании объем морфологии сводится к морфемике (у А. Мартине – фактически к морфонологии). Раздел морфологии, содержащий структуру формативов, формальные закономерности их сочетаемости и контекстнообусловленное варьирование фонемной структуры их контекстных представителей ("мор-

фонемику"), соотносят с морфонологией. В книге подобная дифференциация представлена с помощью следующей схемы морфонологии (см. табл. 1):

Таблица 1

	Морфемы	Неморфемы
Морфонологические признаки	Метод/модель "единица и процесс"	Аморфная морфология
Неморфонологические признаки	Метод/модель "единица и аранжировка"	Слово и парадигма

В зависимости от метода/модели "единица и процесс" и аморфной морфологии предполагается, что существует различие между элементами морфонологии и алломорфами, однако выявить критерий дифференциации достаточно сложно. В отношениях лексической фонологии и морфологии выстраивается следующая модель:

Наименьшими единицами в словообразовании и словоизменении являются морфемы, некоторые из которых не могут быть самостоятельными словами (аффиксы, связанные корни). Морфема связана с фонологическими, синтаксическими и семантическими репрезентантами. В то же время морфема не может быть связана более чем с одним синтаксическим, семантическим или фонологическим репрезентантом. Одно или более из вышеуказанных трех измерений репрезентации может отсутствовать применительно к данной реализации морфемы. Лингвистические репрезентации (синтаксические, семантические и фонологические) составлены из универсального инвентаря соответствующих атомарных элементов, некоторые из которых являются "признаками". Часть модуля морфологии образует алломорфы, которые обладают следующими качественными характеристиками:

– являются специфицированными единицами;
– могут включать более чем один сегмент;
– вступают в силу до действия всех морфонологических правил; подчиняются морфологическим условиям;
– обусловлены морфологически или фонологически.

Морфонология (или лексическая фонология) определяется как лингвистический ярус, который:

– не является специфицированной единицей;
– включает только единичные сегменты;
– подчиняется фонологическим условиям;
– вступает в силу после всех правил реализации алломорфов;
– обусловлен морфологически или фонологически.

Относительно связи морфопросодии и типов ударения следует указать на существование трех типов членения и дифференциации:

1. различение слов (например, рус. "мука́" и "му́ка");
2. функциональные типы членения, характеризующие:

а) кумулятивную функцию (Gipfelbildung);
б) разграничительную функцию (Abgrenzung);

3. градация слов во фразе.

Особая роль принадлежит ритмическому ударению, которое соотносится со следующими видами:

– эксплицитный (выраженный) ритм, включающий традиционно называемые "акцентуированные системы", в которых распределение ритмической структуры зависит исключительно от просодических факторов;

– имплицитный (скрытый) ритм, относящийся даже к тем языкам, которые не демонстрируют модель второстепенного (побочного) ударения, и, в которых, тем не менее, присутствует скрытый ритм.

Морфонология освещается лингвистами с различных позиций: исследуется в терминах лексической фонологии (например, Кипарский, Моанан); естественной фонологии или морфологии (Дресслер); объединенных в единое целое морфологии и фонологии (Сингх, Форд). Следовательно, три основные модели морфонологии могут быть представлены следующим образом (см. табл. 2):

Таблица 2

	Лексическая фонология	Естественная фонология/ Морфология	Генеративная фонотактика "слово и процесс"/ морфология
Словообразование	Однонаправленные правила; морфолексические правила	Однонаправленные правила	Двунаправленные правила
Морфонология	Лексические правила	Морфонологические Алломорфные и морфологические правила	Часть правил словоформ
Фонология	Лексические правила	Фонологические правила	Грамматические правила
Фонетика	Постлексические правила	Стилистические фонологические правила	Стилистические правила

Отрадным является тот факт, что исследования последних лет направлены также на разработку фонетико-фонологических проблем с позиций диахронии. Так, "Древнерусская грамматика XII–XIII вв." [ДРГ 1995] является первым в отечественной и зарубежной русистике опытом синхронного описания фонетики и морфологии древнерусского языка на определенном историческом этапе его развития. При этом фонетика представляется как система элементов в их взаимных связях и соотношениях. В данном случае речь идет о составе единиц, образующих фонетико-фонологическую систему, их синтагматике и опирающейся на нее парадигматике. В области фонетики и фонологии это связано прежде всего с установлением количества функционально значимых единиц (фонем), возможностей и ограничений их сочетаемости на синтагматической оси и условий противопоставления фонем на парадигматической оси.

Необходимой составной частью грамматического описания является установление того, как реализовывались эти системные отношения на уровне древнерусской речи, отраженной в той или иной степени на материале памятников. При этом фонетико-фонологический уровень определяется с учетом характера реализации фонем в звуках-аллофонах, а также фонемных сочетаний, когда под действием фонетических законов сочетания аллофонов подвергались изменениям (изменялся характер реальных противопоставлений звуковых единиц в тех или иных фонетических условиях). Подобное рассмотрение явлений, связанных с реализацией системных фонологических отношений, дает возможность в максимальной реконструкции представить фонетико-

фонологическую систему древнерусского языка в ее действительном функционировании в речи XII–XIII вв.

Согласно структуре данного источника сначала представлен состав гласных и согласных фонем, его постоянные и переменные элементы, затем – гласные и согласные в синтагматике и парадигматике, причем особое место занимает анализ сочетаний согласных, а также процессы, связанные с реализацией фонологической системы в речи. Проанализированы безударный вокализм, "новый *ять*", второе полногласие, ассимиляция и диссимиляция согласных и некоторые другие явления, которые могут быть интерпретированы как отражение живых фонетических процессов, протекавших в языке XII–XIII вв. в памятниках древнерусской письменности. Таким образом, с одной стороны, реконструируется та единая фонологическая система, которая характеризовала *древнерусский язык* данного периода *в единстве его диалектов*, отличавшихся в фонологическом плане лишь в отдельных звеньях этой системы, что не приводило к разрушению этого единства. С другой стороны, реконструируются те фонетические явления и процессы, которые характеризовали различия древнерусских диалектов, возникавшие при реализации фонологической системы в древнерусской речи.

Установить отличительные черты древнерусских диалектов в отдельных звеньях фонологической системы и их различия, обусловленные особенностями, возникающими в живой речи, оказалось возможным только лишь с учетом *территориальной* (= *диалектной*) принадлежности памятников письменности (фонетико-орфографический анализ).

Орфографические данные старших списков памятника "Житие Андрея Юродивого" свидетельствуют о существовании на древненовгородской территории диалектов, знавших (очевидно, еще после падения редуцированных) слоговые плавные с тенденцией к вокализации гласных призвуков при плавном – после, перед или с двух его сторон. Эти данные еще раз подтверждают получающую все большее обоснование концепцию изначальной диалектной гетерогенности восточнославянского ареала, восходящей к позднепраславянской эпохе, и свидетельствуют о генетических связях древненовгородских диалектов с диалектами южно- и западно-славянского мира [Шевелева 1996].

Тексты "Памятники обороны Смоленска 1609–1611 гг." позволяют восстановить фонетическую систему смоленских говоров начала XVII в. в достаточно полном объеме [Галинская 1996]. Сопоставление реконструированной совокупности языковых особенностей с тем состоянием смоленского диалекта, которое зафиксировано в XX в., дает возможность представить систему в динамике и показать, как те или иные фонетические явления располагаются на временной оси. Подробно анализируются фонетические особенности смоленских говоров, имевшиеся в начале XVII в. и оставшиеся неизменными до наших дней, а также фонетические особенности в системе смоленских говоров начала XVII в., отличавшиеся от современного состояния последних. На основе представленного языкового материала можно сделать вывод, что в начале XVII в. смоленский диалект наряду с особенностями, которые не подверглись за последние четыре столетия изменениям, имел – в фонетическом плане – некоторые существенные отличия от того его состояния, которое зафиксировано в XX в.

Новая концепция фонологических исследований [Черкасов 1996] дает возможность предполагать о развитии достаточно новой стадии в фонологии – системной фонологии. Теория лингвистических систем, основанная на анализе русского и английского фонологического материала, может также найти свое применение в исследовании любого лингвистического явления, не связанного с фонологией. Данный подход в рамках теории лингвистических систем характеризуется конкретностью и позволяет делать однозначные выводы. Этим системная фонология достаточно четко отличается от других фонологий, в частности от функциональной, в которой исследование считается законченным после выявления отсутствия оппозиций. Звуки, не образующие оппозицию, рассматриваются в системной фонологии с учетом определения их связей

со значением морфемы. При этом могут обнаруживаться новые явления, скрытые при функционально-фонологическом подходе.

В данном случае можно говорить о дальнейшем развитии фонологической теории. К понятиям фонемы и архифонемы (Н.С. Трубецкой), а также фонемы и гиперфонемы (Московская фонологическая школа) добавляется новый элемент – квазифонема. Используются квантовый, парадигматический, синтагматический и коммуникативно-функциональный подходы к выявлению принципов организации звучащего текста, которые предполагают совокупное действие всех фонологических уровней языкового механизма при продуцировании и восприятии текста подобно параллельному вычислению в интеллектуальных системах. Данный подход приводит к использованию частнолингвистических методик моделирования, дескрипции и инструментального анализа при изучении фонологического строя языка в аспектном рассмотрении.

На основе применения признакового, парадигматико-синтагматического и коммуникативного принципа Е.Ф. Киров развил и эксплицитно представил фонологическую концепцию [Киров 1997], описывающую фонемные единицы языкового общества, языка адресанта и языка адресата, что соответствует представлениям о языке, принятым в компьютерной лингвистике (см. работы Э.В. Попова, Р.К. Потаповой и др.). В данном случае речь идет о модельном представлении ментальной, парадигматической, синтагматической и коммуникативной фонемы; создана таблица гласных и согласных фонем русского языка в едином признаковом пространстве. Установлены деривационные отношения в системе парадигматических и коммуникативных фонем русского языка. На основе статистических подсчетов обнаружена делимитативная функция морфонем русского языка. Обнаружен градационный принцип функционирования фонемных единиц в процессе коммуникации, что приводит к формированию концепции градационной фонологии. С этих же позиций дано описание системы фонем русского языка в синтагматическом и коммуникативном аспектах. Установлено, что фонемы в разных аспектных представлениях имеют разную функцию:

а) фонемы в изолированном парадигматическом представлении обладают сегментирующей функцией;

б) фонемы в синтагматическом представлении обладают функцией "складывания" кортежа означающего морфемы;

в) фонемы в коммуникации обладают доминирующей символизирующей функцией.

Парадигматически в аспектном представлении выделяются фонемы языка и фонемы идиолекта, которые могут быть представлены модельно и образуют единую систему, структурированную тема-рематически и на основе деривационных отношений. Синтагматически фонемы языка составляют кортежи означающего морфем и лексем, представляемых как парадигматические единицы словаря морфем и лексем, при этом наряду с синтагмофонемами выделяется синтагматическая гиперфонема (или аспектно слабая фонема) и синтагматическая квазифонема (неразрешимая гласная единица в сверхслабой позиции), а также морфонема как делимитативная единица.

Коммуникативные фонемы представляют собой тема-рематически структурированное дисперсионное поле различительных признаков и составляют коммуникативные кортежи словоформ, служащих символами парадигматических лексем и морфем. Символизация парадигматической и синтагматической единицы языка является коммуникативным принципом функционирования языка.

На основе проведенного анализа возникает возможность комплексного рассмотрения фонемного строя русского языка в различных аспектах, что является предпосылкой для включения материала в проблематику исследований по искусственному интеллекту и прежде всего в проблематику речевой связи между человеком и интеллектуальной системой [Потапова 1989; 1997б]. Таким образом, разные фонологические концепции могут находиться не в альтернативных, а во взаимодополняющих отношениях, что может привести к построению комплексной фонологической концепции, ориентированной на решение прикладных задач создания лингвистического интерфейса в рамках искусственной интеллектуальной системы, которая способна

воспринимать информацию на естественном языке в фонетической форме. В связи с описанием парадигм русских согласных фонем [Бархударова 1999] впервые ставится вопрос об установлении границ парадигм фонемы и предлагаются пути ее решения. Проделанный анализ показал, что структурные свойства фонем могут быть разными. В русском языке их описание сводится, главным образом, к описанию парадигматического свойства русских фонем. С опорой на идеи Р.И. Аванесова о фонемном ряде как высшей фонетической единице и положение К.В. Горшковой о парадигматическом устройстве русских фонем были описаны парадигмы русских согласных фонем. В ходе этого описания учитывалось не только варьирование по глухости-звонкости и твердости-мягкости, но и нейтрализация по месту и способу образования.

Парадигмы характерны для всех согласных фонем русского языка. Неполнота и даже ущербность некоторых парадигм имеет место в русском консонантизме только как частный случай на фоне наличия полноценных парадигм как обычного явления в русской фонетической системе. Парадигмы русских согласных содержат от одного до семи членов. Парадигматический характер русского языкового строя очевиден на фоне сопоставления с фонетическими системами языков преимущественно синтагматического характера. В таких языках фонемы редко вступают в перекрещивающийся тип позиционных чередований и соответственно далеко не каждая фонема представлена парадигмой, а иногда наличие парадигм у фонем может быть лишь в единичных случаях. Принадлежность русского языка к языкам преимущественно парадигматического языкового строя проявляется и в том, что парадигмы согласных фонем чрезвычайно частотно представлены в позиции границ конкретных морфем. Парадигматические закономерности, определяющие в русском языке структурные свойства согласных фонем, являются относительно устойчивыми. В то же время в некоторых случаях, главным образом в позиции нулевой реализации фонем, наблюдаются неустойчивые фонетические чередования. Несмотря на непоследовательный характер, они являются позиционными при условии, что отступления от этих чередований не лексикализованы. Наличие таких чередований сближает русский язык с языками преимущественно синтагматического звукового строя, в которых, однако, неустойчивость несравненно чаще присуща парадигматическим закономерностям.

Несмотря на четко обозначенную парадигматическую направленность русской фонетической системы, в ней просматриваются синтагматические закономерности и тенденции, которые не обуславливаются парадигматикой. Сопоставление русского языка с английским, венгерским и испанским языками показало, что структурные различия языков на фонемном уровне являются следствием их различного устройства на других уровнях, различной степени их парадигматичности в целом. Если для языка характерна широкая словообразовательная и словоизменительная парадигма, как это имеет место в русском языке, то и фонемы обладают большими возможностями для увеличения своих парадигм. Поэтому в русском языке синтагматическое распределение звуковых единиц чаще всего предопределено парадигматическими закономерностями, в то время как в преимущественно синтагматических языках значительное число синтагматических отношений от них не зависит. Таким образом, в языках синтетического флективного грамматического строя ведущими являются парадигматические закономерности, а в языках аналитического грамматического строя – синтагматические. Следовательно, устройство фонемы отражает устройство основной значимой единицы языка (слова). Именно поэтому возникновение склонности к аналитизму и агглютинативности в русской грамматической системе предопределило появление некоторых синтагматических закономерностей в звуковом строе русского языка.

В работе [Зубкова 1990] на материале генетически и типологически различных языков определены универсальные и типологические закономерности фонемной структуры слова как значащей единицы, связанной иерархическими отношениями с морфемой и предложением. Раскрыта зависимость фонологической типологии слова от типологии грамматического строя языка. Сама возможность построения цельносистемной типологии не вызывает сомнений. Эта уверенность основана на том, что фонологи-

ческая типология слова, являясь отражением его конститутивных и парадигматических связей, его функционально-семантических и грамматических характеристик, соотносится с морфологической типологией.

На пути от линейной фонологии к нелинейной генеративная фонология претерпела те же изменения, что и генеративная грамматика в целом: развитие шло от теории правил к теории представлений. В настоящее время фонологические закономерности объясняются не действием фонологических правил, а определенными свойствами *внутреннего устройства фонемы* (*геометрии признаков*), многоуровневой иерархической структурой фонемных сочетаний (просодической иерархией) и модульным построением грамматики языков. Возможность или невозможность тех или иных фонологических правил целиком определяется универсальными свойствами внутренней структуры фонем и их сочетаний. Задача современного фонолога сводится не к описанию правил в отдельных языках, а к выяснению универсальных структурных характеристик фонем и супрасегментных единиц.

В последние годы изучение фонологических представлений привело к развитию теории универсальных законов фонотактики (правильность построения поверхностных структур) и идей, связанных с гармонией. Объяснительная роль фонологических правил, и без того сильно уменьшившаяся в нелинейной фонологии, свелась почти к нулю в теориях гармонии, где правила понимаются просто как исправление "плохих" фонологических структур под давлением универсальных законов гармонии.

В теории оптимальности (optimality theory) [Prince, Smolensky 1993; McCarthy, Prince 1994] основное внимание уделяется выяснению условий гармонии (или правильности) конечных результатов фонологических операций. Главной особенностью этой теории стал ее полный отказ от последовательного многоуровневого механизма, т.е. механизма порождения поверхностной структуры слов из глубинной структуры, лежавшего в основе нелинейной фонологии. Теория оптимальности предлагает заменить концепцию правил и последовательной деривации законами фонотактики и их взаимодействием. В теории оптимальности фонологический модуль языкового аппарата человека является системой статических принципов гармонии (правильности построения конечных, поверхностных форм слов). Теория оптимальности признает только два уровня фонологического представления: глубинную структуру и конечную поверхностную форму. Она отказывается от поэтапного процесса порождения слов, где между глубинной и поверхностной структурами слова может возникать несколько промежуточных представлений. Теория оптимальности предполагает, что все принципы гармонии универсальны – они существуют во всех языках. Однако языки отличаются по тому, какую ступень в иерархии значимости занимают эти принципы гармонии, так как все принципы гармонии в данном конкретном языке применяются в определенном порядке. Некоторые законы запрещают изменение глубинной структуры слова (удаление или вставка фонем), т.е. невозможно беспредельное "улучшение" (оптимизация) глубинной структуры слова.

Согласно теории оптимальности различие между языками заключается в степени значимости того или иного принципа гармонии: если изменить иерархию значимости принципов гармонии, получится другой язык. Любое изменение глубинной структуры негармонично, если не происходит "улучшения плохой формы". Языки различаются не разными правилами и не принципами фонотактики, а той значимостью, которую они придают универсальным принципам гармонии. Теория оптимальности как новый шаг в развитии теории гармонии, представляющая собой наиболее перспективное направление в современной американской фонологии, вообще отказалась от концепции фонологических правил и идеи последовательной деривации. Кроме того, теория оптимальности знаменует собой не только окончательный отход от концепции правил, но и частичный отход от теории представлений, пришедший на смену правилам. Многие фонологические представления проще определяются как результат следования законам правильности построения конечных форм, потому что законы гармонии не абсолютны и могут выполняться частично и притом по-разному в разных языках, в то

время как теория представления позволяет делать только категорические предсказания для всех языков.

Таким образом, американская фонология за последние тридцать лет прошла путь от теории, где представления не играли никакой роли, к теории, целиком посвященной изучению нелинейной фонологической структуры и обратно – к теории, где представления утрачивают свою центральную роль [Зубрицкая 1997].

Проблема слога и слогоделения в русском языке давно привлекает внимание исследователей русской фонетики: одним из первых на эту тему высказался еще в 1747 г. В.К. Тредиаковский, последними работами являются [Панов 1995] и [Князев 1999]. Значительный вклад в этой области был внесен такими исследователями, как Л.В. Бондарко [Бондарко 1977], Л.Р. Зиндер [Зиндер 1979], Р.К. Потапова [Потапова 1986]. За это время было создано несколько теорий слогоделения. Таковы, в частности, теория имплозии/эксплозии (Ф. де Соссюр), теория мускульного напряжения (Л.В. Щерба), теория слога как волны сонорности и т.д. Именно последняя теория была сформулирована на русском языковом материале Р.И. Аванесовым и подробно разработана в трудах М.В. Панова. При этом все существующие в отечественной лингвистике теории строятся на каком-либо одном критерии слогораздела – акустическом (Р.И. Аванесов), артикуляционном (Л.В. Щерба и Ф. де Соссюр), дистрибутивном (В.К. Тредиаковский).

Описание действия механизма слогоделения в современном русском литературном языке представлено в работе [Князев 1999] в терминах "теории оптимальности", широко распространенной прежде всего в современной американской фонологии.

При описании функциональных разновидностей русского языка оказалось актуальным разбиение вариативных средств сегментной фонетики на два разряда – зависимые от типа произношения (в основном от разного рода просодических факторов) и независимые от него [РЯФ 1996]. Выделение трех основных функциональных типов речи (разговорная, художественная и специальная) оправдано и с фонетической позиции. В связи с фонетическими особенностями научной речи следует также упомянуть вышедшую ранее работу [СРУНР 1985]. Фонетику художественной и разговорной речи сближает высокая степень вариативности звуковых единиц, хотя спектр варьируемых единиц разный и факторы, способствующие увеличению числа звуковых вариантов, – разные.

Все типы "организованной" речи – как специальная, так и художественная речь – испытывают на себе влияние стихии разговорного языка, однако они оказывают разное сопротивление этой стихии. Наиболее устойчивыми к проникновению фонетических черт разговорной речи (компрессии речи, всякого рода деформаций звуковой модели слова) оказываются художественная и информационно-публицистическая речь. В художественной речи последовательнее, чем в других разновидностях, реализуется нормативная модель слова, отсутствует сверхредукция гласных. Что же касается орфоэпии, то художественная речь в большей степени, чем другие разновидности русской речи, склонна к сохранению традиционных орфоэпических вариантов. Информационно-публицистическая разновидность специальной речи в фонетическом отношении сближается с художественной речью, в частности, она оказывает устойчивое сопротивление разговорной стихии, а также в большей степени сохраняет традиционные орфоэпические варианты.

Важно остановиться на типологии звучащих текстов, которая включает в себя: I. 1) чтение написанного и обдуманного текста (монологи и диалог); 2) чтение "своего" текста; чтение "чужого" текста; пересказ "чужого" текста; пересказ "своего" текста; II чтение наизусть; III. подготовленного, но не написанного текста (подготовленный доклад, лекция, выступление); IV. устная реализация неподготовленного (спонтанного) текста. В соответствии с данной рубрикацией, можно говорить о выделении *фоностилей звучащей речи* [Златоустова 1996].

Одной из главных проблем фоностилистики поэтической речи является проблема выявления ассоциативно-образной мотивированности звука в стихе [Любимова, Пине-

жанинова, Сомова 1996]. Мотивированность устанавливается из соотношения стилистических значимых приемов в звуковой композиции с приемами звуко-символической семантизации, которая представлена в двух видах элементарного и контекстуального символизма. На материале русской поэзии начала XX в. рассматривается сенсорно-эмотивное восприятие звуковых особенностей стиха, взаимодействие паронимии, звукового лейтмотива, рифмы и других компонентов поэтического текста.

Одной из процедур комплексного анализа стиха является воссоздание и семантизация звуко-ассоциативных полей на основе доминантных звуков (выявление звукового лейтмотива). Под звуковой доминантой понимается повтор некоторых звуков, частота встречаемости которых больше так называемой "нормальной" частоты встречаемости в речи. Объективируя рецептивное восприятие, усложненное объемом всего текста, можно определить доминантные звуковые повторы вероятностными методами. С этой целью было предпринято специальное исследование, направленное на решение лингвистических задач, связанных с определением звуковой доминанты и способов ее контекстуальной интерпретации.

Можно выделить информативную функцию звукосимволизма в повторах как ведущую и наиболее существенную в поэтических текстах, так как она неизменно проявляется в любом произведении и способствует наиболее адекватной передаче эмоционально-образного содержания стиха. Действие звукосимволизма в поэтической речи неизбежно порождает в стиховом ряду частичную перестройку семантической структуры входящих в него слов. Такая перестройка происходит в стихе и без участия символических повторов, но фоническая упорядоченность в тексте резко усиливает процесс семантизации, закрепляя межвербальные семантические влияния символикой звуковой формы. Выбор параметров идиостиля для поэта – это поиск индивидуальных языковых моделей, определенного типа референции и способа семантической композиции, ориентированных на тот или иной тип коммуникации, когда проявляется отношение идиолекта к ряду реально данных структурных типов в системе поэтического языка. Своеобразие фонических и метро-ритмических структур, тенденции использования стилистических приемов, устойчивость отдельных приемов могут характеризовать особенности звуковой организации каждой из сравниваемых идиостилевых систем. Выбор метода описания зависит от типологических признаков, определяющих основные классификационные черты идиостиля.

Идея о принадлежности побочного ударения уровню фразовой, а не словесной просодии подкрепляется материалами инструментального анализа [ПСРР 1996]. Рассмотренный материал подтверждает существование в современном русском языке тенденции к смещению ударения к началу, а нередко и на начало слова. Анализ акцентных парадигм для лексем разных просодических и морфологических классов позволяет увидеть взаимодействие просодических, морфонологических и морфологических факторов расстановки ударения в непроизвольном слове. Самым общим законом является ориентация на морфологическую границу: ударение ставится обычно либо на последний слог основы, либо на первый слог окончания (исключение составляют неодносложные именные основы парадигм *c* и *a'* мужского и среднего родов, а также слова с "неправильным" распределением растворов в неодносложной основе).

Спецификой модели описания фразовой просодии является комбинаторный метод: интонация предложения рассматривается как результат сложения многих просодических характеристик: тональных и нетональных. Новым в представлении русской просодии является принятие *единых принципов описания системы литературного языка и диалектов русского общенародного языка*. Необходимо рассматривать общенародный язык как единое целое, несмотря на все его многообразие, предстающее не только на сегментном фонетическом уровне, но и на уровнях словесной и фразовой просодии. В известной степени данная точка зрения продолжает традицию Р.И. Аванесова [Аванесов 1974], призывавшего изучать русский язык не в изоляции от языка диалектного, а в совокупности этих систем, во многом различающихся и в то же время неразрывно связанных. Любые факты диалектной речи, независимо от того,

будут ли они членами соответственного явления или нет, противопоставлены они или нет, предстают как *различительные диалектные явления*. Они имеют более или менее определенную ареальную характеристику и используются для описания диалектных особенностей одной территории в противоположность другой, где эти явления не встречаются [Касаткин 1999; Пожарицкая 1997]. В связи с этим следует упомянуть издание "Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Южно-русское наречие" [РНГ 2000]. Большинство текстов в этой книге сопровождается подробными лингвистическими комментариями.

Значительным вкладом в развитие ритмологии явился ряд публикаций, посвященных проблемам ритма нестиховой речи. Так, анализ ритмической организации проводился на материале старославянских и древнерусских акцентуированных текстов XVI–XVII вв. [Потапов 1996; Potapov 1999b]. Ритмическая организация древнерусских текстов сопоставлялась с ритмической организацией переводов этих текстов на современный русский язык. Процесс падения редуцированных гласных в слабой позиции существенным образом повлиял на изменение распределения классов и типов ритмических структур (РС), в то время как "прояснение" редуцированных гласных в сильной позиции абсолютно не повлияло на это изменение. Формализованная схема синтагмы древнерусского языка в достаточной степени принципиально соответствует формализованной схеме синтагмы современного русского языка (вследствие того, что, как и современный русский язык, древнерусский имел свободное и подвижное ударение при словоизменении, что существенным образом влияло на классы и типы РС, образующих начало и конец синтагмы). С другой стороны, формализованная схема синтагмы характеризуется достаточно выраженным наличием своих различительных признаков, каузально зависимых от диахронической специфики языка. Как современный русский язык, так и древнерусский имеют общую тенденцию к реализации ударения на среднем слоге структуры. Таким образом, ритмическая организация древнерусского языка была уже близка к ритмической организации современного русского языка. Качественное и количественное изменение ритмической организации произошло в связи с падением редуцированных гласных в слабой позиции. Увеличение аналитических форм в истории русского языка по сравнению со старославянским (и древнерусским) языком повлияло на комбинаторику тех или иных частей речи в составе ритмических структур, что также, но только опосредованно, оказало влияние на тип РС и формализованную схему синтагмы в целом.

Речевой ритм "Слова о полку Игореве" (СОПИ) сопоставлялся с некоторыми его переводами на современный русский язык [Потапов 1996; Potapov 1999a]. Были проанализированы следующие переводы СОПИ на современный русский язык: В. Жуковского, А. Майкова, К. Бальмонта, С. Шервинского, Н. Заболоцкого, С. Ботвинника, И. Шкляревского. Вследствие того, что большинство исследователей СОПИ склоняются в пользу музыкального сопровождения при речитативном или певческом характере исполнения, было решено привлечь к анализу современный богослужебный текст минеи с проставленными ударениями и синтагматическим членением текста. Анализ формализованных схем синтагм показал, что с учетом только самых частотных РС в синтагме текст оригинала СОПИ и текст минеи имеют почти идентичную схему. Достаточно широкий диапазон количества РС в синтагме также сближает текст оригинала СОПИ с текстом минеи. В поэтических переводах наблюдается меньшее количество РС в синтагме. Показатель средней длины синтагмы с учетом числа РС свидетельствует в пользу близости текста оригинала СОПИ к прозаическим текстам, так как в поэтических текстах синтагмы несколько короче, чем в текстах прозаических. Таким образом, общую близость некоторых показателей частотности текста СОПИ и текста минеи можно было бы в какой-то степени объяснить с позиции жанра, а также определенным предназначением текстов и характером их исполнения. Поэтические переводы СОПИ в структурном плане соотносятся прежде всего с поэтическими текстами, что связано с особым поэтическим синтаксисом и требованием метра.

Сопоставление ритмической структурированности русской и немецкой речи на материале письменных текстов, рассмотренных в диахроническом аспекте с охватом временного периода с IX по XVI вв., позволило обнаружить наличие следующих тенденций [Потапов 1996; 1999; Potapov 1999b]. В обоих языках прослеживается перераспределение РС, вызванное индивидуальными историческими изменениями фонолого-морфологического характера, а также процессами, связанными со сдвигом немецкой и русской языковых систем от чисто синтетических форм к более аналитическим формам. Для каждого из языков характерна исходно доминирующая в эволюции языка РС: для немецкого языка двусложная структура с ударением на первом слоге, а для русского – сосуществование двусложных и трехсложных структур с ударением как на первом, так и на втором слогах, большее многообразие структур с тенденцией к реализации ударения на срединном слоге структуры. Вследствие закрепленности немецкого ударения на корневой морфеме характерным для немецкого ритмического строя является функционирование, наряду с главным, второстепенного ударения, формирующего четкую иерархию ударений в рамках многосложных структур, чего не наблюдается в ритмической организации русской речи.

Динамика (диахрония) и относительная статика (синхрония) ритмического структурирования текстов характеризуются наличием своего рода ритмической универсалии: речь идет о классах дву- и трехсложных структур с определенным варьированием типов в рамках данных классов. В связи с этим можно выдвинуть гипотезу о воздействии на лингвистический ритм двух сил: *центростремительной* и *центробежной* [Потапов 1996; 1999; 2000]. Действие первой выражается в стремлении сохранить для того или иного языка ограниченное число базовых ритмических структур, действие второй – в стремлении "вырваться" из рамок ограниченного числа РС и создать многообразие ритмической экспликации текста за счет комбинаторики базовых единиц и функционирования малочастотных структур.

Ритм рассматривается как компонент интонации, связанный со всеми другими ее компонентами: мелодикой, громкостью, темпом, тембром [Давыдов, Рубинова 1997]. От более ранних аналогичных работ [Антипова 1984] данная монография отличается тем, что в ней особое внимание уделяется поведению акцентных моделей многосложных слов английского языка в основных речевых стилях: лекционном, художественной речи и прагмалингвистическом.

Особое внимание уделено проблеме так называемого "второстепенного ударения". Проблема второстепенного ударения в современном английском языке уже многие годы является одной из актуальных проблем в многочисленных исследованиях англистов, так как, во-первых, для иностранцев, говорящих на английском языке (что особенно характерно для носителей русского языка), акцентные модели с второстепенным ударением являются достаточно чуждыми их родным речевым навыкам, вследствие чего, говоря по-английски, они часто искажают эти модели, даже имея значительную практику общения на английском языке. Во-вторых, несмотря на существование обширной научной литературы по проблеме ударения в английском языке, существует не так уж много работ, посвященных собственно второстепенному *ударению, его функционированию* в звучащей речи. В-третьих, остается открытым вопрос о разнице между словом, имеющим более одного ударения, и словосочетанием. Анализ речевого материала показал, что между реализациями моделей "второстепенное ударение + главное ударение" и "равные ударения" не существует ощутимой разницы. В тех случаях, когда разница между двумя типами моделей ощущается достаточно, т.е. второстепенное ударение действительно оказывается на "низком уровне", то речь идет об исчезновении второстепенного ударения, о превращении двухударного слова в одноударное.

Произнесение многосложных слов носителями английского языка отличается от произнесения аналогичных слов носителями русского языка. Основным показателем второстепенного ударения при этом является движение тона: если в слове наблюдается одно падение тона, слово имеет одно ударение; если в слове два падения тона,

то все зависит от относительной величины этого падения: второстепенное ударение характеризуется хотя и меньшим, но достаточно заметным падением тона. Второстепенное ударение в постпозиции является языковой реальностью для носителя английского языка.

В ходе данного исследования стала ясной необходимость при любом обсуждении акцентных моделей учитывать их стилистические модификации. Следует различать модификации, возникшие в связи с изменением темпа речи (ораторский, обычный, разговорный стили) и модификации, связанные с изменениями на семантическом уровне (прагмалингвистический стиль).

Синтаксической основой, минимальной единицей для формирования ритмической структуры текста является словосочетание [Скворцова 1999]. При прямом порядке слов ударным является последний компонент словосочетания. В данном случае речь идет о синтагменном ударении. При инверсии синтагменное ударение сохраняется на том компоненте, на котором оно находилось при прямом порядке слов. При вхождении простого словосочетания в состав комбинированного могут возникать "добавочные" синтагменные ударения и даже синтагматическое членение.

Логическое ударение является производным от синтагменного ударения. Оно возникает под влиянием контекста, ситуации общения, отношения говорящего к содержанию высказывания и т.д. Появление выделительного логического ударения и модального логического ударения может дублироваться наличием в высказывании частиц.

По оценкам языковой ситуации конца XX века, отражающим мнение журналистов, ученых-филологов, широких кругов образованных людей, предметом особого беспокойства является ударение в русской речи.

Рассмотренный языковой материал [Воронцова 1996] показывает, что в области ударения в языке конца XX в. шли активные процессы, которые касались различных разрядов слов. Просматриваются тенденции изменения глагольного ударения, тенденции изменения именного ударения (ударение в словоформах имен существительных), процессы, связанные с активизацией употребления слов, а также процессы, связанные с освоением заимствований. Однако эти процессы не представляли кардинально новых явлений, способных в какой-то степени повлиять на сложившуюся акцентную систему. Наблюдаемые процессы обусловлены действием давно сложившихся и известных на протяжении достаточно длительного периода тенденций. Новым является более широкий охват этими тенденциями различных категорий и групп слов, активность этих тенденций. Новые условия языкового бытования, свойственные языку изучаемого периода, приводят к большему ослаблению границ между языковыми сферами. Профессиональная речь, речь разговорная оказывают более значительное влияние на публичную речь, речь официально-деловую. Сюда в большей мере, чем прежде, проникают акцентные варианты, не свойственные строгим литературным сферам языка, в силу чего литературные нормы оказываются поколебленными в среде литературно говорящих людей. В настоящий момент актуальной является задача сдержать негативные с позиции литературной нормы процессы, защитить литературные нормы. В девяностые годы наблюдается снижение общего уровня качества произношения, что можно проследить по следующим, наиболее частотным признакам: нечеткость артикуляционных переходов; различные виды компрессии слова; заглушение тембровых характеристик звуков основным тоном (интонация выражена, а звуки различаются недостаточно); частотность пауз и их звуковое наполнение, сопоставимое со словесными сорняками; смысловые и стилистические нарушения в употреблении интонационных средств [Брызгунова 1998].

Исследование фонетики современного русского языка и в особенности фонетики русской разговорной речи показывает, что в настоящее время в речи говорящих на русском языке достаточно широко представлены различные произносительные варианты тех или иных звуков, причем далеко не всегда эти варианты можно оценивать как соответствующие норме. Зачастую используемые говорящими варианты произнесения

различных звуков, представляющих собой отклонение от нормы, являются следствием языковой интерференции. Процесс взаимовлияния языков сегодня распространяется и охватывает все большую сферу человеческого общения. Появление подобных отклонений от нормы обусловлено значительной миграцией населения по территории бывшего Союза. Следствием миграции является то, что в качестве произносительных вариантов тех или иных звуков в различных регионах России (в том числе и в крупных городах, таких, как Москва и Санкт-Петербург) начинают использоваться варианты, которые ранее функционировали только на территории бывших союзных республик или же существовали в диалектах, местных говорах. Необходимо отметить, что увеличивается доля не только отклонений от нормы, но и явно ненормативно реализуемых звуков [Хитина 1999].

Предпринимаются попытки исследования просодической специфики языков балканского языкового союза (БЯС) [Николаева 1996]. "Языки БЯС" – термин, применяемый для обозначения особого типа языковой общности Юго-Восточной Европы, выделяемой не по принципу генетического родства, а по ряду общих структурно-типологических признаков, сложившихся в результате длительного взаимовлияния в пределах единого географического пространства [Нерознак 1990]. В области фонетики языкам БЯС присущи следующие общие черты:

– сходство в такто-ритмической организации речи;

– экспираторное ударение и отсутствие качественного различия гласных (за исключением части болгарских и македонских диалектов и сербохорватского языка с его политоническим ударением);

– одинаковые классы тонов у гласных;

– наличие в албанском, болгарском, восточно-романских языках особого среднеязычного (нейтрального) гласного ǝ;

– смягчение согласных в вост.-ром., новогреческом языках и в некоторых болгарских и македонских диалектах.

Обращение к повествовательному тексту позволило выявить определенные закономерности. Наиболее интересным в данном случае оказалось выявление абсолютных референтных показателей. Были обнаружены предпочитаемые дикторами величины речевых единиц, средние продолжительности звуков, предпочитаемые длительности ударных и безударных гласных, показатели интенсивности. Во всех языках БЯС были выявлены фигуры мелодики как с высоким, так и с низким положением ударного. Све́дения о других языках позволяют считать это явление, создающее своеобразную волнообразность текста, *балканизмом*. Фонологизация этого явления присутствует, однако, в сербохорватском.

Просодия жанров анализа различалась. Чтение художественного текста свидетельствует о более долговременной и вариативной программе. Просодия сказки приближалась к известным и по другим языкам описаниям спонтанной речи и была в наибольшей степени и однообразна, и предсказуема. В чтении (кроме румынского) высокая функциональность просодических средств не отмечалась. В данном случае можно говорить о большой вариативности и малой упорядоченности. Интенсивность, в основном, выполняла две функции: очерчивание начала и конца отрезков и подчеркивание слов трех категорий – отрицания, интенсивов-наречий и глаголов (особенно результативов и/или причастных форм), главным образом, в сказке. К точковому концу часто идет слабое монотонное понижение тона. Напротив, именно длительность к концу отрезка увеличивается с более ярким выделением ударных гласных. С другой стороны, мелодика стремится выделять ударные слоги в начале отрезка, причем высоким часто бывает второй пик.

Все указанные особенности также ярко проявляются и в стихе. Но в стихе проявляются и специфические особенности. В разных языках стих может разбиваться на единицы по нескольку строк, по две строки, по одной. Однако их структура сохраняется. Все изохронные феномены в стихе особенно активны. Интенсивность в стихе меняется в зависимости от языка. В сербохорватском интенсивность очерчивает слово

(причем без проклитического предлога). Болгарский и македонский выделяются интенсивностью не слова, а ударных слогов. В албанском, греческом и болгарском интенсивность четко выделяет начальный и конечный иктусы. Румынский же язык в целом демонстрировал наименьшее число просодических балканизмов.

В области германистики продолжены экспериментально-фонетические исследования вокализма и консонантизма в потоке речи, проанализированы и описаны модификации временных характеристик долгих и кратких гласных в зависимости от ряда контекстуальных переменных, процессы ассимиляции в особо спорных случаях [Потапова, Линднер 1991; Potapowa 1995; 1999].

Особое внимание следует уделить процессу разработки современного всегерманского проекта создания *новых кодифицированных требований к орфоэпии немецкого языка* [Потапова 1998а; 1999в; Krech 1987; 1996; 1999], осуществляемого, начиная с 1990 г., речеведами-германистами объединенной Германии (центры – университеты в г. Кёльне и г. Галле). Данный проект известен под названием "Новая редакция произносительного словаря немецкого языка" и включает обширнейшую программу, согласно которой следует решить целый ряд задач кодификации произношения современного немецкого языка. Краеугольным камнем проекта является опора на рекомендации, строящиеся на знании современного произносительного узуса с учетом ситуативных и коммуникативных факторов. В связи с этим особое место при разработке проекта призваны занять стилистически обусловленные произносительные варианты. Разработка новой произносительной версии словаря включает решение ряда конкретных задач, к числу которых могут быть отнесены прежде всего следующие задачи:

1. Проведение социофонетических исследований, целью которых является определение на базе ответов информантов предпочтительных произносительных форм в зависимости от конкретных произносительных условий. Специальные вопросники и тесты позволяют выявить, насколько органичной находят слушающие связь между произносительной формой звучащего материала и той или иной конкретной коммуникативной ситуацией. Принимается во внимание дифференциация информантов по возрастному и половому цензам, социальному статусу, принадлежности к региональным вариантам произношения и т.д. С помощью социофонетического исследования становится возможным определение основного направления при ориентации на наиболее предпочтительные варианты произносительных форм.

2. Наряду с вышеупомянутой предварительной работой с информантами и поиском наиболее "ожидаемых" и "принимаемых" с учетом ситуативно-коммуникативных факторов произносительных форм в рамках проекта проводится фонетический анализ речевого материала, позволяющий учитывать не только фоностилистические особенности реализации высказывания, но также и специфику собственно артикуляторного характера при наличии влияния различных факторов позиционно-контекстуального плана в рамках фразы-текста. Особое внимание при этом уделяется дифференциации произносительных форм при чтении и говорении, что позволит в дальнейшем уточнить и дополнить уже имеющиеся данные.

3. В рамках проекта планируется на заключительном этапе скоординировать полученные данные и разработать кодифицированные произносительные варианты современного литературного немецкого языка с учетом развития новых репрезентативных форм произношения. Предусматривается включить в так называемый "регулярный" словарь "речевые единицы в масштабе фразы", дабы отразить произносительные формы в более крупных отрезках слитной речи с учетом ситуативных и коммуникативных факторов. Кроме того, предусматривается включение произносительных форм иностранных слов и имен собственных, наиболее часто встречающихся в языке радио- и телепередач. Наряду со словарем на традиционном бумажном носителе планируется подготовка "говорящего словаря", имеющего большое значение для изучения немецкого языка как иностранного.

Таким образом, согласно данному проекту кодификация немецкого произношения не ставит своей целью создание свода предписаний применительно к единой произно-

сительной норме. На базе конкретных наблюдений за употреблением языка и принятием (одобрением) тех или иных форм большинством информантов представляется возможным свести в единый корпус такие варианты произнесения, которые можно было бы рекомендовать в качестве предпочтительных и желательных применительно к определенным ситуациям и условиям коммуникации. Наряду с этим существуют иные коммуникативные условия, в которых вряд ли было бы целесообразно применять произносительный стандарт (например, в диалектальной речи). Задача проекта на данном этапе включает также поиск ответа на вопросы: при каких условиях и в какой форме применение тех или иных произносительных форм коммуникативно оправдано и целесообразно; что лучше ввести в кодифицированную произносительную информацию и что следует рекомендовать в качестве предпочтительного варианта. Эти и другие задачи находятся в настоящее время на стадии их решения и заслуживают самого пристального внимания со стороны пользователей немецкого языка как в самой Германии, так и за ее пределами. В современной фонетике активно разрабатывается проблема соотношения нормативности и варьирования в произношении с учетом всего спектра факторов, регулирующих звуковую реализацию. Внимание, уделяемое этим проблемам, не случайно, так как вариации языковых единиц любого уровня и возможности их использования говорящими являются онтологическим свойством языка. Особый интерес в этом плане представляет фонетическая система немецкого языка, формирование стандартной вариативности которой проходило и проходит практически на глазах исследователей.

Экспериментально-фонетическое исследование [Бухаров 1995], выполненное на основе австрийского варианта немецкого языка и дополненное данными, полученными на материале речи носителей языка из северных регионов, подтвердило положение о том, что единая норма произношения – это лишь регулятор распределения единиц между вариациями. Анализ материала показал, что региональный вариант нормы произношения стандартной вариации обладает как совпадающими с другими региональными стандартами параметрами, так и отличающимися от них. Экспериментально установлено, что произносительная специфика региона не ограничивается сегментным уровнем. Региональные модификации произнесения отдельных звуков оказывают существенное воздействие на *темпо-ритмическую организацию речи* в австрийском варианте немецкого языка.

В условиях развития перспективных информационных технологий по-новому ставится проблема сегментации и смыслового распознавания звучащей речи в зависимости от условий коммуникации и с учетом различных факторов, в том числе и региональных. Данное положение приобретает особую значимость в отношении немецкого литературного языка и немецкого кодифицированного произношения, что вызвано прежде всего тем, что немецкий язык функционирует на территории ряда регионов, выступая в качестве государственного языка в таких странах, как ФРГ, Швейцария и Австрия, и обладает определенной вариативной произносительной спецификой. Принципиально важным является то, что впервые ставится вопрос о наличии вариантов в области разграничительных явлений во всех четырех немецкоговорящих социумах (западно-германском, восточно-германском, швейцарском и австрийском) на уровне слухового восприятия с учетом артикуляторной специфики и акустических свойств *пограничных сигналов* [Потапова, Гордеева 1998]. Перспективность такого подхода состоит в том, что он позволяет адекватно описать особенности функционирования звукового состава, а также интонационного строя в терминах артикуляторно-слуховых и просодических признаков речи.

Полученные перцептивные данные позволили описать воспринимаемые акустические корреляты пограничных сигналов на супрасегментном и сегментном уровнях применительно к стыковым позициям в различных произносительных вариантах современного немецкого языка. Анализ распределения ЧОТ (частота основного тона) для различных вариантов показал, что эти значения в основном представлены согласно

закону нормального распределения. Исключение составляет лишь ШВ[1], где значения ЧОТ распределены экспоненциально. Проведенный анализ значений ЧОТ в контрольной выборке фраз для различных региональных вариантов немецкого языка показал, что:

• средние значения ЧОТ во всех региональных вариантах немецкого языка близки друг другу; выявленные различия не превышают пределов физиологической вариативности;

• проведенный двухфакторный анализ позволил выявить три основные области распределения ЧОТ: в первую область входят ВВ и ШВ, во вторую – ЗВ и в третью – наиболее обособленную группу – АВ.

Результаты двухфакторного анализа акустических данных (в Гц) представляют большой интерес, ибо прослеживается тенденция, согласно которой можно говорить о сходстве членения речевого потока по параметру ЧОТ между восточно-немецким и швейцарским вариантами. Незначительно обособленным выступает западно-немецкий вариант. Существенно отличается австрийский вариант, что всецело согласуется с перцептивной информацией [Потапова 1999а].

В качестве исходного материала для проведения акустического анализа сегментного состава использовались межфразовые стыки, предстыковым элементом которых явились смычные глухие взрывные согласные. Анализировалась речевая волна и изменение резонансных частот во времени. Результаты анализа показали, что в ЗВ смычные взрывные согласные на межфразовых стыках характеризуются наличием шума высокосоставляющих частот спектра, эксплозией, фрикатизацией, напряженностью. Для данной категории согласных в ВВ характерно отсутствие шума высокочастотных составляющих спектра, тенденция к редукции эксплозии и отсутствие напряженности. В ШВ оказалось представленным и то, и другое явление, т.е. имеет место как наличие шума высокочастотных составляющих, так и их отсутствие. АВ характеризуется наличием наиболее слабого шумового компонента в спектре звука. В данном случае прослеживается отсутствие напряженности и тенденция к полузвонкости смычных глухих взрывных согласных.

Проведенное экспериментально-фонетическое исследование [Потапова, Гордеева 1998; Потапова 1999а] позволило по-новому взглянуть на проблему функционирования и соотношения региональных вариантов современного немецкого языка с учетом данных слухового восприятия и акустического анализа применительно к различного рода факторам, определяющим характер фонетической сегментации звучащих текстов. Удалось выявить специфику функционирования пограничных сигналов как на супрасегментном, так и на сегментном уровнях в современном немецком языке на материале его региональных вариантов, что представляется весьма перспективным и для развития теории типологии, вариантологии и сегментологии, и для германистики, прагмафонетики, теоретической и прикладной лингвистики в целом.

При выявлении основных различий по параметру "мужской-женский голос" применительно к акустике и произносительной системе американского и британского вариантов английского языка, а также русского языка, предлагается различать два слоя информации [Потапов 1997б], которая представлена в речевом сигнале:

• *специфическая информация* (например, тембр голоса, некоторые сегментные, артикуляторно-акустические на уровне звука и слога, и супрасегментные на уровне фразы, текста характеристики);

• *универсальная информация* (например, функциональная корреляция между признаком "мужской-женский голос" для речевого высказывания и возрастным, образовательным цензом, воспитанием, социальным статусом, профессией, экономическим фактором (применительно к "экономолингвистике"); диалектной принадлежностью, произносительными особенностями билингвального характера, влиянием эмоционального и

[1] Сокращения названий региональных вариантов немецкого литературного языка: ЗВ – западно-германский, ВВ – восточно-германский, ШВ – швейцарский и АВ – австрийский.

коннотативного фактора на речепроизводство, а также флексибельностью "окраски" голоса в зависимости от ситуации.

Каждый из этих слоев связан с нейрофизиологическими, психическими и антропометрическими особенностями индивидуума, с одной стороны, и с влиянием социального и экономического факторов на формирование речевого высказывания, с другой.

Наряду с поаспектным подходом к проблемам звучащей речи прослеживается симбиотическое понимание последней, включающее рассмотрение звучащей речи в акте коммуникации сквозь призму многоуровневой языковой информации, содержащейся в речевом сигнале. При этом речевая коммуникация понимается как процесс взаимного обмена сообщениями между динамическими системами [Потапова 1997б]. В связи с этим речевой сигнал описывается с учетом специфики сообщения, специфики получателя (адресата) и отправителя (адресанта), особенностей канала, по которому передается акустическая информация. В целях передачи смысловой адекватности устного речевого сообщения первостепенную роль приобретает выявление коннотативных значений, передаваемых не только чисто лингвистическими (лексико-грамматическими), но также (а иногда и исключительно) паралингвистическими (фонационно-кинетическими) средствами, включающими весь арсенал особенностей актуализации речевого высказывания, несущими определенную сигнификативную нагрузку [Потапова 1997а]. Для теории и практики лингвистики значительным представляется исследование способа включения паралингвистических средств в процесс вербальной коммуникации. Конечной целью подобного исследования является выявление специфики подсистем (лингвистической и паралингвистической) в передаче коннотативных значений применительно к языковой системе конкретного языка и в сопоставительном ключе для ряда языков.

Серьезной проблемой представляется проблема отграничения в сфере просодии чисто лингвистических особенностей как структурных черт языка от всех видов "нелингвистической" просодии как системы признаков, относящихся к неязыковой информации. Ведущим произносительным паралингвистическим средством для выражения коннотативных значений выступает просодическая организация речевого высказывания, а среди средств просодии – акцентная выделенность. Просодическая акцентная выделенность сопряжена с индивидуальными коннотациями, возникающими в сознании реципиентов при восприятии сообщения. Паралингвистическую вариативность речевого высказывания можно рассматривать как функцию концептуальной установки говорящего. При этом элементы просодической структуры не равноценны в передаче коннотативных значений. Интерпретационная вариативность "пронизывает" все речевое высказывание и может проявляться в ряде произносительных признаков.

Установлено наличие прямой зависимости между наличием/отсутствием того или иного коннотативного значения, с одной стороны, и наличием/отсутствием определенных акустических коррелятов на сегментном и супрасегментном уровне, с другой [Потапова 1997а].

Одним из ведущих направлений когнитологии считается изучение знаний, используемых в ходе общения. Согласно современным направлениям основной задачей когнитологии является объяснение механизма обработки естественного языка, построение модели его понимания. Существуют следующие механизмы порождения и восприятия речи: а) акустико-физиологический; б) нейролингвистический; в) психолингвистический; г) генетико-архитектонический (применительно к внутренней речи). Когнитивная модель языка является системой взаимосвязанных элементов, каждый из которых есть модус, принадлежащий одному из уровней языкового субстрата. Такая модель наглядно показывает те процедуры, которые связаны с приобретением, использованием, хранением, передачей и выработкой знаний. Предлагаемая когнитивная модель [Фоминченко 1996] отражает язык как одну из сторон когнитивного механизма, объясняющего восприятие и продуцирование речи с позиции того, как структуры языкового знания представлены и как они участвуют в переработке информации.

Общая доминанта включает в себя менталитет, знание языка, лингвистическое знание, языковую способность говорящего. В совокупности сочетание общей доминанты и просодической доминанты и создает неповторимое своеобразие национального языка. Замена просодической доминанты влечет за собой изменение в структуре всей просодической системы. А это, в свою очередь, приводит к интерференции родного языка и изучаемого иностранного. Так появляется новая просодическая интерферируемая система, обладающая своеобразными просодическими параметрами и называемая фонетическим акцентом.

В труде "Общая и прикладная фонетика" [ОПФ 1997] нашли отражение наиболее важные темы и проблемы общей и прикладной фонетики: артикуляционные характеристики звучащей речи, слог как базовая единица речепроизводства и речевосприятия, ритмическая структура (фонетическое слово) как опорная единица ритмико-смыслового членения речи, исследование фонетических характеристик речи в прикладных целях, современные системы автоматического распознавания и понимания речи.

Неразрывно с описанием современных методов анализа речевого акустического сигнала связано описание синтеза, проводимого с помощью самых различных способов, практикуемых в разных странах мира с привлечением аппаратных и программных средств. Важными способами синтеза речевого сигнала являются такие, как синтез по правилам, формантный синтез, синтез на базе линейного предсказания, синтез "текст-речь", артикуляторный синтез, компилятивный/конкатинативный синтез и т.д.

На современном этапе просматривается возникновение новой отрасли науки и техники – *лингвокибернетики* и ее раздела – *речевой кибернетики* [Потапова 1997б]. Базовым понятием лингвокибернетики является естественный языковый код при условии полиярусного рассмотрения его функционирования. Речевая кибернетика входит составной частью в лингвокибернетику, основываясь на речевом сигнале в его устной разновидности. Лингвокибернетика соотносится со специфической сферой деятельности человека – взаимодействием человека и машины, что порождает в свою очередь ряд проблем физического, физиологического, психологического, этического, инженерного, математического, информационного характера.

Происходящие в настоящее время революционные изменения в теории компьютерного обучения в целом и обучения фонетике, в частности, связаны с появлением и широким распространением, благодаря относительной простоте и доступности, технологий мультимедиа и гипертекстовых интернетовских технологий. Одним из наиболее важных вопросов, встающих перед создателями этих систем электронных курсов, является их адаптивность к выполнению как можно большего числа дидактических задач. Узкая направленность электронного обучающего курса, ввиду значительной трудоемкости его создания, не представляется целесообразной. В этой ситуации оптимальной может считаться *модульная структура учебного курса*, имеющая в качестве основы информационную базу данных.

На филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова создан *гипертекстовый мультимедийный интерактивный учебник* по *русской фонетике*, состоящий из учебных модулей, каждый из которых посвящен одному из ее разделов: русскому вокализму, русскому консонантизму, русской акцентологии, интонации, просодии [Kedrova, Dedova, Potapov 1999; RPhl 1999]. Данный учебник является первым и на настоящий момент уникальным в рамках русскоязычной сети "ИНТЕРНЕТ". Весь материал предваряет вводный информационный модуль, посвященный общей теории порождения и восприятия речи. Отдельный модуль содержит справочно-вспомогательную информацию – глоссарий, в котором объясняются термины и основные понятия. Все модули учебника объединены с помощью перекрестных ссылок в единый информационно-справочный комплекс. Основные понятия и утверждения дополнены иллюстративным материалом, озвученными примерами и упражнениями. В настоящий момент завершена работа над тремя первыми разделами. База данных, которая составляет основу учебника, включает в себя:

1) детальное и исчерпывающее описание в гипертекстовом режиме особенностей русской звуковой системы и акцентологии;

2) анимационное представление артикуляции русских звуков, выполненное на основе кинофоторентгенограмм реальной речи;

3) видеозаписи видимых артикуляционных движений (прежде всего работу губ);

4) звуковые файлы, демонстрирующие реализацию гласных и согласных в речи;

5) осциллографическое представление звуков;

6) основные схемы ударения (прежде всего для имен существительных и глаголов).

Гипертекстовая форма организации учебного материала позволяет преодолеть одну из самых существенных трудностей, возникающих при преподавании фонетики, а именно взаимоизолированность анализа и синтеза единиц сегментного и супрасегментного уровней, которая преобладала ранее. Переход от линейного изложения материала к созданию автоматизированной базы данных, отражающей взаимообусловленность различных аспектов звука, а также закономерности функционирования единиц сегментного и супрасегментного уровней, позволяет наиболее полно, адекватно и наглядно отразить особенности русской фонетической системы. Формирование полезных навыков существенно облегчает и развитая система оперативных корректирующих и формообразующих контекстных подсказок, которые управляются этой базой данных.

В ряде работ последних лет отражены различные методики создания автоматизированных обучающих фонетических систем [Потапова 1998б; 1999б], проанализированы их недостатки, предложены новые оригинальные пути решения данной задачи. При автоматическом распознавании и синтезе речи требуется полное и адекватное описание звукового строя языка. Формализованные данные о звуковых реализациях используются при автоматическом транскрибировании, под которым понимается моделирование речевых характеристик на основании алгоритмизации имеющихся фонетических знаний. Так, например, в работе [Шалонова 1999] формализована произносительная вариативность на орфоэпическом и орфофоническом уровне в разных формах русского языка, а также разработаны произносительные конфигурации для моделирования фонетической вариативности в двух формах русского языка:

– в литературной речи на уровне реализаций изолированно произнесенных слов и связного текста;

– в территориальных диалектах и региональных вариантах произношения.

Посредством разработанного адаптивного автоматического транскриптора получены транскрипции по заданным диалектным произносительным конфигурациям.

Значительный пласт в развитии современных знаний по фонетике и фонологии образуют произносительные словари. Следует отметить такие издания, как "Немецкий произносительный словарь применительно к безударному вокализму в словоформах с подвижным ударением" [Potapowa 1994] и "Словарь трудностей русского произношения" [Каленчук, Касаткина 1997], которые созданы на базе массовых обследований звучащей речи и экспериментальных исследований.

Анализ существующих источников в области фонетики/фонологии показал, что наряду с публикациями на бумажном носителе все большее распространение получают работы на электронном носителе. Так, в целях обучения экспертов в области фоноскопии при решении криминалистических задач по идентификации личности по голосу и речи разработана и функционирует "*Электронная энциклопедия эксперта-фоноскописта (русский язык)*" [Потапова 1999 г.], где в гипертекстовом режиме на CD-ROM представлены разделы: язык и речь, артикуляционная фонетика, перцептивная фонетика, акустическая фонетика, просодия речи, фоностилистика и др., а также словарь фонетических терминов.

Следует подчеркнуть, что наблюдается дальнейшее интенсивное развитие в области теоретического и прикладного речеведения, охватывающего такие направления исследований, как анализ и синтез речи на базе новых технологий, моделирование артикуляционных и перцептивно-слуховых процессов, аудиовизуализация речи, формирование баз речевых данных и речевых фондов, речь в шумах и помехах, речевые компьютерные диалоговые системы, мульти-лингвальные и мульти-медиальные систе-

мы, системы синтеза "текст-речь", фонетические аспекты диалога с компьютером, автоматизированные и полуавтоматизированные системы идентификации и верификации говорящего, речевые экспертные системы, речевые обучающие системы [например, АРСО 1999; РТПА 1999; СРТ 1999; EUROSPEECH 1999; IAFP 1999; ICPhS 1999; SPECOM 1998; SPECOM 1999].

В последнее время рассматриваются важнейшие вопросы изучения и сохранения языков малочисленных народов России, а также предлагаются конкретные разработки архивных записей из коллекции Пушкинского Дома [ALR 1996; Bondarko 1996]. Лингвистами обсуждаются новые методы анализа старых записей и принципы построения акустических баз данных для подобного рода исследований. Так, например, рассматривается структура фонетического фонда языка, которая обеспечивает связь между исследованием функциональных (фонологических) и фонетических характеристик звуковых единиц. Предлагается использование этой структуры для сохранения сведения о звуковых системах языков России. Иллюстрируется возможность анализа просодических характеристик и создания баз данных (звукового словаря) для языков народов Севера (например, для ненецкого языка) [Люблинская 1996]. Данная работа по фиксации и описанию языков является очень важной для сохранения звучащего фонда редких и исчезающих языков малочисленных народов [Потапов 1997а].

Подытоживая вышесказанное, следует подчеркнуть, что в фонетике и фонологии конца XX в. доминируют следующие направления в разработке ряда фундаментальных и прикладных проблем:

– обращение лингвистов к незаслуженно забытым концептуальным построениям теории морфонологии Н.С. Трубецкого;

– стремление связать структурные свойства фонемы с типологическим характером звукового строя языка;

– применение в изысканиях по фонологии теории оптимальности;

– изучение литературного языка не в изоляции от языка диалектного, а в совокупности этих систем как в синхронии, так и диахронии, и, в свою очередь, создание моделей фонетической вариативности на основе литературной и диалектной речи;

– исследование речевого ритма в диахронии и синхронии и выявление типологической специфики ритмического структурирования с учетом акцентно-ритмических и морфологических особенностей, а также стилистической принадлежности языкового материала, что приобретает особую ценность, ибо в Лингвистическом энциклопедическом словаре [ЛЭС 1990] речевой ритм определен как мало изученный;

– попытки обобщения фундаментальных фонетических проблем применительно к различным ареалам языковых союзов;

– стремление исследователей при анализе речевого материала к объединению различных аспектов фонетики с семантическим уровнем языка;

– продолжение интереса лингвистов к изучению спонтанной речи;

– более широкое использование в прикладных фонетических исследованиях новых информационных технологий, создание машинных фондов и фонетических баз данных, произносительных словарей, автоматизация процедур сегментации и транскрибирования слитной речи;

– разработка компьютерных обучающих фонетических систем на основе гипертекстовых технологий.

В заключение следует подчеркнуть, что фонетика и фонология на стыке веков могут быть охарактеризованы как науки, далекие от процесса затухания и ухода в небытие [Потапов, Потапова 1997]. Напротив, они обрели как бы "второе дыхание", черпая силу из источника идей новых теоретических и прикладных задач, новых речевых и информационных технологий, новых потребностей в изучении вечно живой и вечно влекущей к себе звучащей речи.

Развитие любой науки можно в определенной мере проследить лишь в том случае, если попытаться наметить какие-то определенные узловые проблемы в динамике их разработки и решений. Применительно к звуковой материи языка эти проблемы ка-

жутся на первый взгляд традиционными: звуки, интонация, сегментация и т.д. Однако за каждым из этих аспектов стоят задачи непрерывности и дискретности, синтагматики и парадигматики, диахронии и синхронии, статики и динамики, константности и вариативности и т.д. Все это многообразие множится на число языков, диалектов, идиолектов, социолектов, сексолектов, этнолектов и др. Особые задачи ставят перед исследователями звучащей речи прагматика и коммуникация, когнитивная лингвистика, пара- и экстралингвистика, контрастивная лингвистика. Если представить науку о звуковой материи языка метафорически в виде цветка со множеством лепестков, то становится очевидным, что их число огромно, а расцветка разнообразна. Однако все они объединены в единую стройную законченную гармоничную структуру, возникновение и развитие которой – предмет научных изысканий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аванесов Р.И. 1974 – Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974.

Антипова А.М. 1984 – Ритмическая система английской речи. М., 1984.

АРСО 1999 – Автоматическое распознавание слуховых образов. Теория и практика речевых исследований. Материалы конференции. М., 1999.

Бархударова Е.Л. 1999 – Русский консонантизм. Типологический и структурный анализ. М., 1999.

Бондарко Л.В. 1977 – Звуковой строй современного русского языка. М., 1977.

Брызгунова Е.А. 1998 – Русское литературное произношение девяностых годов XX века // Фонетика сегодня: актуальные проблемы и университетское преподавание: Тезисы докладов международной конференции. М., 1998.

Бухаров В.М. 1995 – Варианты норм произношения современного немецкого литературного языка. Нижний Новгород, 1995.

Воронцова В.Л. 1996 – Активные процессы в области ударения // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 1996.

Галинская Е.А. 1996 – Фонетика смоленского диалекта начала XVII в. // Актуальные проблемы современной русистики. Диахрония и синхрония. Вопросы русского языкознания. Вып. VI. М., 1996.

Давыдов М.В., Рубинова О.С. 1997 – Ритм английского языка. М., 1997.

ДРГ 1995 – В.В. Иванов, С.И. Иорданиди, Л.В. Вялкина и др. Древнерусская грамматика XII–XIII вв. М., 1995.

Журавлев В.К. 1993 – Н.С. Трубецкой – основоположник фонологии // Н.С. Трубецкой и современная филология. М., 1993.

Зиндер Л.Р. 1979 – Общая фонетика. М., 1979.

Златоустова Л.В. 1996 – Сопоставительная просодия в славянских языках // Научные доклады филол. факультета МГУ. Вып. 1. М., 1996.

Зубкова Л.Г. 1990 – Фонологическая типология слова. М., 1990.

Зубрицкая Е. 1997 – Фонология // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. М., 1997.

Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. 1997 – Словарь трудностей русского произношения. М., 1997.

Касаткин Л.Л. 1999 – Современная русская диалектика и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.

Киров Е.Ф. 1997 – Фонология языка. Ульяновск, 1997.

Князев С.В. 1999 – О критериях слогоделения в современном русском языке: теория волны сонорности и теория оптимальности // ВЯ. 1999. № 1.

ЛЭС 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. М., 1990.

Любимова Н.А., Пинежанинова Н.П., Сомова Е.Г. 1996 – Звуковая метафора в поэтическом тексте. СПб., 1996.

Люблинская М.Д. 1996 – Компьютерные возможности сохранения и обработки звуковых записей для исчезающих языков // Социолингвистические проблемы в разных регионах мира: Материалы международной конференции. М., 1996.

Нерознак В.П. 1990 – Балканский языковой союз // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Николаева Т.М. 1996 – Просодия Балкан: Слово – высказывание – текст. М., 1996.
ОПФ 1997 – Л.В. Златоустова, Р.К. Потапова, В.В. Потапов и др. Общая и прикладная фонетика. М., 1997.
Панов М.В. 1995 – О слогоделении в русском языке // Проблемы фонетики II. М., 1995.
Пожарицкая С.К. 1997 – Русская диалектология. М., 1997.
Потапов В.В. 1996 – Речевой ритм в диахронии и синхронии. М., 1996.
Потапов В.В. 1997а – К современному состоянию проблемы вымирающих языков в некоторых регионах мира // ВЯ. 1997. № 5.
Потапов В.В. 1997б – Язык женщин и мужчин: фонетическая дифференциация // ИАН СЛЯ. 1997. № 3.
Потапов В.В. 1999 – К динамике становления вербального ритма // ВЯ. 1999. № 2.
Потапов В.В. 2000 – Динамика и статика вербального ритма (славяно-германский языковой ареал). (В печати).
Потапов В.В., Потапова Р.К. 1997 – Фонетика и фонология: исследование единиц сегментного и супрасегментного языковых уровней // Актуальные проблемы российского языкознания: 1992–1996 гг. К XVI Международному конгрессу лингвистов в Париже. М., 1997.
Потапова Р.К. 1986 – Слоговая фонетика германских языков. М., 1986.
Потапова Р.К. 1989 – Речевое управление роботом. М., 1989.
Потапова Р.К. 1997а – Коннотативная паралингвистика. М., 1997.
Потапова Р.К. 1997б – Речь: коммуникация, информация, кибернетика. М., 1997.
Потапова Р.К. 1998а – Об опыте новой кодификации немецкого произносительного стандарта // Фонетика сегодня: актуальные проблемы и университетское преподавание: Тезисы докладов международной конференции. М., 1998.
Потапова Р.К. 1998б – Фонетические обучающие системы, функционирующие в настоящее время за рубежом и в ИНТЕРНЕТ // Социальные и гуманитарные науки. М., 1998. № 3.
Потапова Р.К. 1999а – О специфике в развитии современных систем устно-речевого общения "человек-ЭВМ" // Проблемы фонетики III. М., 1999.
Потапова Р.К. 1999б – Проект "Автоматизированная обучающая система, предназначенная для совершенствования иноязычного произношения" // Фонетика в системе языка. Сб. статей. Вып. 2. М., 1999.
Потапова Р.К. 1999в – Речеведение в Германии: возникновение, развитие, вклад в фонетические науки // Социальные и гуманитарные науки. М., 1999. № 4.
Потапова Р.К. 1999г – Электронная энциклопедия эксперта-фоноскописта (русский язык). Лингвистическое обеспечение. МСР–ФОНО–Э. М., 1999. (CD-ROM).
Потапова Р.К., Гордеева Т.А. 1998 – К вопросу о пограничных сигналах в современном немецком языке (применительно к региональным вариантам немецкого языка в ФРГ, Австрии, Швейцарии) // ВЯ. 1998. № 2.
Потапова Р.К., Линднер Г. 1991 – Особенности немецкого произношения. М., 1991.
ПСРР 1996 – Просодический строй русской речи / Отв. ред. Т.М. Николаева. М., 1996.
РНГ 2000 – Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Южно-русское наречие. М., 2000.
РТПА 1999 – Речь: теоретические и прикладные аспекты / Под ред. Л.В. Златоустовой. Вып. 1. М., 1999.
РЯФ 1996 – Русский язык в его функционировании. Уровни языка / Отв. ред. Д.Н. Шмелев, М.Я. Гловинская. М., 1996.
Скворцова Е.В. 1999 – Ритмическая организация русской речи: структура и семантика // Фонетика в системе языка. Сб. статей. Вып. 2. М., 1999.
СРУНР 1985 – Современная русская устная научная речь. Общие свойства и фонетические особенности. Т. 1 / Под общ. ред. О.А. Лаптевой. Красноярск, 1985.
СРТ 1999 – Современные речевые технологии. Сб. трудов. IX сессия РАО. М., 1999.
ТСФ 1993 – Н.С. Трубецкой и современная филология / Отв. ред. Н.И. Толстой. М., 1993.
Фомиченко Л.Г. 1996 – Когнитивная модель просодических интерферируемых систем. Волгоград, 1996.
Хитина М.В. 1999 – Вариант анализа отклонений от орфоэпической нормы в русской речи // Фонетика в системе языка. Сб. статей. Вып. 2. М., 1999.

Черкасов Л.Н. 1996 – Теория лингвистических систем и системная фонология. Ярославль, 1996.

Шалонова К.Б. 1999 – Автоматическое транскрибирование как способ отображения вариативности речи. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1999.

Шевелева М.Н. 1996 – "Житие Андрея Юродивого" как уникальный источник сведений по исторической фонетике русского языка (новые данные о рефлексах сочетаний редуцированных с плавными) // Актуальные проблемы современной русистики. Диахрония и синхрония. Вопросы русского языковедения. Вып. VI. М., 1996.

ALR 1996 – Archives of the languages of Russia (the use of acoustic databases in the study of languages change) / Ed. by L.V. Bondarko, T. de Graaf. St.-Petersburg, 1996.

Bondarko L.V. 1996 – The phonetic fund of the languages of Russia // Archives of the languages of Russia. St.-Petersburg, 1996.

EUROSPEECH 1999 – Proceedings of the European conference on speech communication and technology (EUROSPEECH'99). Budapest, 1999 (CD-ROM).

IAFP 1999 – Proceedings of abstracts of annual meeting of the IAFP. York, 1999.

ICPhS 1999 – Proceedings of the international congress of the phonetic sciences. San-Francisco, 1999 (CD-ROM).

Kedrova G.E., Dedova O.V., Potapov V.V. 1999 – Hypertextual multimedia database of Russian phonetics for distance education // Proceedings of the international workshop "Speech and computer" (Specom;99). Moscow, 1999.

Krech E.-M. 1987 – Probleme der Kodifizierung deutscher Standardaussprache // Festschrift für Hans-Heinrich Wängler. Hamburg, 1987.

Krech E.-M. 1996 – Aussprachekodifizierung und Korpus-Problematik // Gespräch und Verantwortung. München, 1996.

Krech E.-M. 1999 – Sprechwissenschaft an der Universität Halle: Entwicklung und Perspektiven // Hallesche Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik: Sprechwissenschaft – zu Geschichte und Gegenwart. Frankfurt-am-Main., 1999.

McCarthy J., Prince A. 1994 – Emergence of the unmarked; optimality in prosodic morphology // North-Eastern linguistic society. 1994. № 24.

Potapov V. 1999a – The frequency of rhythmic units in "The Song of Igor's Campaign" and in some of its translations into modern Russian // Phonetica Francofortensia. 1999. № 7.

Potapov V. 1999b – Der Sprachrhythmus im Russischen und Deutschen (diachronische und synchronische Aspekte) // Phonetica Francofortensia. 1999. № 7.

Potapowa R.K. 1994 – Das Aussprachewörterbuch der deutschen Sprache. Moskau, 1994.

Potapowa R.K. 1995 – Phonetische Besonderheiten der segmentalen Sprecheinheiten des Deutschen (in Bezug auf Vergleichsanalyse der Dauerwerte für deutsche lange und kurze Vokale im Redekontinuum) // Hörgeschädigten Pädagogik. Bd. 36. Heidelberg, 1995.

Potapowa R.K. 1999 – Die Aktualisierung der Merkmale "stimmlos-stimmhaft" im Assimilationsprozess des Deutschen (zum Versuch der akustisch-glottographischen Analyse) // Sprechwissenschaft. Halle, 1999.

Prince A.S., Smolensky P. 1993 – Optimality theory: constraint interaction in generative grammar. Cambridge (Mass.). 1993.

RPhI 1999 – G.E. Kedrova, O.V. Dedova, E.L. Barkhudarova et al. Russian phonetics in INTERNET: Hypertextual multimedia course for distance education // Proceedings of the international conference "Interactive systems: the problems of human-computer interaction". Ulianovsk, 1999.

SPECOM 1998 – Proceedings of the international workshop "Speech and computer" (SPECOM'98). St.-Petersburg,1998.

SPECOM 1999 – Proceedings of the international workshop "Speech and computer" (SPECOM'99). Moscow, 1999.

Trubetzkoy N.S. 1931 – Gedanken über Morphologie // TCLP, IV. Prague, 1931.

TO 1996 – Trubetzkoy's orphan / Ed. by R. Singh. Amsterdam; Philadelphia, 1996.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2000

© 2000 г. Л.П. КРЫСИН

СОЦИАЛЬНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ[1]

Социальная обусловленность языка, давно ставшая аксиомой лингвистики, выражается в разных формах – в социальной дифференциации национальных языков, в предпочтении разными социальными группами тех или иных выразительных средств, предоставляемых языковой системой (например, в неодинаковой употребительности вариантов представителями разных возрастных, профессиональных, образовательных и др. групп), в том, что определенные языковые средства приобретают функции социальных символов – маркеров принадлежности говорящего к той или иной социальной среде, и т.п.

Если говорить о социальной обусловленности использования языковых средств, то обращает на себя внимание то обстоятельство, что эта обусловленность проявляется не на всем пространстве языка, а лишь на некоторых участках его системы. Это утверждение можно рассматривать как перифразу известного положения о том, что не все уровни языковой структуры в равной степени проницаемы для социального воздействия: наиболее проницаема лексика и фразеология, в наименьшей степени – морфология, фонемный состав языка (об этом писал еще Е.Д. Поливанов; подробный анализ различий в социальном воздействии на разные уровни языковой структуры содержится в работе [РЯиСО 1968]).

Однако и на каждом уровне языка социальное влияние избирательно: ему подвержены лишь определенные участки, те или иные группы единиц и даже отдельные единицы, в то время как другие участки и группы единиц остаются относительно устойчивы к социальному воздействию.

В данной статье делается попытка проиллюстрировать избирательный характер социальной обусловленности языка фактами, которые касаются (1) фонетических и (2) акцентных явлений, (3) словоизменительных форм, (4) словообразовательных моделей (и отдельных образований), (5) синтаксических конструкций и (6) лексических значений.

Поскольку в центре внимания – социальная маркированность языковых единиц, характер их соотнесения с теми или иными социальными слоями и группами (а не, скажем, их лингвистические свойства), то выбор фактов, иллюстрирующих это соотнесение, более или менее произволен.

1. СОЦИАЛЬНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

1.1. В области **консонантизма** одной из ярких черт современного ненормативного (с точки зрения литературного языка) произношения являются [γ] фрикативный и его глухой позиционный коррелят [х]: *сне́*[γ]*а–сне*[х], *но*[γ]*á–со всех но*[х] и т.п. Тради-

[1] Статья написана на основании доклада, прочитанного автором на заседании Ученого совета Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН 18 ноября 1999 года. И статья, и доклад выполнены в рамках проекта № 97-04-06153 "Социальная дифференциация современного русского языка: проблемы изучения", финансируемого Российским гуманитарным научным фондом.

ционно эта черта произношения рассматривается как результат влияния южнорусских говоров, однако она характеризует говорящих не только по территориальному признаку (так говорят многие выходцы из южных областей европейской части России), но и по социальным – например, по уровню образования, по принадлежности к тем или иным профессиональным группам, по возрасту и полу, по степени социальной мобильности и некоторым другим.

Так, с повышением уровня образования увеличивается вероятность вытеснения фрикативного его литературным вариантом [г] взрывным (среди выходцев с юга России, имеющих высшее образование, процент "ɣэкающих" меньше, чем среди тех, кто имеет среднее образование, хотя не последнюю роль здесь играют психологические факторы – самоконтроль говорящим своей речи, ее ситуативная приуроченность и т.п.). "Гуманитарии" успешнее избавляются от [ɣ] фрикативного, чем представители технической интеллигенции.

В политических кругах наблюдается эффект подражания лидеру: например, в то время, когда у власти находился М.С. Горбачев, речь которого характеризуется последовательным произношением фрикативного [ɣ], среди лиц, так или иначе приближенных к власти, было немало тех, кто не ощущал необходимости избавляться от этой ненормативной фонетической особенности, а, напротив, сохранял ее в своей речи (так же, как и другие характерные приметы речи лидера: *на́чать, при́нять, углу́бить* и под.). Во времена Н.С. Хрущева, произношение которого отличалось не только наличием [ɣ] фрикативного, но и мягкостью [з] в словах типа *социализм*, "изьмы" слышались и в устных выступлениях многих других политиков.

Возрастной фактор влияет на наличие [ɣ] следующим образом: если в относительно молодом возрасте говорящий не смог избавиться от этой произносительной особенности, то в зрелом возрасте сделать это ему будет труднее (что отражает общую тенденцию к "консервации" речевых навыков с увеличением возраста).

Наличие [ɣ] обнаруживает некоторую зависимость и от пола говорящих: среди выходцев с юга России женщины дольше сохраняют в своей речи этот звук, чем мужчины, хотя на эту зависимость может накладываться действие других факторов: например, в среднем меньшая социальная мобильность женщин, чем мужчин, с одной стороны (что способствует сохранению [ɣ]), а с другой – в условиях семейной жизни влияние речи мужа, если для его речи характерен не [ɣ], а [г].

Фактор социальной мобильности – как вертикальной, так и горизонтальной, – как известно, способствует устранению из речи говорящего черт, противоречащих общепринятому узусу. Эта закономерность проявляется и на примере [ɣ], при условии, что социальные группы, с представителями которых общается данный носитель языка, характеризуются наличием в их речи [г] взрывного, а не [ɣ] фрикативного.

Разумеется, надо учитывать и разную способность говорящего к самоконтролю: в том, что касается произносительных и интонационных речевых навыков, которые в значительной степени автоматизированы, весьма большой процент говорящих не способен контролировать себя и как-либо корректировать свою речь даже в "социально ответственных" коммуникативных ситуациях.

Эта общая картина, которая демонстрирует зависимость сохранения [ɣ] от социальных факторов, в реальности не выглядит цельной, а, напротив, нарушается многочисленными исключениями, в основе которых – значительные изменения в составе носителей русского литературного языка, произошедшие в XX веке.

Пополнение контингента носителей литературного языка за счет выходцев с юга России сделало этот фонетический элемент необычайно распространенным в современном произношении. Если пользоваться [ɣ] фрикативным как маркером нелитературности речи, то из состава носителей современного литературного языка следует исключить всех тех, чья речь содержит этот звук, но в остальных свойствах вполне литературна. Чистота произносительной нормы тем самым останется в неприкосновенности. Но, заметим, чистота нормы как идеала, как теоретического конструкта. Реальная же речевая практика с этим идеалом не совпадает и нередко весьма далека

от него (как говорил Ж. Вандриес, "правильный язык – идеал, к которому стремятся, но которого не достигают"). А задача социолингвистического исследования состоит как раз в том, чтобы получить представление о реальной языковой жизни людей.

Однако помимо нормы есть еще один параметр (связанный с нормой, но все же самостоятельный), по которому оценивается речь человека и ее свойства, – **социальный престиж**: очевидно, что социальный престиж литературного произношения в современном русском обществе выше, чем социальный престиж произношения диалектного или просторечного. В связи с этим кажется несомненным, что социальный престиж двух типов произношения – с [γ] фрикативным и с [г] взрывным – неодинаков: тип с [г] взрывным как соответствующий традиционной фонетической норме более престижен, чем тип с [γ] фрикативным. Для всех говорящих по-русски очевидно, что в "социально ответственных", культурно значимых коммуникативных сферах и ситуациях общения – в радио- и телевизионной речи, в театре, кино – нормативным является произношение [г] взрывного. А фрикативный либо используется как необходимая "речевая краска", либо с ним мирятся как с неустранимой чертой речи лиц – выходцев с юга России, которые могут играть определенную роль в политической и культурной жизни страны, быть людьми публичными (что связано с необходимостью выступать перед массовой аудиторией, в том числе по радио и телевидению).

Отдельный вопрос – о произношении заднеязычного в словах типа *Бог, благо* и нек. др. До сравнительно недавнего времени [γ] и его позиционный вариант [х] были в произношении этих слов единственной орфоэпической нормой (о чем писал более семидесяти лет тому назад Д.Н. Ушаков: см. [Ушаков 1928]). Однако в современной речи все большее распространение получает произношение *Бо*[г]*а, бла*[г]*о* и запрещаемое нормой (см. [Орфоэпический словарь 1989: 46, 651]) *Бо*[к]; это характерно главным образом для речи молодого и среднего поколений. В произношении священнослужителей [γ] – [х] в этих словах, кажется, не зависит от возрастных различий говорящих (говорю об этом осторожно, потому что нет материала массовых наблюдений над речью священников).

К социально маркированным чертам произношения в области консонантизма следует отнести так называемое [ж'] полумягкое и [l] среднеевропейское, возможные в иноязычных словах типа *жюри, блеф*, в названии ноты *ля* и в собственных именах типа *Сен-Жюст, Флобер*.

Та и другая особенности произношения характерны для некоторых представителей старшего поколения интеллигентов – носителей литературного языка, как правило, владеющих иностранными языками (и [ж'], и [l], несомненно, ближе к иноязычным фонетическим образцам, чем [ж] и [л]). Кроме того, [ж'] полумягкий может встречаться и в речи представителей других социальных групп как ситуативно обусловленный вариант [ж] твердого. Так, ведущий телевизионной передачи "КВН" А. Масляков произносит [ж']*юри*, когда он выступает в роли именно телевизионного ведущего (то есть в публичной речи), а вне этой роли, в непринужденном разговоре допускает и твердый вариант: [ж]*юри*. Тенденция к ситуативно обусловленному произнесению именно [ж'], а не его твердого коррелята наблюдается и в речи некоторых других телевизионных ведущих. Так, во время ежегодной торжественной церемонии вручения приза ТЭФИ, транслируемой по телевидению, со сцены часто звучит полумягкий вариант фонемы ⟨ж⟩ в слове *жюри*.

1.2. Социально маркированными являются и некоторые виды позиционно обусловленного произношения согласных. Они были достаточно подробно описаны в предыдущих наших работах (см.: [РЯиСО; РЯДМО; Социально-лингвистические исследования 1976]), а также в исследованиях других авторов: см., например [Ганиев 1971; Григорьева 1980] и др.

Здесь обратим внимание на такие особенности произношения согласных, которые характерны не только для речи носителей литературного языка (что было объектом

внимания в указанных работах), но и для речи носителей других языковых подсистем. Так, среди разных типов ассимилятивного смягчения согласного перед следующим мягким согласным выделяются такие, которые не свойственны (или почти не свойственны[2]) речи носителей литературного языка, а являются яркой приметой просторечия: *ко*[н'ф']*éта*, *ла́*[ф'к']*и*, *ла́*[п'к']*и*, *по*[д'в']*éсить*, *о*[т'в']*ёл* и под.

Социально отмеченными, характерными для малообразованной просторечной среды являются многие случаи расподобления согласных типа *дилектор, колидор, слободно, транвай* и под., а также произношение *каж*[н]*ый, пи*[н]*жак* и т.п. В отличие от [γ], который распространен широко, такого рода факты редко выходят за пределы просторечной среды, резко противопоставленной другим социальным группам по уровню образования и культуры.

Давно замечено, что социально обусловленные различия в фонетике часто лексикализованы: ср., например, произношение [ы^{э}] в словах *шаги* и *лошадей*, ассимилятивное смягчение согласных и нек. др. фонетические явления. Иногда произносительная специфика касается одного слова; таково, например, произношение слова *вообще* в среде подростков: [ваш' э́] – со стяжением ⟨оо⟩ в [а] и с полной утратой [п] на месте ⟨б⟩ (ср. нормативное произношение этого слова: [ваапш'э́] или [вапш' э́]).

1.3. В области **вокализма** к социально маркированным особенностям можно отнести различение ⟨о⟩ и ⟨а⟩ неударных (то есть сохранение [о] не под ударением) в словах типа *божественный, богохульство, милосердие, добродетель* и т.п., наблюдаемое в речи священнослужителей, хотя, по-видимому, эту особенность их речи нельзя считать "полноценным" оканьем, как в типичных окающих севернорусских говорах. Кроме того, эта фонетическая черта у названной группы говорящих ситуативно и жанрово обусловлена: наиболее отчетливо она проявляется в проповедях и вообще в публичной речи, в других же коммуникативных условиях произношение ⟨о⟩ неударного близко к обычному акающему, рекомендуемому современной орфоэпической нормой.

Звук [о] не под ударением сохраняется также при произношении некоторых иноязычных слов (типа *сонет, болеро*) в речевой практике представителей интеллигенции старшего поколения, главным образом в жанрах публичной речи[3].

Социально отмеченной является редукция неударного ⟨у⟩ – явление, на которое впервые (на материале акающих говоров) обратил внимание Л.Л. Касаткин в работе [Касаткин 1971] и которое получает все большее распространение в современной речи. По-видимому, в наибольшей степени произношение типа [бъ]*тербро́д*, [дъ]*раки́ (дураки)*, [съ]*ндуки́, де́*[дъ]*шка, ма́*[тъ]*шка* и под. характерно для носителей просторечия. Однако и у представителей других социальных слоев и групп в спонтанной, главным образом в аллегровой, речи наблюдается эта особенность. Несмотря на это, пока, на современном этапе развития русского языка ее следует квалифицировать как ситуативно и отчасти социально обусловленную произносительную черту. Возможно, со временем она распространится во все слои носителей русского языка, но скорее всего сохранит ситуативную и жанрово-стилистическую обусловленность (сейчас трудно представить себе, чтобы со сцены или по радио произнесли: "Я памятник себе воздвиг [н'ирък]*тво́рный*).

---

[2] В литературном произношении эта фонетическая черта еще встречается у потомственных москвичей старшего поколения. Однако в целом ее следует квалифицировать как малохарактерную для современной орфоэпической нормы и, напротив, как весьма распространенную в просторечии. Об условиях реализации в произношении сочетаний согласного с последующим мягким согласным и об эволюции нормы на этом участке см. в [Панов 1967: 325–327; Григорьева 1980].

[3] В работе [РЯиСО, кн. 3: 120] приведены статистические данные, свидетельствующие, что в речи старых москвичей эта черта произношения распространена достаточно широко. Однако эти же данные указывают на ее несомненную лексическую обусловленность: она сохраняется в малочастотных заимствованиях типа *боа, бомонд* и выглядит как претенциозное манерничанье в бытовых номинациях типа *костюм, бокал*, "чья заимствованность уже перестала ощущаться говорящими" [Панов 1967: 324].

2. СОЦИАЛЬНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ АКЦЕНТНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Хрестоматийными примерами социально и профессионально обусловленных акцентных форм являются такие факты, как *компа́с* – в речи моряков, *до́быча* – в речи горняков, *при́вод* – в речи милицейских работников, *при́кус* – в речи стоматологов, *про́гиб* – в речи строителей, *ка́учук* – в речи химиков, *со́зыв* – в речи парламентариев и политиков и некот. др.

В современной речи наблюдаются массовые случаи отклонения от акцентной нормы. Политики, депутаты, члены правительства, обычные носители языка то и дело произносят: *на́чать, углу́бить, обо́стрить, при́нять, материальные блага́, средства́* и т.п. Многие из этих акцентных явлений "размыты" по разным социальным группам, не закреплены в речевой практике какой-либо одной из них. Кроме того, такие неправильности различаются по степени своего отклонения от литературной нормы: акцентные варианты типа *отпи́л, нали́л, обня́лись, собра́лись* и т.п. рассматриваются как допустимые в литературном произношении (см. [Воронцова 1979; РЯДМО; Орфоэпический словарь 1989]).

Наряду с подобными вариантами наблюдаются разнообразные акцентные явления, которые во многих случаях могут быть охарактеризованы как присущие речи той или иной социальной среды. Разумеется, и в этом случае литературная норма выступает мерилом акцентной правильности речи, однако квалификация "нормативно – ненормативно" здесь явно недостаточна: гораздо важнее "привязать" ненормативное явление к определенной социальной или профессиональной среде.

Не претендуя на систематичность в перечислении такого рода отклонений от акцентной нормы, укажем некоторые из них, наиболее яркие и определенные по своей социальной или профессиональной отнесенности.

Два причастия – *осужденный* и *возбужденное (дело)*, согласно орфоэпической норме имеющие ударение на гласном суффикса *(осуждённый, возбуждённое)*, – в среде прокурорских работников, следователей, милиционеров произносятся с ударением на гласном корня: *осу́жденный, возбу́жденное*. Эти акцентные формы могут служить своеобразными маркерами речи указанных профессиональных групп: если вы слышите произношение этих словоформ с накоренным ударением, то скорее всего говорящий – либо прокурор, либо следователь, либо милиционер. Можно предположить, что эта особенность ударения в указанных словоформах имеет длительную традицию в названной социальной среде: известный в прошлом адвокат П.С. Пороховщиков (П. Сергеич) еще в конце XIX века отмечал накоренное ударение в глагольной форме прошедшего времени: *возбу́дил* – как характерное для речи юристов [Сергеич 1960: 38]. Он осуждал также ударение на префиксе в слове *приговор*, считая его принадлежностью "речи чинов прокуратуры, присяжных поверенных и их помощников, секретарей судебных мест и кандидатов на судебные должности" (Там же). В современной речи такое произношение слова *приговор*, по-видимому, не столь жестко прикреплено к указанному профессиональному кругу говорящих – оно встречается и в других группах носителей языка.

Некоторые акцентные явления, обычно рассматриваемые лишь как отклонение от литературной нормы, приобретают черты социально локализованных языковых черт. Таково, например, произношение слова *ква́ртал* с ударением на первом слоге: оно характерно главным образом для речи финансовых и административных работников, служащих домоуправлений и т.п. Ср.: "О, его величество квартал! Поседевшие в боях со штурмовщиной хозяйственники поклоняются его тысяче и одному показателю, как языческому божеству. (Кстати, не знаю ни одного из администраторов, кто бы произносил слово "квартал" правильно, и это тоже один из феноменов нашей действительности)" (Лит. газ., 1987, беседа с главным редактором издательства "Московский рабочий"; пример заимствован из работы [Еськова 1994: 133]).

Произношение слова *километр* с ударением на втором слоге в наибольшей степени

характерно для речи водителей, диспетчеров автомобильного движения, автоинспекторов, хотя было бы неверно утверждать, с одной стороны, что в их речи встречается только этот вариант и отсутствует вариант с нормативным ударением, и, с другой, что ненормативное произношение этого слова нельзя услышать в речи представителей других профессиональных групп. Кроме того, у одного и того же лица ударение может варьировать – в зависимости от ситуации или типа собеседника. Иногда говорящие вполне сознательно применяют разные акцентные варианты. Знаменитый металлург академик И.П. Бардин на вопрос о том, с каким ударением он произносит слово *километр*, ответил: "Когда как. На заседании Президиума Академии – *киломе́тр*, иначе академик Виноградов морщиться будет. Ну, а на Новотульском заводе, конечно, *кило́метр*, а то подумают, что зазнался Бардин" (цит. по: [Костомаров, Леонтьев 1966: 5]).

Еще несколько примеров профессионально обусловленного ударения.

На текстильных фабриках работают *мо́тальщицы* – именно так называют эту профессию и сами мотальщицы, и те, кто близок к текстильному производству. А в цехах механических заводов есть *стро́гальные станки*, у которых стоят *стро́гальщики*, и такое ударение является единственным в этой профессиональной среде (сказать здесь *строга́льный станок, строга́льщик* – значит, обнаружить себя как "чужака"). В речи медиков преобладает произношение *а́лкоголь, наркомани́я, рентгенографи́я* и под.; литературная норма, как известно, рекомендует иные акцентные образцы: *алкого́ль, наркома́ния, рентгеногра́фия* [Орфоэпический словарь 1989].

Некоторые акцентные явления распространены не в одной, а в разных социальных и профессиональных группах говорящих. Например, ударение на флексии *-ы (-и)* в именит. падеже множественного числа существительных мужского рода распространено как среди людей технических профессий, так и в "обычном" (не профессиональном) просторечии: *краны́, стаканы́, склады́* (естественно, ударны и флексии косвенных падежей множ. числа: *крано́в, кра́нам, кра́нами, о кра́нах, стакано́в* и т.д.). Возможно, впрочем, что разные лексемы, которые характеризуются этим ударением, встречаются в той и в другой среде с разной частотой: например, словоформа *краны́* более обычна в техническом "языке" (по нашим наблюдениям, крановщики и сантехники употребляют словоформы этого слова – как в значении 'подъемный механизм', так и в значении 'запорное устройство на водопроводной или какой-либо иной трубе для выпуска жидкости или газа' – исключительно с наконечным ударением), а словоформы лексемы *стакан* (*стаканы́, стаканов* и т.д.) – в просторечной среде (вероятно, без какой-либо профессиональной локализации).

3. СОЦИАЛЬНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫХ ФОРМ

3.1. Формы им. падежа множ. числа существительных мужского рода, имеющих в конце основы твердый или мягкий согласный, с флексией *-а́(-я́)* весьма частотны в современной русской речи; при этом многие из них должны (или могут) быть охарактеризованы как профессионально или социально маркированные. Чаще других эту флексию и ударные флексии косвенных падежей получают существительные, обозначающие предметы и понятия, наиболее регулярно употребляемые в данной профессиональной или социальной среде.

Например, словоформы типа *соуса́, супа́, торта́, шампура́, шницеля́* и т.п. – примета речи поваров и других представителей "кулинарного цеха", словоформы типа *бункера́, взвода́, госпиталя́, дембеля́* (от слова *дембель* во втором из двух значений: 1) 'время демобилизации из армии' и 2) 'тот, кто демобилизуется') и т.п. – обычны в речи военных, а *боцмана́, мичмана́, штурмана́, троса́* и под. – в речи моряков; как явные техницизмы, то есть факты, присущие преимущественно речи людей, имеющих технические профессии, воспринимаются словоформы *допуска́, дюбеля́* (ед. *дю́бель*),

кульмана́, штангеля́, швеллера́ и под.; речи представителей сил правопорядка и правосудия – прокуроров, следователей, милиционеров – присущи такие формы, как *обыска́, привода́, срока́ (Было проведено несколько **обысков**; Участились **привода́** в милицию несовершеннолетних подростков; Необходимо сокращать **срока́** пребывания подследственных в местах предварительного заключения* – из выступлений по телевидению представителей органов милиции и прокуратуры, 1998–1999 гг.); в уголовном жаргоне ударные флексии в именных словоформах множественного числа приобретают наиболее употребительные и специфичные для этого жаргона имена существительные: *кореша́* (от *кореш* в значении 'друг, приятель'), *кошеля́* (от *кошель* в значении 'карман'), *мусора́* (от *мусор* в значении 'милиционер'), *фраера́, любера́* и т.п.

В просторечной среде в эту словоизменительную модель – с ударными флексиями в косвенных падежах множественного числа существительных – "затягиваются" и некоторые существительные женского рода: в просторечии частотны формы типа *матеря́, площадя́, мозоля́* (от *мозоль*; впрочем, это слово – так же, как *канифоль, фасоль* и нек. др. – в просторечии нередко склоняется и согласуется с определениями и с глагольными формами как существительное мужского рода: *Замучилась с э**тим мозолем**, Но**вый мозоль** на ноге образова**лся*** и т.п.) и нек. др.

3.2. Социально или профессионально маркированы некоторые глагольные словоформы.

Так, накоренное ударение в словоформах *све́рлишь, све́рлит, све́рлим, све́рлите, све́рлят*, а также в личных формах префиксальных производных этого глагола: *просве́рлишь, просве́рлит, рассве́рлишь, рассве́рлит* и т.д. характерно для речи рабочих, имеющих дело с токарной и слесарной обработкой металла.

Накоренное ударение в личных формах глаголов *включить, подключить, исключить: включи́шь, включи́т, включи́м, включи́те, включа́т; подключа́т, исключа́т* и т.д. – распределено в зависимости не от собственно социальных или профессиональных характеристик говорящих, а от их возраста: оно более характерно для речи молодого и среднего поколений, старшее же поколение больше привержено традиционному варианту (с ударением на личном окончании), а некоторые представители интеллигенции старшего поколения к тому же и осуждают акцентное новшество – ударение на основе; в частности, Л.К. Чуковская и устно, и печатно (но безуспешно) боролась с произношением *включи́шь, включи́т* и т.д. (см. ее статью в сборнике, посвященном 90-летию академика Д.С. Лихачева, – [Чуковская 1996]).

4. СОЦИАЛЬНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

Начиная с пионерских работ Г.О. Винокура, обратившего внимание на определенную специфику словообразовательных процессов в области русской технической терминологии (см.: [Винокур 1939; 1946]), исследователи отмечают **специализацию** словообразовательных моделей и словообразовательных аффиксов как одну из основных тенденций развития системы русского словообразования (см. [РЯиСО, кн. 2, гл. 5]). При этом имеется в виду, во-первых, установление взаимно-однозначных отношений между аффиксом и выражаемым им значением: ср., например, вполне определившееся к концу нынешнего века отношение между значением 'житель города (местности)' и суффиксом *-чанин* – вместо имевшей место в недавнем прошлом множественности суффиксов, "обслуживавших" это словообразовательное значение.

Во-вторых, тенденция к специализации словообразовательных моделей выражается в "распределенности" аффиксов и соответствующих моделей словообразования по тем или иным сферам языка. Например, в техническом "языке" высока – по сравнению с другими сферами речевой деятельности человека – продуктивность суффиксов *-щик/-чик* и *-атор*: с помощью *-щик/-чик* образуются названия профессий – *расклейщик, перекладчик* и под., – а суффикс-*атор* участвует в образовании и имен лица, и

названий механизмов, иногда совмещая в одном слове оба значения: *аэратор, дегазатор* и под.

Именное словообразование в области русской спортивной терминологии отличается иными особенностями: здесь исследователи отмечают типичность сложносоставных наименований нескольких разновидностей: *старт-финиш* (конъюнктивный тип), *легкоатлет* (видо-родовой тип), *копьеметатель* (прямо-дополнительный), *конькобежец* (косвенно-дополнительный), *внутриклубный* (обстоятельственный тип), распространенность стяжений словосочетаний в одно слово с добавлением суффикса *-к(а): стометровка, двадцатиминутка, пятисотка* и т.п. (см.: [Андреев, Замбржицкий 1963]).

В среде, специфической не по профессиональному, а по возрастному признаку, – студенческой и, соответственно, в студенческом жаргоне активна модель образования с помощью суффиксов *-я́к* и *-ня́к* экспрессивных существительных с общим значением состояния организма: *депрессняк* 'депрессия', *отпадняк* 'состояние сильного удивления или восхищения', *передозняк* 'состояние, возникающее в результате передозировки наркотика' и т.п. (примеры взяты из работы [Юганов, Юганова 1997]). В так называемом общем жаргоне (см. о нем [Ермакова, Земская, Розина 1999]), который наиболее распространен в речи представителей молодого и среднего поколений говорящих, весьма продуктивен тип существительных с суффиксом *-у́х(а)*: *бытовуха, кликуха, порнуха, чернуха* и под.

С точки зрения социальной дифференциации языка и социальной маркированности его средств важен второй аспект специализации словообразовательных средств. При определенной общности словообразовательных моделей для всего «пространства» русского языка – от территориальных диалектов и социальных жаргонов до литературной его формы – эти модели известным образом р а с п р е д е л е н ы между подсистемами языка (а внутри литературной формы – и между стилями и сферами общения), однако это распределение не "жесткое" – по принципу "есть – нет" (такая-то словообразовательная модель, такой-то словообразовательный тип в данной подсистеме), а статистическое: слова, образующиеся по модели *X*, в подсистеме (сфере общения) *Y* более частотны, более обычны, более разнообразны (например, с точки зрения набора основ, от которых они могут быть произведены), чем в подсистемах *Z*, *W* и др. (об этом свидетельствуют и примеры из технического «языка» и из спортивной терминологии, приведенные выше).

Наряду с этим в профессионально или социально ограниченных сферах общения возможно порождение и функционирование таких образований, которые отличаются от общеязыковых как по словопроизводственной модели, так и по сопровождающим такую модель иным, не словообразовательным чертам – например, по акцентным характеристикам, по семантическим взаимоотношениям со словами литературного языка и т.п. Как правило, такие специфические образования возникают для обозначения актуальных в данной сфере общения понятий и действий; коммуникативная потребность в подобных образованиях столь велика, что говорящие либо пренебрегают запретами, которые налагает словообразовательная система языка на те или иные морфемные сочетания, либо производят такие лексические единицы, которые хотя и "разрешены" системой, но в которых другие сферы общения не испытывают нужды.

Например, в речи медиков отмечен глагол *раздышать*: *...пытались его* [тяжело раненного] ***раздышать*** *с помощью этого аппарата, но все бесполезно* (Телевидение, 1998 г., в речи врача скорой помощи); как известно, в литературном языке *дышать* соединяется с приставкой *раз-* только в сочетании с постфиксом *-ся*: *раздышаться*. Медики говорят: ***пролечить*** *больного*, ***проколоть*** *ему пенициллин* (ср. также активность этой глагольной модели в речи финансистов, коммерсантов: ***проплатить*** *все счета*). В профессиональной медицинской среде отмечены такие образования, как

сочéтанные *травмы,* ***тощакóвая*** *моча,* ***скоропомощны́е*** *мероприятия,* ***вспышечные*** *заболевания.* С точки зрения словообразовательной системы такие слова, как *сочетанный* и *тощаковый* "незаконны": от глагола *сочетать* не образуется страдательное причастие прошедшего времени, а прилагательное *тощаковый* произведено от отсутствующего в языке существительного **тощак*, которое было "извлечено" профессионалами-медиками из наречия *натощак* для того, чтобы оно послужило производящей основой указанного прилагательного.

Специфические образования отмечаются в официально-деловом стиле литературного языка, а говоря конкретнее – в "языке" чиновников (скорее устном, чем письменном): *подвижка* (*Произошли* ***подвижки*** *по Югославии*), *проговорить* и *обговорить* в значении 'обсудить' (*Нужно* ***проговорить*** *вопросы, связанные с установлением границы с Чечней*; *Этот налог надо* ***обговорить*** *в Думе*); *конкретика* (*Предложенные планы правильные, только надо наполнить их* ***конкретикой***), *наработки* (*В этой сфере у нас уже есть определенные* ***наработки***) и др. Глагол *задействовать* в значении 'привести в действие', из языка военных перекочевавший в чиновничий язык, сейчас уже почти потерял свою социальную маркированность (с пометой 'спец.' он зафиксирован в словаре Ожегова – Шведовой, но в данном случае эта помета, как кажется, не отражает узус: глагол употребляется достаточно широко и не только в речи специалистов).

Профессиональная речевая среда "не боится" омонимии возникающих в ней образований с уже имеющимися в языке словами: ср., например, бытующее в среде следователей и прокурорских работников слово *особняк* в значении 'следователь по особо важным делам' (в этом же значении употребляется профессионализм *важняк*, образованный от другого компонента приведенного словосочетания), употребляющееся в административно-чиновничьем "языке" слово *расшивка* в значении 'решение' (*Проводятся мероприятия по* ***расшивке*** *комплекса социальных проблем в регионе*), технический жаргонный термин *цветник* 'специалист по цветным металлам', спортивные термины *перестрелка* 'повторные соревнования по стрельбе между спортсменами, набравшими одинаковое число очков, для выявления победителя' и *перебой* 'повторная встреча фехтовальщиков, набравших одинаковое число очков, для выявления победителя' и т.п.

5. СОЦИАЛЬНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

5.1. В недавно опубликованной "Коммуникативной грамматике русского языка" Г.А. Золотова, вводя читателя в проблематику книги, останавливается на примерах конструкций, характерных для речи людей, "говорящих обедненным языком", речи, в которой автоматически и невпопад соединяются "клише и штампы среды обитания и притяжения; для одних – это разные молодежные группировки, для других – партийно-общественные круги, для третьих – профессионально-деловые, военные, спортивные" [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 18].

Хотя пафос этого наблюдения – в том, что многие бездумно относятся к своему языку, не контролируя отбор средств и их правильное, соответствующее не только литературной норме, но и культурной традиции совмещение в пределах высказывания, здесь подмечена одна характерная черта многих речевых произведений, о которой и идет речь в данной главе, – их социальная маркированность.

В самом деле, приведенные в цитируемой книге фразы содержат фрагменты, которые могут быть квалифицированы как в большей или меньшей степени характерные для определенной социальной среды: *Когда он подъедет, мы попросим его подсесть к нам; ...расследуются преступления по убийству; ...ситуация по этому заводу; обговариваем вопрос организации работ* и т.п. – это можно слышать из уст чиновника, работника прокуратуры, депутата Государственной Думы.

Обычно такого рода речевые особенности интерпретируются либо с точки зрения их правильности – неправильности (то есть соответствия норме, характеризующей данный этап развития литературного языка), либо с точки зрения принадлежности их к какой-либо подсистеме языка или функционально-стилистической его разновидности – например, просторечию, официально-деловому стилю и т.п. Но фактически за такой интерпретацией стоят те или иные сферы социальной жизни и, значит, определенные группы людей, составляющих данное общество. Они могут пользоваться тою или иной подсистемой языка всегда, вне зависимости от условий общения (таковы, например, в своей массе носители русского просторечия), или же быть "полиглоссными", переключаясь с одной подсистемы или функционально-стилистической разновидности на другие при изменении коммуникативной ситуации (например, с официально-делового стиля в ситуации судебного заседания на обычный разговорный язык в семейном или бытовом общении).

Но между полной "моноглоссностью" (как у носителей просторечия) и умением легко осуществлять кодовое переключение (как у образцовых носителей литературного языка) есть масса промежуточных случаев, отражающих разрыв между о с о з н а н и е м необходимости подбирать подходящие языковые средства и н е у м е н и е м это делать (причин такого неумения много, но главная – неразвитость языкового вкуса). Значительная же часть говорящих попросту не озабочена проблемой выбора слова или синтаксической конструкции. Даже современная интеллигенция, по выражению Л.К. Чуковской, "лишилась иммунитета": "не совершает отбора" языковых средств [Чуковская 1996]. Как следствие этого – штампы милицейских протоколов в телевизионном интервью, "канцелярит" в обыденном разговоре, обороты, уместные в технических инструкциях, – в обращении водителя троллейбуса к пассажирам, и т.д. Все это свидетельствует о низком уровне владения языком, хотя в такого рода смешении разных речевых стихий может и не происходить прямого нарушения грамматических норм языка (о чем также пишет Г.А. Золотова [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 17–18]).

В данном разделе речь пойдет о социальной маркированности лишь некоторых синтаксических конструкций, употребительных в современной русской речи. Одни из них давно покинули ту социальную среду, которой обязаны своим рождением, и весьма частотны как в средствах массовой информации, так и в устно-разговорных жанрах речи; другие сохраняют следы своей социальной прикрепленности. Применительно и к тем, и к другим можно говорить о социальной маркированности, поскольку налицо не только особая стилистическая окрашенность синтаксической конструкции, но и специфика ее структуры, характерная для определенного круга говорящих.

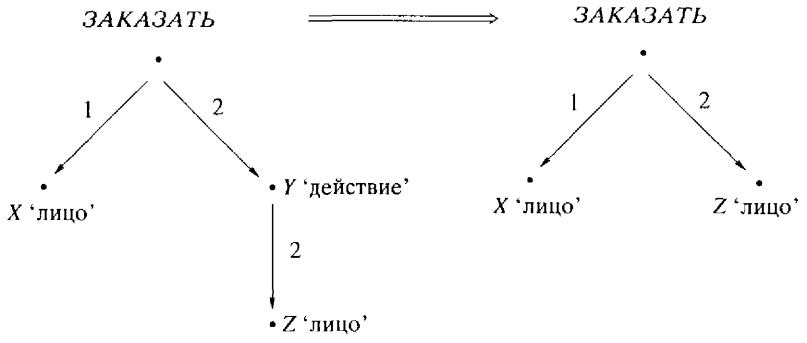
5.2. *Заказать* + S одуш вин

Эта конструкция употребляется в значении 'подготовить, организовать убийство кого-либо'. Оборот родился в речи мафиозных, преступных групп в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века и быстро распространился, чему немало способствовали средства массовой информации, чуть ли не ежедневно сообщающие о заказных убийствах.

Своеобразие этой конструкции и ее отличие от нормативного употребления глагола *заказать* в литературном языке заключается в том, что второй актант в семантической структуре глагола обозначает лицо, в то время как литературное *заказать* исключает такое выражение второго актанта: можно заказать какие-либо услуги, еду, питье, предметы одежды и обуви и т.п.; ср.: *заказали столик в ресторане, заказать ужин на двоих, заказала платье в ателье.* В ситуации подготовки убийства кого-либо этот актант должен был бы выражаться каким-либо предикатом, чаще всего самим словом *убийство*, а также его синонимами и аналогами (*ликвидация*, *уничтожение* и др.), а синтаксическим зависимым этого предиката выступает именная группа, обозначающая лицо[4]: *заказали убийство известного политического деятеля.*

[4] Возможность выражения второго актанта именами с предметным значением (*заказать борщ в ресторане, платье в ателье, номер в гостинице*) в данном случае не рассматривается.

В жаргонной конструкции убрано звено: вместо того, чтобы подчинять глаголу обозначение лица через посредство предиката, подчинение осуществлено непосредственно:



При этом значение глагола специфицировано: он обозначает только ситуацию подготовки и организации убийства, но, например, не ситуацию приготовления какого-либо блюда, шитья платья или костюма и т.п.

5.3. S(V) + *НА* + S′ вин

Сходное стяжение актантной структуры предиката произошло в конструкции, имеющей совершенно иное "социальное происхождение". Речь идет о характерной для речевого обихода некоторых групп технической интеллигенции конструкции S(V) + *НА* + S′ вин, где в качестве S(V) выступает отглагольное существительное типа *бурение*, *разведка*, а в качестве S′ вин – обозначение объекта, который является результатом действия, называемого с помощью S(V): *Фирма осуществляет* ***бурение на воду***; *В этом районе велась* ***разведка на нефть***[5]. В развернутом виде эти предложения должны были бы включать компоненты, обозначающие объект (*бурение*, *разведка ч е г о*) и цель (*бурение*, *разведка с ц е л ь ю о б н а р у ж е н и я*), а результат действия в таком случае выражался бы синтаксическим зависимым предиката: *...с целью обнаружения воды* (*нефти*).

Формально та же конструкция – сочетание существительного, обозначающего действие, с предложно-падежным оборотом *НА* + S вин, однако с иными значениями как составляющих, так и всей конструкции отмечена в других социальных сферах: в речи спортивных журналистов и спортсменов (*соревнования на первенство*, *матч на кубок*, *велогонка на приз* – выражено значение цели), в речи военных (*приказ на прорыв из окружения*, *решение на проведение операции* – выражены значения 'содержание' и 'цель') – см. [Золотова 1974: 155].

Такого рода синтаксические стяжения не редкость в техническом и других профессиональных "языках", в устной форме официально-деловой речи. Как показатель определенной тенденции в развитии русского синтаксиса они были отмечены Г.А. Золотовой и Н.Ю. Шведовой более тридцати лет тому назад, см. [Золотова 1966; Шведова 1966; РЯиСО, кн. 3: 250 и след.]. В конце XX века эта тенденция проявляется в речи разных социальных групп и на различном языковом материале. Особенно характерна в этом отношении экспансия предлога *по*, неоднократно отмечавшаяся исследователями.

---

[5] Г.А. Золотова отметила случаи следующей стадии подобного стяжения, когда в качестве синтаксического хозяина в этой конструкции выступает не предикат, а предметное имя: *А между тем в России как будто нет* ***руд на металлический алюминий*** (В. Вернадский), – см. [РЯиСО, кн. 3: 251]. По-видимому, этот тип синтаксического стяжения остается исключительной принадлежностью профессионального "языка" геологов и горняков.

5.4. S(V) + *ПО* + S′ дат или V + *ПО* + S′ дат

Возникшая в чиновничьей среде конструкция с предлогом *по* – типа: *переговоры по Югославии, голосование по кандидатуре NN, инициатива по Чечне, договоренность по Газпрому* и т.п.[6] имеет исключительно широкое распространение в современной речи. Как правило, синтаксическим хозяином в этой конструкции является отглагольное существительное (как в приведенных примерах), в норме не управляющее предложно-падежной группой с предлогом *по* (ср.: *переговоры, договоренность о ч е м - л и б о, голосование з а к о г о - л и б о, инициатива в ч е м - л и б о).* Встречаются и сочетания, где в качестве подчиняющего компонента употребляется не существительное, а глагол, в литературном языке также не способный управлять предлогом *по*: *Мы, кстати, **встречались** с Гайдаром и по банку, и по Парамоновой* (В.С. Черномырдин); *Необходимо **договориться** с МВФ по российскому долгу, по его реструктурированию* (М.М. Задорнов, министр финансов России)[7].

Конструкции этого типа частотны в языке средств массовой информации, в устных выступлениях представителей власти, политиков, финансистов, бизнесменов, то есть наблюдается достаточно широкий "разброс" этих конструкций по разным функциональным разновидностям речи и разным социальным слоям и группам. Однако нельзя не отметить тот факт, что рассматриваемые конструкции мало характерны для устно-разговорной речи социальных групп, не связанных с названными выше сферами деятельности (власть, политика, финансы, бизнес), – например, для речи гуманитарной интеллигенции.

Далеко не все специфические, нарушающие языковую традицию явления, в том числе и в синтаксисе, могут быть квалифицированы как принадлежащие той или иной социальной среде. Некоторые инновации отражают общие тенденции развития языка (или каких-либо уровней его структуры) и возникают на пересечении нескольких функциональных разновидностей языка и разных социальных сфер его использования. Тем не менее, изучение источников появления тех или иных новшеств, "социальная паспортизация" этих источников позволяют яснее представить себе пути, которыми в литературный оборот вовлекаются новые выразительные средства.

6. СОЦИАЛЬНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

До сих пор речь шла о социальной маркированности, выраженной в виде специфических звуков, особенностей ударения, словообразовательной структуры тех или иных слов, синтаксической структуры словосочетаний. Социальные маркеры в этих случаях материальны.

В этом разделе объектом нашего внимания будут субстанции, которые материализуются не в виде тех или иных внешних признаков слова или предложения, а в виде лексических значений (или фрагментов значений), которым в соответствие ставятся **толкования** (или соответствующие их части), описывающие эти значения. Тем не менее и в этом случае мы должны говорить о социальной маркированности языковых единиц, поскольку определенные значения слов или компоненты значений обнаруживают свою социальную (а не какую-либо иную) природу.

6.1. Тривиальной разновидностью социально маркированных лексических значений являются **метафорические переосмысления** общеупотребительных слов, происходящие в среде говорящих, ограниченной по профессиональному или социальному признаку.

---

[6] Значение предлога *по*, реализующееся в этой конструкции, Л.Л. Иомдин определяет как выражающее "валентность темы"; *по* в таком употреблении автор снабжает пометами "офиц. прост." – см. [Иомдин 1991: 95, 109–110].

[7] О различиях в нормативной оценке этих оборотов в середине XX века и в 90-х годах, а также об ограничениях в использовании предлога *по* в такого рода конструкциях см. в работе [Гловинская 1996: 249–252].

Ср., например: *коза* 'вагонетка для перевозки людей в шахте', *баран* 'машина для сверления шпуров', *чайник* 'пневматический насос' – в профессиональном языке горняков [Краснова, Марченко 1981: 338–339], *брюхо* 'нижняя часть фюзеляжа', *морда* 'лобовая часть самолета', *нога* 'опора шасси' – в языке летчиков; *меняла* 'сменщик', *пиджак* 'пассажир провинциального вида', ехать *конем*, то есть порожняком, без пассажиров – в языке таксистов (подробнее см. в [Крысин 1989: 68–69]); *балерина* 'отмычка', *крыса* 'тот, кто ворует у своих', *кувалда* 'умственно отсталый человек', *ротонда* 'тюрьма' – в жаргоне уголовников (см. [Балдаев и др. 1992]), *колёса* 'наркотик в виде таблеток', *косяк* 'папироса с марихуаной или другим наркотиком', *торчать* 'употреблять наркотики', *трава* 'марихуана' – в жаргоне наркоманов и хиппи (см. [Рожанский 1992; Юганов, Юганова 1997]) и мн. др. Во всех подобных случаях слово с данным значением является социальным маркером определенной профессиональной или социальной среды. Такого рода метафорические переосмысления, характерные для профессионального просторечия и для социальных жаргонов, достаточно подробно описаны в ряде работ отечественных русистов.

6.2. Меньше изучено принципиально иное явление, также имеющее отношение к проблеме социальной маркированности языковых единиц, – отражение в лексическом значении слова социальных отношений между участниками ситуации, обозначаемой этим словом. Это явление уже было объектом нашего внимания в предшествующих работах (см. [Крысин 1983; 1986; 1989]), поэтому здесь мы рассмотрим его лишь на нескольких наиболее характерных примерах.

В каждом языке имеется лексика, обозначающая различные отношения между людьми – межличностные и институциональные (то есть реализующиеся в некоей иерархической социальной структуре – семье, производственной группе, спортивной команде, воинском подразделении и т.п.), а также отношения между личностью и обществом. Лексические значения таких слов содержат в себе указания на характер подобных отношений, которые в самом грубом виде можно разделить на отношения подчинения (или зависимости) и отношения равенства.

Рассмотрим это явление на двух группах примеров – предикатах, обозначающих **асимметричные** отношения, или отношения подчинения (зависимости):

(1) *арестовать, аудиенция, благоволить, велеть, верховодить, взыскание, властвовать, власть, вменить, возглавить, воспретить, выговор, выселить, выслать, гневаться, головомойка, даровать, диктат, диктатура, жучить, закатать (под арест), зыкнуть, изгнать, инспектировать, кара, карать, кассация, кассировать, командировать, командовать, коноводить, консультировать, контролировать, конфисковать, мирволить, надзирать, надлежать, назначить, нахлобучка, нотация, обязать, окрик, опека, опекать, отозвать (посла), отстранить (от работы), подчинить, позволить, покровительство, покровительствовать, помилование, помиловать, разрешить, распекать, ревизовать, руководить, сместить, сослать, тиранить, экзаменовать* и под.; эти слова обозначают ситуации, в которых социальная роль первого участника (семантического субъекта, или агенса) "выше" социальной роли второго участника (адресата или контрагента); схематически: $P(X) > P(Y)$;

(2) *апеллировать, апелляция, вымолить, выплакать (себе прощение), выхлопотать, гневить, грубить, дерзить, докладывать* (в контекстах типа: *доложить по начальству*), *испросить, исхлопотать, консультироваться, молить, непочтение, ослушаться, отпроситься, повиновение, повиноваться, подпевала, подчиняться, прекословить, пререкаться, рапорт, рапортовать, резать (правду в глаза), слушаться, экзаменоваться* и под.; социальная роль первого участника ситуации "ниже" социальной роли второго; схематически: $P(X) < P(Y)$.

Значения слов, называющих асимметричные ролевые отношения, назовем социально ориентированными, в отличие от социально не ориентированных значений, присущих словам типа *дружить, напарник, однокурсник, сослуживец, сосед, сотрудничать* и под. Социально не ориентированные значения не содержат в себе никаких указаний на равенство социальных ролей, которые исполняют участники ситуаций, обозначаемых словами с такими значениями; поэтому дальше они не рассматриваются.

Семантическая структура слов, обозначающих социально ориентированные отношения, содержит не менее двух актантов – субъекта и адресата; кто *командует* кем, кто *высылает* кого, кто *апеллирует* к кому, кто *выслуживается* перед кем и т.д. Помимо актантов субъекта и адресата в значениях этих слов могут быть и другие смысловые компоненты – например, актанты содержания (*Командир приказал нам* ***наступать***), мотивировки (*Петю наказали* ***за неуспеваемость***), начальной точки (*Их выселили* ***из квартиры***), конечной точки (*Декабрист Лунин был выслан* ***на каторгу***) и др.

Некоторые из слов, обозначающих социально ориентированные отношения, указывают на определенные социальные функции лиц, между которыми эти отношения устанавливаются. Так, командир д о л ж е н *командовать*, солдат д о л ж е н *подчиняться*, невзрослый сын о б я з а н *слушаться* родителей и н е д о л ж е н их *ослушиваться* и т.д. Компонент лексических значений глаголов *командовать, подчиняться, слушаться, ослушиваться*, указывающий на неравенство статусов участников соответствующей ситуации, здесь вполне очевиден, как бы лежит на поверхности. В других случаях такой компонент может быть выявлен только путем семантического анализа.

Так, глагол *благоволить* означает не просто 'проявлять расположение к кому-н.' или 'испытывать, проявлять к кому-либо доброжелательство, расположение', как истолковано это слово в словаре под ред. Д.Н. Ушакова и в Малом академическом словаре. В этих толкованиях упущено существенное условие: статус того, кто выказывает благоволение, выше статуса того, кому благоволение адресовано. Если этим условием пренебречь, то, следуя приведенным толкованиям, мы должны допустить к употреблению, в частности, фразы типа: **Учитель математики благоволит к своим коллегам* (ситуация равных статусов субъекта и адресата) или **Ученик благоволит к директору школы* (ситуация, "обратная" нормальной: статус объекта благоволения ниже статуса адресата).

В ситуации, описываемой глаголом *гневаться*, субъект мыслится как лицо почитаемое, авторитетное, обладающее в данной социальной иерархии большой властью. Сравните:

> И увидев то, *царь* Иван Васильевич
> *Прогневался* гневом, топнул о землю
> И нахмурил брови черные...
>
> (М.Ю. Лермонтов).

Невозможно употребление глагола *гневаться* в ситуациях с равным и в особенности с "обратным" статусом субъекта и адресата: **Товарищи на меня гневаются*; **Лакей разгневался на барина за выговор, который тот ему устроил.*

Рассмотрение этих двух явно устаревших глаголов – *благоволить* и *гневаться*, – может навести на мысль, что социальный компонент лексического значения, указывающий на неравенство статусов субъекта и адресата действия (или отношения), характерен лишь для книжных и устаревших слов. Но это не так.

Например, вполне современный и даже разговорный по своей стилистической окраске глагол *распекать – распечь* нормально употребляется при обозначении отношений, в которых субъект обладает более высоким статусом, чем адресат. Можно

сказать: *Мать распекала сына за двойки*, но нельзя: **Сын-школьник распекал мать за то, что она поздно пришла с работы* или **Подчиненные распекали начальника за грубость.*

Глагол *принимать – принять* в одном из своих значений описывает ситуацию, в которой принимающее лицо обладает более высоким статусом, чем принимаемое:

Вчера президент Франции принял посла США и имел с ним продолжительную беседу; Сегодня мэр не принимает посетителей.

Некорректно употребление этого глагола, если условие об асимметрии социальных статусов нарушено:

**Посол Франции принял президента США*; **Директор завода не принял министра.*

Глаголы *грубить* и *дерзить*, близкие друг другу по смыслу, обозначают отношения, в которых субъект находится в более низком статусе, чем адресат. Правда, глагол *грубить* может предусматривать два типа статусных (или ролевых) отношений между участниками называемой им ситуации: чаще всего статус (роль) субъекта ниже статуса (роли) адресата, но возможно его употребление и в ситуации, когда их статусы (роли) равны. Сравните такие примеры:

Не груби отцу! (обращение к подростку);

Мальчик плохо учится, грубит учителям;

Мы с тобой друзья, а ты не хочешь говорить со мной нормально: все время злишься, грубишь.

Если отношения между участниками ситуации таковы, что статус (роль) субъекта выше статуса (роли) адресата, то употребить этот глагол нельзя: **Отец грубит сыну*; **Учитель грубит ученикам*. Заметим, что оборот *быть грубым*, который кажется полным синонимом глагола *грубить*, может употребляться при любых статусных (или ролевых) отношениях между субъектом и адресатом этого действия: *Мальчик груб с родителями и с товарищами; Учитель груб с учениками ⟨со своими коллегами, с директором⟩*.

Важным компонентом значения глагола *грубить* является то, что это – р е ч е в о е действие: грубость выражается в словах, в интонации, в сопровождающих речь жестах и т.п.

В отличие от этого, содержанием действия, обозначаемого глаголом *дерзить*, является не столько словесная грубость, сколько непочтительное отношение, которое может выражаться и невербально. Сравните такой пример: *Хотя молодой офицер говорил тихо и вежливо, все понимали, что он дерзит генералу.*

Глагол *дерзить* в большей степени, чем *грубить*, ориентирован на выражение асимметричных отношений между участниками обозначаемой им ситуации: дерзят обычно младшие по возрасту старшим (часто на это различие накладывается и разница в социальном статусе или в социальных ролях). Фразы типа: *Коля, почему ты дерзишь учительнице? Мальчик надерзил отцу и даже не извинился*, – нормальны, правильны, а фразы типа: **Учительница постоянно дерзила своим ученикам* (статус субъекта выше статуса адресата) или **Мальчик дерзит своим товарищам* (статусы субъекта и адресата равны) – воспринимаются как аномальные, неправильные.

На этих примерах мы убеждаемся, что при описании семантики (толковании) слов, обозначающих асимметричные отношения между людьми, необходимо включать в это описание социальный компонент, который указывает неравенство статусов (или асимметрию социальных ролей) участников называемой словом ситуации. Этот социальный компонент составляет п р е с у п п о з и ц и ю лексического значения предикатов, обозначающих асимметричные отношения между людьми: при употреблении таких предикатов с отрицанием *не* социальный компонент сохраняется (не подвергается отрицанию), в отличие от ассерции, с которой и взаимодействует отрицание. Например, в предложении: *Начальник вовсе и не благоволит к этой сотруднице* – не

отрицается тот факт, что статус начальника выше статуса сотрудницы, мы отрицаем лишь наличие особого отношения первого ко второй.

В заключение необходимо подчеркнуть, что исследование социальных различий в речи и, в частности, социальной маркированности языковых единиц важно не только само по себе (это делалось и раньше: см., например, работы В.М. Жирмунского, Д.С. Лихачева, В.Д. Бондалетова и др.), но и как свидетельство многообразия тех форм, в которых проявляет себя социальное на различных уровнях языковой структуры. Изучение этих форм, анализ природы и характера социальной обусловленности как самих языковых единиц, так и использования их в речи говорящими – одна из актуальных задач того направления, которое может быть названо исследованием русского языка под социальным углом зрения, или с о ц и о р у с и с т и к о й.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Андреев Н.Д., Замбржицкий В.Л. 1963 – Именное словообразование в спортивной терминологии // Развитие современного русского языка / Под ред. С.И. Ожегова. М.В. Панова. М., 1963.

Балдаев Д.С. и др. 1992 – *Балдаев Д.С., Белко В.К., Исупов И.М.* Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. М., 1992.

Винокур Г.О. 1939 – О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Труды МИФЛИ. Т. 5: Сб. статей по языкознанию. М., 1939.

Винокур Г.О. 1946 – Заметки по русскому словообразованию // Изв. ИАН ОЛЯ. Т. V. Вып. 4. М., 1946.

Воронцова В.Л. 1979 – Русское литературное ударение XVIII–XX вв. Формы словоизменения. М., 1979.

Ганиев Ж.В. 1971 – О произношении рабочих – уроженцев г. Москвы // Развитие фонетики современного русского языка. Фонологические подсистемы. М., 1971.

Гловинская М.Я. 1996 – Активные процессы в грамматике // Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / Отв. ред. Е.А. Земская. М., 1996.

Григорьева Т.М. 1980 – О социолингвистической обусловленности произносительной нормы в условиях диалектного окружения (На материале ассимилятивного смягчения согласных в современном русском литературном языке). Автореф. канд. дис. ... М., 1980.

Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. 1999 – Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999.

Еськова Н.А. 1994 – Краткий словарь трудностей русского языка. Грамматические формы. Ударение. М., 1994.

Золотова Г.А. 1966 – К развитию предложно-падежных конструкций (сочетания с существительными в творительном падеже с предлогом *с*) // Развитие синтаксиса современного русского языка. М., 1966.

Золотова Г.А. 1974 – О характере нормы в синтаксисе // Синтаксис и норма / Отв. ред. Г.А. Золотова. М., 1974.

Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. 1998 – Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.

Иомдин Л.Л. 1991 – Словарная статья предлога *ПО* // Семиотика и информатика. Вып. 32. М., 1991.

Касаткин Л.Л. 1971 – Новая ступень в развитии системы гласных русского языка // Развитие фонетики современного русского языка. Фонологические подсистемы. М., 1971.

Костомаров В.Г., Леонтьев А.А. – Некоторые актуальные проблемы культуры речи // ВЯ. 1966. № 5.

Краснова И.Е., Марченко А.Н. 1981 – О некоторых проблемах профессиональной речи в социолингвистическом освещении // Теоретические проблемы социальной лингвистики. М., 1981.

Крысин Л.П. 1983 – Социальный компонент в значении языковых единиц // Wiener slawistischer Almanach. Bd. 6. Wien, 1983.

Крысин Л.П. 1986 – Социальные ограничения в семантике и сочетаемости языковых единиц // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986.

Крысин Л.П. 1989 – Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 1989.

Орфоэпический словарь 1989 – Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. М., 1989. Изд. 5-е.

Панов М.В. 1967 – Русская фонетика. М., 1967.

Рожанский Ф.И. 1992 – Сленг хиппи. Материалы к словарю. СПб.; Париж, 1992.

РЯДМО 1974 – Русский язык по данным массового обследования / Под ред. Л.П. Крысина. М., 1974.

РЯиСО 1968 – Русский язык и советское общество. Кн. 1–4 / Под ред. М.В. Панова. М., 1968.

Сергеич П. 1960 – Искусство речи на суде. М., 1960.

Социально-лингвистические исследования 1976 / Под ред. Л.П. Крысина и Д.Н. Шмелева. М., 1976.

Ушаков Д.Н. 1928 – Русская орфоэпия и ее задачи // Русская речь. Вып. III. Л., 1928.

Чуковская Л. 1996 – Куоккала – Переделкино // Русское подвижничество. Сб. в честь 90-летия академика Д.С. Лихачева. М., 1996.

Шведова Н.Ю. 1966 – Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., 1966.

Юганов И., Юганова Ф. 1997 – Словарь русского сленга. М., 1997.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2000

© 2000 г. Р.З. МУРЯСОВ

НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА В КОНТРАСТИВНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ВИДЕНИИ

Посвящается светлой памяти моего учителя профессора Евгении Иосифовны Шенделъс.

Несмотря на то, что в цепи частей речи глагол и имя образуют полярные точки, т.е. характеризуются максимальной удаленностью друг от друга в плане морфолого-парадигматическом, как это ни парадоксально, они одновременно характеризуются максимальной взаимопроницаемостью, т.е. безграничными возможностями взаимопереходов, и тем самым, взаимообогащения. Особенно продуктивна в этом отношении номинализация. Исследование, например, словообразовательного аспекта их показало, что класс существительных в основном пополняется за счет отглагольных образований и, наоборот, в качестве основного поставщика в класс глаголов выступают десубстантивные образования, что позволяет сформулировать закономерность, заключающуюся в том, что чем полярнее части речи, тем большим взаимопроникновением они характеризуются в деривационном плане.

Взаимопроникновение двух главных частей речи языка – существительного и глагола, – находит свое яркое выражение в явлении, называемом в лингвистической литературе конверсией по отношению к одним языкам или субстантивацией, адъективацией или вербализацией в других языках. Так, явление субстантивации по своему диапазону охвата лексического материала, например, в немецком языке носит абсолютный характер, т.е. не знает исключений. Даже глаголы, которые характеризуются грамматической "дефектностью", т.е. неполнотой своих грамматических парадигм и оппозитивных потенций, способны субстантивироваться, ср. *das Kommen, Gehen, Laufen, Sprechen, Wollen, Nichtwollen* и т.д. Высока в этом отношении также продуктивность модели субстантивации причастий и прилагательных, ср. *der Kommende, die Kommende, das Kommende, der / die / das Alte* и др.

И, наконец, сам факт существования форм глагола, в самом названии которых содержится одновременно указание на две части речи – как на имя, так и на глагол, подчеркивает и двоякую ориентированность, и, тем самым, противоречивую сущность. В грамматиках индоевропейских языков инфинитив и причастие (деепричастие) объединяются нередко под общим названием “именные формы глагола”. Форма называется формой глагола, но его **именной** формой, и тем самым, подчеркивается ее двойственный, промежуточный характер между именем и глаголом.

В рамках данной статьи рассматриваются именные формы глагола в контрастивном плане лишь в первом приближении, фрагментарно и с минимальным охватом языков – русского, английского, немецкого, французского, отчасти латинского и татарского, хотя обсуждаемая проблема может претендовать по своей значимости на статус одной из важнейших категорий языка в рамках типологического языкознания и лингвистики универсалий.

При исследовании неличных форм глагола мы исходим из положений В.Г. Гака о том, что во-первых, “объектом сопоставительного анализа могут быть единицы лю-

бого уровня языка: фонемы, слова, грамматические явления вплоть до текста" [Гак 1989: 10] и, во-вторых, "равным образом после контрастивного анализа отдельных категорий и даже широких участков языковой структуры, полезно провести сопоставительный анализ функциональных категорий контрастивности, таких как использование маркированных / немаркированных форм, использования идентичных или вариантных форм, использование форм в первичных и вторичных функциях, несовпадение ядерных и периферийных явлений, функциональные лакуны и т.п." [Гак 1989: 110; 1989: 15–16].

Двойственный характер именных форм глагола требует вычленения соответственно их именных и глагольных признаков. В качестве глагольных признаков инфинитива в индоевропейских языках выделяются относительное временное значение, залог, валентность и некоторые признаки аспектуальности.

В тюркских языках инфинитив характеризуется следующими грамматическими признаками глагола: 1) залог, 2) аспектуальность (глагол может иметь форманты многократности), 3) противопоставленность по признаку "утверждение-отрицание", выражаемых с помощью грамматических аффиксов, интегрированных в морфологическую структуру глагола: татарск. *эшләргә* "делать" – татарск. *эшләмәскә* "не делать", татарск. *эшләргә* "делать" – татарск. *эшләнергә* "сделаться" – татарск. *эшләтергә* "заставить делать" и т.д.

Обращает на себя внимание то, что при характеристике инфинитива исследователи не выделяют какие-либо именные свойства, т.е. не указывают на те грамматические категории инфинитива, какими обладает имя существительное (склонение, род, число, определенности / неопределенности). Сам принцип выделения именных признаков базируется на совершенно иных основаниях, чем выделение глагольных признаков, а именно, к именным признакам инфинитива относятся совсем не признаки имени существительного, а те же самые глагольные признаки инфинитива со знаком минус, т.е. те грамматические категории глагола, которые отсутствуют в инфинитиве, рассматриваются как именные признаки. К ним относятся: 1) отсутствие абсолютного временного значения, 2) отсутствие категории лица, 3) отсутствие категории числа и 4) отсутствие категории наклонения. Таким образом, родство инфинитива с глаголом доказывается на уровне морфологических категорий, а родство с существительным – на синтаксическом уровне. Логическая несостоятельность подобного рода определения именных признаков инфинитива очевидна. Так, в немецком языке способность инфинитивной формы любого глагола к субстантивации считается как ее близость к существительному. Но субстантивация – это словообразовательный акт, и инфинитив переходит в класс существительных не потому, что обладает признаками существительного, а потому, что **приобретает их после субстантивации**. На этом основании можно считать, что неличные формы глагола не обладают грамматическими категориальными признаками именных частей речи, а приобретают их при синтаксическом функционировании в предложении и отсюда такие терминологические сочетания, как атрибутивные или предикативные формы глагола (причастие и деепричастие) [РГ 1980]. Что касается инфинитива, то в русской и тюркологической научной традиции используются термины "инфинитив" [ТГ 1997] и / или "неспрягаемые формы глагола" [ГСБЛЯ 1981], что соответствует латинской терминологической дихотомии финитного – нефинитного.

Неличные формы глагола в разных, особенно в генетическом плане неродственных языках представляют интерес, во-первых, в количественном отношении, во-вторых, в большей или меньшей степени проявления в них глагольных или именных признаков, в-третьих, какой языковой техникой они выражаются и, наконец, в-четвертых, с точки зрения их функционально-семантической нагрузки в предложении.

Не бесспорным является количество и номенклатура неличных форм глагола даже в рамках одного или близкородственных языков. В связи с этим достаточно сослаться на различные точки зрения относительно *ing*-форм в английском языке, *-ant*-форм во французском или форм инфинитива в немецком. Так, в последнем у одних авторов

представлены четыре формы инфинитива (инфинитив 1 и 2 в активе и пассиве: *stellen – gestellt haben / gestellt werden – gestellt worden sein*) [Schendels 1982; Duden 1994; Helbig, Buscha 1996].

В тюркских языках, как показал, например, анализ татарского и башкирского языков, представлено 10 (resp. 11) неличных форм глагола, при этом не учитываются многочисленные залоговые формы, а также их противопоставления по признаку "утверждение / отрицание" [ТГ 1997; ГСБЛЯ 1981].

Если учесть всевозможные формы в парадигме инфинитива и причастия, участвующие в различных грамматических оппозициях, то мы имеем следующую количественную картину: в русском языке: инф. – 1, прич. – 4; дееприч. форм – 2; в английском языке: инф. – 6, прич. 5; в немецком языке: инф. – 6, прич. – 2; во французском языке: инф. – 3, прич. – 4; в татарском языке: инф. – 5, прич. – 52.

Большое количество неличных форм в татарском языке обусловлено факторами лексического порядка, а именно, говоря о специфике залоговой системы татарского языка следует особо подчеркнуть, что залогообразование тесно переплетается со словообразованием, что позволяет образование залоговых форм не только от переходных глаголов, как это имеет место в и.-е. языках, но и от глаголов непереходных, включая даже глаголы движения, ср.: *йөгер* "бежать", *йөгерт* "заставить бежать" и др. Однако оппозиция "актив-пассив" в татарском, как и в и.-е. языках, возможна только от переходных глаголов. Авторы коллективного труда "Татарская грамматика" отмечают, что форма страдательного залога наблюдается приблизительно лишь у одной пятой части глаголов (например, *бизәү – бизәлү*), возвратного и взаимно-совместного залогов (*бизәнү* "украшаться, наряжаться" и *бизәшү* "помочь украшать, наряжать"), у одной трети лишь формы понудительного залога имеют широкое распространение и их можно образовать почти от любого глагола (*бизәтү* "заставлять, просить, дать возможность кому-либо украшать, наряжать"). Авторы далее пишут: "Наличием всех залоговых форм характеризуется лишь незначительная часть (около ста татарских глаголов)" [ТГ 1997: 162].

Инфинитив. С точки зрения языковой техники репрезентации в и.-е. языках инфинитив имеет как синтетические, так и аналитические формы. Инфинитив 1 как исходная форма всех глаголов во всех шести языках выражается только синтетическим способом. Наличие так называемых лексических аналитизмов в разных языках не противоречит данному положению. Инфинитив имеет одну активную и несколько неактивных залоговых форм: русск. *писать*, англ. *(to) write*, нем. *schreiben*, франц. *écrire*, лат. *scribĕre*, татарск. *язырга*. В татарском языке представлены только синтетические формы инфинитива. Инфинитив 1 пассив в английском и французском образуются с помощью вспомогательного глагола "быть" (англ. *to be*, франц. *être*) и перфектного причастия (англ. *to be asked*, франц. *être demandé*), а немецкий язык имеет грамматическую аналитическую форму "*werden* + Partizip II (перфектное причастие)": *gefragt werden*. В латинском языке презентный инфинитив в активе и пассиве, а также перфектный инфинитив в активе имеют синтетическую форму (*rogare*, *rogari*, *rogavisse*), а перфектный инфинитив пассив – аналитическую форму (*rogatus / -a esse*). В отличие от всех других и.-е. языков в этом ряду в системе латинского глагола имеется также аналитический футуральный инфинитив в активе и пассиве (*rogaturus / -a esse*, *rogatum iri*).

Морфологической спецификой аналитических форм инфинитива в и.-е. языках является то, что в их образовании участвует другая неличная форма глагола – перфектный партицип.

Что касается герундия в сопоставляемых языках, то ему не свойственна морфологическая гомогенность: активная форма образуется синтетическим образом: лат. *rogare – rogandi*, англ. *(to) ask – asking*. Однако во французском языке *gérondif* употребляется в сочетании с частицей *en*: *en démandant*. Пассивная форма герундия в

английском и французском языках образуется при участии вспомогательного глагола в герундиальной форме и перфектного причастия основного глагола: (англ. *being asked*, франц. *en étant demandé*). В латинском языке в данном случае употребляется герундий: *Puto, Carthago* ***delendam esse*** "Полагаю, что Карфаген должен быть разрушен". Кроме того, в англ. языке представлена перфектная форма герундия в активе и пассиве: *having asked* и *having been asked.*

Функциональный аспект инфинитива. В сочетании с финитным предикатом инф. 1 выражает будущее по отношению к времени первого или одновременность на любой временной ступени. Данное свойство инфинитива 1 является универсальным для всего ряда анализируемых языков, ср. русск. *Он хочет, хотел, захочет* + инф. 1, англ. *He wants, wanted* + инф. 1, нем. *Er will, wollte* + инф. 1.

Строго говоря, в таксисно-темпоральной оппозиции "инфинитив 1 – инфинитив 2" инфинитив 1 представляет собой слабый, нейтральный член, а инфинитив 2 – сильный, маркированный. В английском, немецком, французском и латинском языках инфинитив 2 характеризуется формальной и семантической маркированностью, однозначно выражая таксис предшествования, ср.:

англ.	*We are very glad* *We were very glad*	*to have seen him.*
нем.	*Wir können* *Wir konnten*	*das Buch nicht besprechen, ohne es durchgelesen zu haben.*
франц.	*Nous ne pouvons pas discuter ce livre* *Nous n'avons pas pu discuter ce livre*	*sans* ***l'avoir lu***.

Данную функцию инфинитива выполняет в русском и татарском языках деепричастие прошедшего времени и resp. причастие прошедшего времени: русск. *Мы не можем / не сможем / не смогли обсудить эту книгу, не прочитав ее.*;

татарск.	*Без бу китапны укып чыкмагач,*	*аның турында сүз алып бара алмыйбыз* *аның турында сүз алып бара алмадык* *аның турында сүз алып бара алмаячакбыз.*

Причастные (деепричастные) формы. Более сложную картину имеют причастные формы глагола. Причастие обладает глагольными и адъективными признаками. По мнению германистов и тюркологов, в причастии доминируют глагольные свойства и поэтому они рассматриваются как формы глагола.

В Русской грамматике [РГ 1980] причастие и деепричастие определяются как атрибутивные формы глагола. Даже в рамках индоевропейских языков система причастных (деепричастных и герундиальных) форм существуют значительные расхождения как в формально-структурном, так и в функциональном планах. Расхождения имеют место в их количестве и составе. Из 10 форм сводного списка, выявленных в результате анализа причастных форм 6 языков (презентные причастия в активе и пассиве, футуральные причастия в активе и пассиве, причастие прошедшего времени, перфектные причастия в активе и пассиве, деепричастие в настоящем и прошедшем времени) все 10 форм не представлены ни в одном из этих языков и во всех языках представлено только по одной форме презентного причастия (в активной форме) и причастия

прошедшего времени (в пассивной форме), в 4 языках имеется презентное причастие в пассиве (в английском, французском, русском и 2 формы в татарском языке), русском (*спрашивавший / спросивший*) и в татарском (*сораган*). Глагольные системы этих языков обладают также деепричастными формами и их эквивалентами (герундиальными формами): герундий в английском языке в четырех формах (*asking, being asked, having asked, having been asked*), gérondif во французском (*en demandant, en lisant*), деепричастие в настоящем и прошедшем времени в русском (*спрашивая, спросив*) и пять форм деепричастия в татарском языке (*сорап, сорый, сорагач, сораганчы; барышлый*).

Футуральное причастие в активном и пассивном вариантах представлено в латинском [participium futuri activi: *rogaturus / -a*, participium futuri passivi (gerundivum): *rogandus / -a / -um*] и в виде трех моделей в татарском языке (активные формы: ***языр хат, язачак хат*** "письмо, которое предстоит написать", әйтәсе сүз "слово, которое надо (будет) сказать; пассивные формы: ***языльір хат, языльічак хат*** "письмо, которое будет написано; письмо, которому надлежит быть написанным").

Поскольку в отличие от других и.-е. языков, в латинском языке глагол имеет не только причастие настоящего и причастие прошедшего времени, а и футуральное причастие, можно говорить о причастиях I, II, и III [Glinz 1994: 177].

Перфектное причастие свойственно только английскому языку (*having asked, having been asked*).

Функциональный аспект причастий (деепричастий, герундия). Описание функционального аспекта причастных форм невозможно без выявления его глагольных и неглагольных признаков. В качестве глагольных признаков причастий выделяются следующие семантические признаки уровня грамматической категориальности: время, залог, аспектуальность, таксис.

Время. Семантические признаки "время", "аспектуальность", "залог" и "таксис" образуют нередко неразрывный семантический комплекс. При темпоральной характеристике причастий следует дифференцированно рассматривать их атрибутивное, предикативное и независимое употребление. В зависимости от этого в вышеназванном комплексе на передний план может выступить тот или иной семантический признак. Кроме того, не во всех языках одноименные формы или формы, рассматриваемые как межъязыковые эквиваленты, тождественны в функциональном отношении. В лингвистической литературе единодушно указывается на наличие у причастных форм категории времени, а именно, относительного временного значения. В причастных и деепричастных формах разных языков выявляются три типа относительного временного значения, т.е. три вида таксиса – предшествование, одновременность и следование.

Таксис. При анализе функционального аспекта неличных форм глагола речь может идти только о зависимом таксисе. Зависимый таксис понимается как "временное отношение между действиями, из которых одно является основным, а второе – второстепенным (сопутствующим)" [Бондарко 1987: 239]. Зависимый таксис выступает в основном в трех своих разновидностях: предшествование, одновременность, следование. Эти три таксиса могут быть осложнены причинно-следственными, уступительными, целевыми отношениями темпоральной обусловленности и т.д. В отличие от русского языка, обладающего центральным компонентом ФСП таксиса в целом, т.е. универсальными средствами выражения одновременности и разновременности, составляющих его семантическую доминанту на любой временной ступени, в немецком языке нет такой глагольной формы СВ и НСВ. Языковая выраженность зависимого и независимого таксисов в немецком языке асимметрична: относительно богатый набор временных форм для выражения таксиса предшествования в системе индикатива и всех видов таксисных значений в определенных типах сложноподчиненных предложений в системе конъюнктива, и отсутствие более или менее регулярных глагольных форм выражения зависимого таксиса. Использование конструкций с перфектным причастием (причастием II) для выражения предшествования и презентного причастия

(причастия I) для выражения одновременности носит ограниченный характер, например:

In dem leeren Lokal ***angekommen****, machte sich Sumvit über die letzte Seite des Morgenblattes* [NBI, 1989, 2, 40]; *Vom Lesen in allen Lebenslagen:* ***sitzend, stehend, gehend, liegend****...* [Süddeutsch Zeitung, 1989, 42, 31]; *Helene Vollmer nickte* ***grüßend****, blickte freundlich* ***lächelnd*** *die arbeitenden Hausbewohner an* [NBI, 1989, II, 40].

Таксис предшествования. Все анализируемые в рамках данной статьи языки имеют причастные (деепричастные) формы для выражения таксиса предшествования, т.е. для выражения времени действия, предшествующего времени действия главного (финитного) предиката. Основными средствами образования оппозиции "одновременность – предшествование" являются презентное причастие и причастие прошедшего времени (а в английском также перфектные причастия). Замечание В.Г. Гака о том, что традиционные термины презентное и перфектное причастия не отражают основных противопоставлений между этими формами и они могут быть заменены терминологической парой причастие I и причастие II [Гак 1986: 263], представляется нам справедливым по отношению к английскому, французскому, немецкому и латинскому языкам, так как так называемое причастие прошедшего времени не всегда обозначает действие в прошлом. Темпоральный признак причастия II зависит от субграмматических семантических признаков переходности / непереходности и предельности / непредельности. В английском, немецком и французском языках прич. I и прич. II образуют 3 вида грамматических оппозиций: 1) таксисно-темпоральную "одновременность – предшествование" у предельных непереходных глаголов (англ. *arriving – arrived*, нем. *ankommend – angekommen*, франц. *arrivant – arrivé*); 2) таксисно-залоговую оппозицию "одновременность и активность – предшествование и пассивность" у предельных переходных глаголов (англ. *reading – read*, нем. *lesend – gelesen*, франц. *lisant – lu*); 3) залоговую оппозицию с таксисным значением одновременности (англ. *loving – loved*, нем. *liebend – geliebt*, франц. *aimant – aimé*, лат. *amans – amatus / -a / -um*).

В русском языке наблюдается несколько иное сочетание грамматических признаков времени и залога. Залоговую оппозицию образуют как причастие настоящего времени, так и причастие прошедшего времени: читающий – читаемый, прочитавший – прочитанный.

Прич. II непереходных непредельных глаголов обычно не употребляется в атрибутивной функции, а встречается только как компонент аналитических форм глагола. Однако иногда встречаются также формы страдательного залога от непереходных глаголов, управляющих косвенным падежом с объектным значением: ср. русск. *командовать армией – командуемая им армия* [РГ 1980: 668], нем *Ihm wurde gut geholfen*. Подобное употребление пассива нередкое явление в английском языке: *The bed* ***was not slept in****. The doctor* ***was sent for****. He* ***is spoken*** *much* ***about*** и др. Нечто подобное встречается и в татарском языке: *Аңа хөкүмәт тарафынан күп* ***ярдәм ителде****.*

Что касается татарского языка, то причастия образуют трехчленную темпоральную оппозицию в активной и пассивной формах: *хат* ***язучы*** *кеше – хат* ***язган*** *кеше – хат* ***язачак*** *кеше* "пишущий письмо – написавший письмо – человек, которому предстоит написать письмо", *язылып* ***яткан*** *хат – язылган хат –* ***язылачак*** *хат* "пишущееся письмо – написанное письмо – письмо, которое будет написано". Временное значение футурального причастия носит абсолютный характер и его темпоральное значение не может варьировать в зависимости от времени главного предиката. Если конструкцию *язылган хат* "написанное письмо" можно употреблять в сочетании с главным предикатом в настоящем, будущем и прошедшем времени (*язылган хатны бүген жибәрәм / иртәгә жибәрермен / кичә жибәрдем* "написанное письмо отправляю сегодня / отправлю завтра / отправил вчера"), между тем, как предложение **Язылачак хатны кичә жибәрдем* "*письмо, которое будет написано, отправил вчера"

аграмматично. Предшествование в тюркских языках выражается рядом моделей с грамматическими аффиксами *-ган / -гән* (и их алломорфами) и деепричастиями на *-ып / -еп, -гач / гәч*, например: *Сезнең янга бөтөн эшемне бетереп килермен / киләм / килдем* "Приду / иду / пришел / к вам, закончив все свои дела"; *Өйгә кайткач барысында белдең / белерсең* "вернувшись домой, узнал / узнаешь все".

Наиболее универсальной неличной формой глагола в латинском языке, служащей для выражения таксиса предшествования, является participium perfecti passivi, который на русский язык переводится деепричастием прошедшего времени или причастием прошедшего времени страдательного залога [РГ 1980: 325]:

Video / vidi / videbo epistulam, a fratre ***scriptam*** "вижу / видел / увижу письмо, написанное братом".

В атрибутивном употреблении причастие II предельных глаголов во всех сравниваемых языках характеризуется семантическим признаком перфективности: русск. ***взошедшее*** *солнце*, англ. *the* ***broken*** *glass, virgin soil* ***upturned*** "поднятая целина", нем. *die* ***aufgegangene*** *Sonne*, франц. *terres défrichées* "поднятая целина", *soleil* ***lévé***, татарск. ***чыккан*** *кояш,* ***күтәрелгән*** *чирәм* и др. Причастие II дуративных глаголов в атрибутивном употреблении входит в противоречие со своим названием "перфектное причастие", или "причастие прошедшего времени", так как оно противопоставляется причастию I не по темпоральному признаку, а по признаку залоговости, ср. англ. *loving – loved*, нем. *liebend – geliebt*, франц. *aimant – aimé*, лат. *amans – amatus*, татарск. *яратучы – яраткан – яратылган*. В русском языке в отличие от германских, романских, тюркских языков причастие настоящего времени образует оппозицию "актив-пассив" (*любящий – любимый*). Ср. далее: *Недаром у меня, тринадцатилетней девочки, было чувство, что живу десятую жизнь, не считая* ***знаемых*** *мною – отца, матери* (М. Цветаева). Нем. *Nicht von ungefähr hatte ich, als dreizehnjähriges Mädchen, das Gefühl, daß ich das zehnte Leben lebe, ohne die* ***gekannten*** *zu rechnen – die von Vater, Mutter...*"

Для выражения таксиса предшествования русский язык располагает универсальной грамматической формой – деепричастием прошедшего времени. Хотя форма и называется деепричастием прошедшего времени, она не является таковой. Она выражает предшествование по отношению к действию любой временной ступени: *Прочитав книгу, мы сможем / можем / могли / смогли обсудить ее.* Таким образом, данную форму можно было бы назвать деепричастием со значением предшествования. Существуют некоторые таксисно-темпоральные различия в деепричастиях совершенного и несовершенного вида. Деепричастие глаголов несовершенного вида обозначает одновременность независимо от временной формы предиката: *Он говорит / скажет / говорил / сказал, улыбаясь...* Деепричастие же глаголов совершенного вида неоднозначно в выражении таксисно-темпоральных значений. Его наиболее распространенной функцией можно считать функцию выражения предшествования. Одновременно [РГ 1980] указывает еще на два дополнительных значения данной формы – одновременности состояния как результата предшествующего действия (*сидит / сидел / будет сидеть,* ***нахмурившись***) и следования (***расстегнул*** *сюртук,* ***открыв*** *рубаху навыпуск*) [РГ 1980: 672].

Причастие II, перфектные формы причастия и герундия интранзитивных терминативных глаголов всегда однозначно выражает таксис предшествования:

англ.: ***Having read*** *the book, we can / could / will be able to discuss it* (Perfect Participle). *I remember* ***having seen*** *him before* (Perfect Gerund);

франц.: ***Ayant sorti*** *de la maison j'ai rencontré mon ami* (participe passé).

Таксис одновременности. Данное значение относительного времени характеризуется богатым набором причастных (деепричастных, герундиальных) форм. Русский язык

выделяется в данном ряду языков дифференцированным выражением одновременности в настоящем (будущем) и прошедшем. Для выражения одновременности сопровождающего действия с главным действием в русском языке употребляется причастие настоящего времени, а для выражения этого же временного соотношения в прошлом используется причастие прошедшего времени: *ты видишь* (*увидишь женщину, сидящую у окна. Ты видел женщину, сидевшую у окна*). Русский язык располагает также формальными средствами для разграничения атрибутивного признака от адвербиального.

В отличие от русского употребление презентного причастия для выражения одновременности на любой временной плоскости в английском, французском, немецком и латинском языках носит универсальный характер, ср.:

англ.	*You see*	
	You will see	*the woman* ***sitting*** *there*
	You saw	
нем.	*Du siehst*	
	Du wirst sehen	*die am Fenster* ***sitzende*** *Frau*
	Du sahst	
франц.	*Il parle*	*à l'homme* ***lisant*** *ce livre*
	Il a parlé	
лат.	*Video*	
	Vidi	*discipulum librum* ***legentem***
	Videbo	

Подобный темпорально-таксисный универсализм наблюдается и в татарском языке: *Тәрәзә янында* ***утырган*** *ханымны күрәсең / күрдең / күрерсең.*

В английском языке одновременность помимо Present Participle может быть выражена также герундиальной формой, а именно Gerund Indefinite: *I am surprised at hearing this.* К подобного рода средству прибегает и французский язык, который кроме формы participe present, располагает также формой gérondif, основная функция которой заключается в выражении второстепенного действия, одновременного с главным, и соответствует русскому деепричастию настоящего времени: ***En sortant*** *de la maison j'ai rencontré mon ami* "Выходя / при выходе из дома, я встретил своего друга".

Таксис следования. Под таксисом следования понимается такое временное соотношение, при котором время второстепенного (сопровождающего) действия, выражаемого причастной формой, следует за действием, выражаемым главным предикатом. Категория следования, получившая в немецком языке название "относительное будущее" (relative Zukunft), находит свое грамматическое выражение в специальных формах конъюнктива (Futur I и Konditionalis I) в большинстве языков не имеет формального выражения в неличных формах глагола. Из рассматриваемых нами языков только в латинском и тюркских (например, башкирском и татарском) имеются неличные формы глагола в активе и пассиве для обозначения таксиса следования. Таковыми являются в латинском языке partcipium futuri activi и partcipium futuri passivi: *Ave, imperator,* ***morituri*** *te salutant* (*morituri* – которые должны будут умереть, которым предстоит умереть) (part. fut. act.). *Caesar pontem in Arare* ***faciendum*** *curat* "Цезарь приказывает устроить мост на Араре (чтобы был устроен / построен)" (gerundivum) [Соболевский 1998].

В татарском языке таксис следования находит свое выражение в одной деепричастной (на *-ганчы / -гәнче*) и трех причастных формах (на *-ар / -әр, -сы / -се, -ачак / -әчәк* в активе и пассиве):

Атаң ***кайтканчы*** *бөтөн эшеңне эшләп куй "До прихода* отца сделай все свои дела" (деепричастие).

Сөйләячәк сүзләренне алдан уйлап куй "Заранее обдумай все, о чем *будешь говорить*".

Үләсе күбәләк ут күзенә керер (пословица) "*Обреченный* (букв. который умрет) мотылек летит к огню [ТГ 1997] и др.

Во всех языках можно выделить первичное грамматическое значение причастных форм и вторичные (производные). Другими словами во всех языках имеются причастные (деепричастные) формы, однозначно выражающие одно из таксисных значений. К таковым можно отнести participium praesentis activi et passivi в латинском, причастие I в немецком, деепричастие настоящего времени в русском, деепричастие на *-ышлый / -ешли* в татарском языке для выражения одновременности, причастие II терминативных глаголов во всех языках, как правило, деепричастие прошедшего времени в русском языке и деепричастие на *-гач / -гәч* в татарском для выражения предшествования. Положение Ю.С. Степанова о том, что "отношения синонимии пронизывают все уровни: варианты вступают друг с другом в отношения более или менее полной синонимии, инварианты – всегда в отношения неполной синонимии – точнее синонимии по отдельным своим сторонам, признакам" [Степанов 1998: 65], релевантное для финитных форм глагола, полностью распространяется на инфинитные.

Другие причастные (деепричастные) формы неоднозначны в выражении темпорально-таксисных значений. Формы, для которых одновременность является основным значением, могут в некоторых случаях выражать таксис предшествования, ср., например, в англ. вместо Perfect Partictiple Active и Passive могут употребляться Present Participle Active и Passive:

Signing *the letter the director asked...*

Arriving *at his home he first of all rang up his mother.*

Подобно Present Participle форма Indefinite Gerund (Active и Passive) в сочетании с предлогами *after* и *on* (*upon*) употребляется вместо Perfect Gerund (Active и Passive) для выражения действия, предшествующего действию предиката: ***On arriving*** *at home first of all he rang up his mother.*

Употребление презентных форм причастия и герундия вместо перфектных наблюдается в тех случаях, когда финитный предикат обладает перфектно-ориентированной семантикой или неличная форма образована от предельного (терминативного) глагола:

Thank you for ***coming*** (≈ *that you have come*);

ср. аналогичное употребление gérondif во французском языке:

Il est mort en ***mangeant*** *des champignons vénéneux.*

Если в английском, немецком, французском и латинском языках некоторые причастные формы настоящего времени могут употребляться в функции причастия прошедшего времени, то в татарском языке прослеживается противоположная тенденция, т.е. прич. прошедшего времени на *-ган* и деепричастие на *-ып / -еп* весьма продуктивны также в выражении таксиса одновременности, что обычно свойственно причастиям настоящего времени. Как уже было отмечено выше, причастие II в английском, немецком и латинском языках также выражает одновременность. Однако такая особенность свойственна причастию II переходных непредельных (дуративных) глаголов, между тем, как в татарском языке прич. прошедшего времени на *-ган / -гән* с его алломорфами выражает одновременность от всех непредельных глаголов независимо от того, являются они непереходными или переходными. Не совсем корректной представляется темпоральная характеристика идентичной формы в [ГСБЛЯ 1981]. Так, авторы пишут: "Если сказуемое главного предложения выражено формами прошедшего времени, то причастие на *-ган / -гән*, как правило, обозначает действие, предшествующее основному" [ГСБЛЯ 1981: 315]. Однако нам представляется, что решающим для темпорального значения анализируемой формы является не время главного предиката, а субграмматический аспектуальный семантический признак "предельность / непредельность". Если причастие на *-ган* образовано от предельных глаголов, то н е з а -

висимо от временной формы главного предиката оно выражает таксис предшествования, ср. татарск. *Син сугыштан кайткан солдатларны күрәсең / күрдең / күргән идең / иртәгә күрерсең*; башк. *һин һуғыштан кайткан һалдаттарҙы күрәһең / күрҙең / күргәйнең / иртәгә күрерһең* (ты видишь / видел / увидишь вернувшихся с войны солдат). И, наоборот, то же самое причастие непредельного глагола независимо от временной формы предиката выражает одновременность между действиями:

Син биредә басып торган / йоклап яткан / китап укып утырган кешене күрәсең / күрдең / күргән идең / күрерсең. Ср. далее:

башк. *Туптар **шартлаған** самолеттар гөүләгән, пулялар **һыҙғырған** был төнгө дөнъяла югалып калмай, леп-леп кенә тупкән ике гашик йөрәк кабаттан бер булды* (М. Карим). "В ночном царстве, где *раздавались взрывы* снарядов, *гудение* самолетов, *свист* пуль, двое влюбленных с трепетно бьющимися сердцами снова слились воедино".

Деепричастие как особая форма глагола выделяется в русском и тюркских языках. В других языках функции деепричастия входят в функциональный потенциал причастных и герундиальных форм. Абсолютно продуктивной деепричастной формой в татарском языке является модель с грамматическим аффиксом *-ып / -еп*, которая может быть образована от любого глагола. Данный тип деепричастий является наиболее многозначным и не представляется возможным, какое из таксисных значений можно считать основным (первичным) и какое второстепенным (вторичным). Бесспорно одно, что эта форма обладает не темпоральным, а таксисным значением. Характер таксисного значения – одновременности или предшествования – не зависит от временной формы главного предиката, а зависит отчасти от характера их лексического значения, например, деепричастие глаголов со значением звукоподражания и глаголов, обозначающих жесты, мимику и кинесику, сопровождающие действие главного предиката, выражают одновременность, действие, сопровождающее действие главного предиката: ***елмаеп** каршы ала / алды / алыр "встретит* / встретил / встречает, *улыбаясь*". Другим фактором, определяющим таксис сопутствующего значения деепричастия на *-ып / -еп*, является их синтаксическая функция. Так, при их использовании в качестве обстоятельства способа или образа действия данная форма выражает таксис одновременности, а в конструкциях со значением следствия она выражает таксис предшествования. Функции "соподчиненного сказуемого простого предложения, а также сказуемого первой придаточной части сложно-подчиненных предложений" [ТГ 1997: 220] и в особенности при перечислении следующих друг за другом действий обычно употребляется деепричастие на *-ып / -еп*, например:

*Кичке аштан калган савыт-сабаны **жыеп, жыештырып** та, иртәнге өчен утын-суын **әзерләп** тә...* (М. Карим) "Он собрал оставшуюся после ужина посуду, убрал ее, приготовил к утру все необходимое...".

Помимо причастия, деепричастия, герундия и инфинитива во всех языках выделяется еще одна форма, которая в грамматиках получила название "отглагольное имя". Данная форма по определению представляет собой некий синтез свойств двух частей речи – глагола и имени. В разных языках функциональный объем этой отглагольной формы неодинаков. Так, в английском языке, в класс отглагольных имен включается форма на *-ing*, т.е. форма формально совпадающая с презентным причастием и герундием, но в отличие от них, употребляющаяся с артиклем, имеющая форму мн. числа и обладающая способностью определяться прилагательным. Отглагольное имя, в отличие от герундия, не имеет форм времени и залога. Особенность отглагольных имен состоит, однако, также в том, что в данный класс слов оказываются включенными не только формы, оканчивающиеся на *-ing*, а и существительные, образованные от глаголов различными способами словообразования, например, путем конверсии и суффиксации.

Также расширительно толкуется класс отглагольных имен во французском языке, в котором некоторыми авторами в систему неличных форм включаются имена действия, образованные самыми разными способами, например, прямой транспозицией (*arriver → l'arrivеé*), серии суффиксов (*-ment, -age, -eé, -ure, -ance, -ade, -erie, -asion, -is*), конверсией (*diner – le dîner*) и др. (см. более подробно об этом в работе В.Г. Гака [Гак 1986]).

Немецкий язык располагает универсальным средством номинализации инфинитивных форм глагола – субстантивацией. Явление субстантивации инфинитива носит абсолютный характер, т.е. не знает исключений. Субстантивация инфинитива даже грамматичнее в плане охвата лексики, чем обычные грамматические категории, функционирование которых наталкивается на определенное противодействие со стороны лексического материала. Например, не все глаголы могут иметь все формы лица и числа, только часть глаголов способна образовать грамматическую оппозицию "актив-пассив". Субстантивация идеально воспроизводит семантические особенности глагольной лексемы и между субстантивацией и инфинитивом существует полная семантическая симметрия. Субстантивированный инфинитив сохраняет даже аспектуальные семантические признаки глагола, например, *das Lachen – das Lächeln, das Streichen – das Streicheln* и т.д. Субстантивироваться могут инфинитивные формы как в активной, так и пассивной формах, ср.: *das Lieben – das Geliebtwerden.*

Герундий в латинском языке также рассматривается как отглагольное существительное, имеющее 4 падежа, т.е. все падежи кроме номинатива.

Особое место в тюркских языках занимает так называемое отглагольное имя. Известный тюрколог Н.К. Дмитриев [Дмитриев 1947] считал, что например, в башкирском языке существуют два инфинитива – инфинитив I и инфинитив II. *Формальным показателем инфинитива* I является аффикс *-рга / -ргә*, а формальным показателем инфинитива II является аффикс *-у* / -ү и его алломорфы. Интересно отметить, что в лексикографической практике башкирского и татарского языков авторы словарей в качестве эквивалента русскому инфинитиву дают именно форму на *-у* / -ү, т.е. форму, которую Н.К. Дмитриев назвал инфинитивом II. Специфика данной формы заключается в полном воспроизведении лексического значения глаголов в их финитном употреблении. Так называемый инфинитив II охватывает всю глагольную лексику без каких-либо исключений. В этом отношении инфинитив II, таким образом, по своему лексическому диапазону может конкурировать с любой грамматической категорией. В современных грамматических исследованиях по башкирскому и татарскому языкам данная форма квалифицируется не как инфинитив, а как отглагольное имя. Безусловно, данная форма как и другие неличные формы глагола в языках вообще характеризуется как глагольными, так и именными свойствами: они образуют залоговые формы (*эшлә – эшләтү – эшләнү – эшләшү*), могут образовать темпоральную оппозицию (*эшләү – эшләгән булу*), образуют положительную и отрицательную формы (*эшләү – эшләмәү*); к именным свойствам формы на *-у* относятся: категории падежа, категория числа. Отглагольное имя башкирского и татарского языков совмещает в себе почти все функциональные свойства английского герундия и отглагольного имени и очень близок по всем параметрам немецкому субстантивированному инфинитиву.

Признак асимметрии, присущий любому языковому явлению, становится многогранным и объемным при сопоставлении языков. Даже одноименные явления далеки от полного сходства в формально-структурном и функциональном планах. Так, герундий, выделяемый как одна из неличных форм глагола, обнаруживает определенное сходство и расхождение в латинском, английском и французском языках. В латинском языке герундий определяется как отглагольное существительное, имеющее 4 падежа [Соболевский 1998: 55]. В английском языке герундий образуется по тем же правилам, по которым образуются формы причастий. Несмотря на то, что герундий в английском

языке имеет больше свойств существительного, чем инфинитив, он рассматривается как неличная форма глагола, но не как отглагольное существительное. Во французском языке некоторые авторы в систему неличных форм глагола включают помимо инфинитива и герундия также отглагольное существительное. Однако между этими формами имеется существенное различие. Инфинитив, причастие и герундий во французском языке образуются от любого глагола.

В русском языке отглагольное имя не обнаруживает такой тесной связи с неличными формами глагола, как это имеет место в английском, немецком и·тюркских языках, так как оно находится в полном ведении словообразовательной (суффиксальной) системы. На основе проделанного анализа неличных форм в ряде языков можно сделать некоторые предварительные выводы.

1. Нет ни одного языка, в котором была бы только одна нефинитная форма.

2. Две нефинитные формы (инфинитив и причастие) присущи глагольной системе всех языков, причем причастия подразделяются на презентные и перфектные.

3. Во всех языках причастия образуют оппозиции на уровне семантических признаков грамматической категориальности "время" и "залог". В латинском и тюркских языках причастия образуют трехчленную оппозицию: презентное причастие (прич. I) – перфектное причастие – футуральное причастие. Немецкий языковед Х. Глинц считает возможным ввести в лингвистический обиход термин "причастие 3" для обозначения футурального причастия в латинском языке [Глинц 1994].

4. Во всех языках выделяются первичное и вторичные грамматические значения неличных форм глагола, что обусловливает их функциональное взаимопроникновение.

5. Футуральное причастие во временном отношении однозначно, т.е. оно всегда выражает относительное будущее.

6. Во всех языках кроме татарского, как причастие I, так и причастие II могут употребляться в атрибутивной и адвербиальной функциях. В татарском языке причастие употребляется только атрибутивно, а деепричастие, наоборот, только адвербиально. В атрибутивном употреблении причастия имеют собственно темпоральное, а именно абсолютное временное значение, а в адвербиальном употреблении – относительное временное, т.е. таксисное значение.

7. В залоговой оппозиции наблюдается определенная специализация функций между причастиями: презентные причастия всегда имеют активную форму, но не всегда пассивную, и, наоборот, причастие прошедшего времени всегда имеет пассивную форму, если оно образовано от переходных глаголов.

8. Своего рода уникалией является наличие в английском языке двух причастий прошедшего времени – Past Participle и Perfect Participle (в активе и пассиве).

9. Деепричастные формы в русском языке образуют темпоральную оппозицию, но не способны к образованию залоговой оппозиции. Между тем как в татарском языке 4 формы деепричастия из 5 образуют как темпорально-таксисную, так и залоговую оппозиции.

10. Темпорально-таксисные и залоговые значения нефинитных форм глагола нередко оказываются сопряженными с другими грамматическими значениями, например, такими как модальность, аспектуальность, условие, причинно-следственные, концессивные и т.п.

11. Не все таксисные значения представлены во всех сопоставляемых языках. Так, таксис следования находит свое формальное выражение только в латинском и тюркских языках (башкирском и татарском).

12. Неличные формы глагола, как в рамках одного, так и ряда языков различаются между собой по охвату лексического материала: инфинитивные формы имеют все глаголы. Причастие I может быть образовано почти от всех глаголов (в грамматиках указывается лишь на редкие исключения), герундий может быть образован не от всех глаголов (см. об этом, например, во французском языке [Гак 1987]).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бондарко А.В. 1987 – Таксис // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.

Гак В.Г. 1986 – Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. М., 1986.

Гак В.Г. 1987 – Сравнительная типология французского и русского языков. Л., 1987.

Гак В.Г. 1989 – О контрастивной лингвистике. Вступительная статья // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1989.

ГСБЛЯ 1981 – Грамматика современного башкирского литературного языка. М., 1981.

Дмитриев Н.К. 1947 – Грамматика башкирского языка. М.; Л., 1947.

РГ 1980 – Русская грамматика. Т. I. М., 1980.

Соболевский С.И. 1998 – Грамматика латинского языка. СПб., 1998.

Степанов Ю.С. 1998 – Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998.

ТГ 1997 – Татарская грамматика. Т. 2. Морфология. Казань, 1997.

Duden 1995 – Der Grosse Duden. Bd. 4. Grammatik. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 1995.

Glinz H. 1994 – Grammatiken im Vergleich. Tübingen, 1994.

Helbig G., Buscha J. 1996 – Deutsche Grammatik. Leipzig; Berlin; München; Wien; Zürich; New York, 1996.

Schendels E. 1982 – Deutsche Grammatik. Morphologie. Syntax. Text. M., 1982.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2000

© 2000 г. М.Я. БЛОХ

ДИКТЕМА В УРОВНЕВОЙ СТРУКТУРЕ ЯЗЫКА

Понятие уровня принадлежит к числу таких общелогических понятий, которые находят широчайшее применение в самых различных областях знания и практической деятельности. Говорят об уровне воды в водоеме, об уровне залегания горной породы, об уровне успеваемости учащихся, об уровне безопасности уличного движения, об уровне боевой готовности армии и т.д. и т.п. Все эти и подобные словоупотребления логически оправданы, пока и поскольку за ними стоит базовая семантика соотношения некоторых выделяемых явлений и величин по принципу "выше – ниже". Таким образом, в применении указанного понятия следует различать бóльшую и мéньшую терминологичность.

Особо важное место положение об уровнях заняло в современном языкознании, где наиболее последовательно оно применяется в приложении к "единицам языка" – языковым элементам, которые находятся друг с другом в **прозрачных иерархических** отношениях.

В действительности оба общих понятия, органично впитанные и преломленные лингвистикой, – "уровень" и "единица" – неотделимы друг от друга в этой области знания и на современном этапе ее развития едва ли определимы друг без друга при последовательном соблюдении отмеченной терминологической строгости.

Как известно, понятие единицы языка было введено в языкознание Ф. де Соссюром в связи с его концепцией языка как знаковой системы. "Единица языка", l'unité linguistique, была осмыслена в качестве особого знака, различающего "форму" и "значение", причем обе эти стороны единицы–знака были недвусмысленно представлены в качестве **чисто психических** сущностей. В связи с последним утверждением нельзя не вспомнить "уничтожающую" критику Соссюровской концепции единицы-знака в советском языкознании, предавшей эту концепцию анафеме как безнадежно идеалистическую [Смирницкий 1954: 10 и сл.]. Такая критика обусловливала признание "реального" существования языка лишь в составе произнесенной или записанной речи [Миллер 1988: 17]. Между тем, если отдать себе непредвзятый отчет в том, что язык как словесная система выражения мыслей и их обмена в процессе общения является именно **средством** построения речи, а отнюдь не **самой речью**, то "переселение" языка из внешнего мира во внутренний, т.е. в мозг человека, станет единственно разумным представлением статуса языка в кардинальной дихотомии "язык – речь". Язык в узколингвистическом смысле слова заключен в нашем мозгу; вне мозга, вне головы человека языка нет и быть не может: вне мозга существует **лишь речь** (т.е. внешняя речь), построенная репрезентантами языковых единиц.

Известно, что Ф. де Соссюр, введя понятие единицы языка как знаковой сущности, в качестве иллюстрации этого понятия на фактическом материале привел слово.

Существенное развитие указанное понятие получило в системах Л. Ельмслева [Hjelmslev 1968: 63] и особенно проф. А.И. Смирницкого, показавшего, что языковая единица-знак, отвечая требованию двусторонности своей природы (материальная форма плюс смысловое содержание,т.е. значение, семантика), воплощается не только в словах, но также и в морфемах, в словосочетаниях, в различных конструкционных моделях, в рисунках интонации, в ударениях, в конфигурациях порядка слов, даже в

паузах ("отрицательная" материальная форма плюс значение знакового раздела между элементами текста – словами, словосочетаниями, предложениями) [Смирницкий 1956; 1957]. Данный перечень естественно разделяется, как показали еще лингвисты-дескриптивисты, на единицы-**сегменты** (единицы, непосредственно построенные фонемами) и единицы-**сверхсегменты** (не-фонематические единицы, реализующиеся лишь как соответствующие модификации сегментно-фонематических цепочек). Таким образом, в развитие положения Ф. де Соссюра о линейности речи, последняя, что касается ее материальной выраженности, была остроумно представлена проф. А.И. Смирницким не просто как линейная, а как "**двулинейная**", поскольку **сегментная линия** реальной речи непременно сопровождается линией **интонации** (материя языка, как скажут теперь, есть **единство фонематики и просодики**).

Относя к подлинным единицам языка лишь знаковые (двусторонние) повторяющиеся элементы, проф. А.И. Смирницкий с особой настоятельностью исключил из состава языковых единиц на нижнем уровне фонему, а на верхнем уровне предложение. Фонема исключалась из состава единиц языка на основе ее односторонности, то есть не-знаковой сущности; фонема объявлялась не "единицей языка", а "единицей **в строении** языка". Что касается предложения, то оно исключалось из состава единиц языка на основе конкретно-предикативной семантики: выражающее предикацию, устанавливаемую говорящим как "отношение высказывания к действительности", предложение объявлялось принадлежностью не языка, а речи. Предложение, по проф. А.И. Смирницкому, – "минимальное речевое произведение". Как не сопоставить эту мысль с положением Платона о том, что путем "примешивания глагола к имени" (предицирование имен!) мы получаем "первую и наименьшую речь" [АТЯС 1936].

Итак, А.И. Смирницкий существенно развил положение Ф. де Соссюра о единицах языка, однако их уровневого соотношения он специально не рассматривал. Между тем, сопоставляя сегменты языка друг с другом, мы не можем не увидеть их четко выраженного уровневого соотношения, состоящего в том, что из меньших сегментов путем их соединения друг с другом строятся бóльшие сегменты. Известно, что это простое соотношение особо отметили лингвисты-дескриптивисты, различившие в языке иерархическую структуру из двух изоморфно (точнее – гомоморфно) устроенных уровней – соответственно, уровня фонем и уровня морфем, к которым в дальнейшем был добавлен третий интегральный уровень с размытыми границами – уровень конструкций или "синтаксис" (объединения морфем разного статуса) [Trager 1972: 49].

Теперь мы естественно стоим перед вопросами: Включать ли **фонему** в представление уровневой структуры языка? Включать ли **предложение** в представление уровневой структуры языка? Разбивать ли представление аморфного "**уровня конструкций**" на более четко определяемые представления уровней слóва, словосочетания, предложения?

Как мы знаем, современное языкознание ответило на три приведенных вопроса положительно. В многочисленных лингвистических трудах утверждается распределение сегментов языка по пяти уровням: соответственно, уровням фонем, морфем, слов, словосочетаний (фраз), предложений. При этом указанные сегменты со всей однозначностью подразделяются на входящие в систему языка прямо и непосредственно (фонемы, морфемы, узуальные слова, устойчивые словосочетания, устойчивые высказывания) и входящие в систему языка своими моделями или конструкциями (свободные словосочетания, предложения). Отмеченная иерархия очень ясно представлена в следующей формулировке Ю.С. Степанова: "Ядро языковой системы образуют **предельные единицы языка** и связывающие их отношения. Под предельными единицами понимаются аллофоны, морфы, слова, словосочетания, предложения или, в абстрактном аспекте, фонемы, морфемы, слова, структурные схемы словосочетаний, структурные схемы предложений" [Степанов 1995: 16].

Что фонему следует ввести в состав единиц языка, видно из ее строевого статуса в естественном языке, являющемся органически звуковым. Что модель предложения

следует ввести в состав единиц языка, точно так же видно из ее соответствия коренному требованию к статусу языковой единицы как повторяющемуся речеобразовательному элементу.

Тем самым структура из пяти вышеназванных уровней оказывается как будто бы строго утвержденной в концептуальном смысле, и к ней остается добавить уровень сверхфразового единства или сложного синтаксического целого (т.е. "модели", или "структурной схемы" данного элемента выражения), открытого работами Н.С. Поспелова (говорившего о "сложном синтаксическом целом" [Поспелов 1948]) и Л.А. Булаховского (говорившего о "сверхфразном единстве" [Булаховский 1938]) и определяемого как "сложное структурное единство, состоящее более чем из одного самостоятельного предложения, обладающее смысловой целостностью в контексте связной речи и выступающее как часть завершенной коммуникации" [Гальперин 1981: 69]. Ср. с этим представление текста или "дискурса" в целом как непрерывного и связного речевого потока, **большего чем предложение** [Crystal 1992: 25].

Однако внимательный взгляд на вышеуказанное отображение уровневой структуры языка открывает в ней существенную незавершенность, выражаемую в наличии зияний в таких уровневых сферах, которые являются наиболее важными с точки зрения именно построения текста как непосредственного целевого продукта речевой деятельности говорящего/пишущего.

Отмеченные зияния становятся очевидными, как только мы учтем "реверсивную" (единообразно отражаемую на разных уровнях как бы в двух направлениях: прямом и обратном) закономерность, объединяющую первоначально выделенные уровни фонем и морфем в цельную структуру, описанную в дескриптивной лингвистике: единицы вышележащего уровня разлагаются на единицы непосредственно нижележащего уровня; или наоборот: единицы нижележащего уровня, соединяясь, строят единицы непосредственно вышележащего уровня; или еще яснее: **одна или несколько** единиц нижележащего уровня строят **одну и только одну** единицу непосредственно вышележащего уровня.

Итак, одна или несколько фонем строят одну морфему. Одна или несколько морфем строят одно слово. Одно или несколько слов строят одно... словосочетание? Но словосочетание по определению не может быть "одним словом". Это только и исключительно сочетание слов. А предложение – разве оно состоит непременно из словосочетаний? Как же быть с предложениями-однословами (вспомним традиционно-школьную формулу: предложение – это слово или группа слов, выражающая законченную мысль) [Щербаков 1982; Сухомлинова 1981]? И, переходя далее на следующий, верхний уровень установленной иерархии, мы встречаем **сверхфразовое единство** – единицу, состоящую из **двух или более** предложений, т.е. единицу, подобно только что отмеченным, нарушающую своим строением вышеназванный реверсивный закон; и здесь, следовательно, мы тоже стоим перед зиянием, разрушающим все здание построенной иерархии.

Как же нам поступить? Отменить реверсивный закон? Или признать, что выделение уровнеобразующих единиц проведено нестрого? Или отменить два "некондиционных" уровня языка – уровень словосочетания и уровень сверхфразового единства?

Нисколько не колеблясь, ответим на вопрос об отмене реверсивного закона отрицательно, и это позволит нам получить вполне однозначные ответы на прочие вопросы, относящиеся к сегментно-уровневому строению языка. Действительно, реверсивный закон фундаментален для понятия сегментного уровня как такового: один или несколько меньших функционально-определенных сегментов строят один и только один бóльший сегмент синтезированной функции; обратно: один бóльший сегмент синтезированной функции возводится к одному или нескольким сегментам родоначальной функции. Это значит, что уровень, лежащий между словом и предложением, как и уровень, лежащий между предложением и целым текстом (т.е. выше уровня предложения), нужно переосмыслить и переопределить.

Что мы и делаем, заполняя (с использованием обобщающей "**эмо**"-терминологии)

первое уровневое зияние (между словом и предложением) единицей-"денотемой" (в более ранних трудах мы называли ее "номемой"), соответствующей члену предложения (образуемого по реверсивному закону "одно или несколько слов"), а второе уровневое зияние (между предложением и целым текстом) единицей-"диктемой" (образуемой по реверсивному закону "одно или несколько предложений").

Теперь мы имеем структуру из шести сегментных уровней, каждый из которых закономерно выделяется как формальным строением своих единиц (формируемых из одной или нескольких единиц, непосредственно нижележащих на уровневой лестнице сегментов), так и (что не менее, а еще более важно) их функциональными свойствами и назначением.

Первый, нижний уровень сегментной иерархии языка, являющийся материальным носителем всех остальных, – уровень фонем или фонематический уровень. Функция фонемы – строить и различать морфемы, т.е. единицы непосредственно вышележащего уровня. Фонема сама по себе не имеет значения (семантического содержания), в этом смысле она является единицей односторонней, не-знаковой. Ее можно назвать "кортемой" в чистом виде (лат. *cortex* – кора, оболочка), в отличие от "сигнемы" (лат. *signum* – знак), двусторонней единицы, обладающей как формой, так и семантическим содержанием (оставляем в стороне дискуссию о фоносемантике как непосредственно не релевантную для настоящего анализа уровневой структуры языка). Термины "кортема" и "сигнема" вводятся нами как наименования, удобно вписываемые в доказавшую свою жизненность систему алло-эмических троек; ср.: ***корт – аллокорт – кортема***; ***сиги – аллосиги – сигнема***.

Фонемы, образуя морфемы, вместе с тем объединяются в слоги. Слоги (силлабемы) – тоже кортемы, односторонние сегменты языка, однако в общей функциональной иерархии уровней они могут быть представлены как образующие сферу ритмической комбинаторики фонем, т.е. верхний подуровень фонематического уровня языка. Все уровни, лежащие выше фонематического, взятого в вышеприведенном смысле пространства фонем и их слоговых сочетаний, являются сигнемными, знаковыми (дискуссия о соотношении знаковых и незнаковых уровней языка – см. [Булыгина, Климов 1972: 98 и сл.]).

Непосредственно над фонематическим лежит морфематический уровень языка. Функция морфемы – сигнификативная. Эта функция служит базой для реализации семантической функции вышележащего сегмента, т.е. слова. Но морфемы строятся фонемами с их различительной функцией, являющейся уровнеобразующей для своего фонематического пространства. Это значит, что функциональная характеристика морфемы **впитывает** в себя конструктивную и различительную характеристику фонемы и может быть поэтому представлена как **возрастающая**: морфема совмещает свою сигнификативную уровнеобразующую функцию с конструктивно-различительной функцией, пришедшей к ней из непосредственно нижележащего фонематического уровня. То же самое следует сказать и обо всех единицах вышележащих уровней: их функциональные "букеты" неуклонно возрастают (вместе со структурным возрастанием), обогащаясь переходящими к ним функциями нижележащих сегментов.

Непосредственно над морфематическим уровнем лежит уровень слов или "лексем" – лексематический уровень. Уровневыделительная функция лексемы – номинативная, именующая. Данная функция получает полное выражение в **знаменательных** лексемах. **Служебные** лексемы, в отличие от знаменательных, образуют континуум между уровнем слов и уровнем морфем, в силу чего, как мы знаем, называются в некоторых лингвистических описаниях термином "слова-морфемы". Если учесть указанную специфику служебных слов, то окажется, что вся пресловутая сложность определения слова, на которую столь единодушно жалуются лингвисты, происходит от недостаточного принятия в расчет отмеченного промежуточного характера служебных слов, приближающихся по функции к аффиксальным грамматическим морфемам разного конкретного назначения [Кацнельсон 1965: 4] и составляющих, в силу своей строевой природы, ничтожно малую часть (доли процента) общего словаря языка (ничтожно

малую, но важнейшую с точки зрения ее роли в языке как знаковом механизме речетворения). Что же касается знаменательных слов, то их весьма четко объединяет и в то же время вполне строго распределяет по лексико-грамматическим разрядам (частям речи) **лексическая парадигма номинации** – словообразовательная система, производящая категориально-определенные основы из категориально-неопределенных лексических корней [Блох 1976: 96 и сл.; 1986: 76 и сл.].

Следующий уровень на рассматриваемой лестнице восхождения – "денотематический", уровень членов предложения, образующих, по терминологии позднего дескриптивизма и порождающей грамматики, "фразовую" иерархию в синтагматике пропозитивного высказывания. Формальная структура денотемы, в соответствии с реверсивным законом ее образования, – одно или несколько слов, соединенных релевантно-пропозитивными связями. Уровнеобразующая функция денотемы (как простой, однословной, так и сложной, многословной) – денотативная, т.е. выделительная в высказывательном (рече-актном) смысле. Подчеркнем, что денотема непременно образует знаменательный узел предложения, она по определению содержит знаменательную лексему или лексемы в качестве своего ядра. Это с очевидностью вытекает из самого состава предложенческой (рече-актной) ситуации, включающей процесс, его актанты, его циркумстанты, его условия в широком смысле [Гак 1969; 1998: 243 и сл.; Падучева, 1985].

Над денотематическим уровнем лежит уровень предложения, или пропозематический уровень (лат. propositio – суждение, мыслеизъявление, тезис). Структура предложения-пропоземы реализуется, в соответствии с неукоснительным реверсивным законом, одной или несколькими денотемами, соединенными непосредственно пропозитивными связями. Функция предложения – существенно двуаспектная, а именно, номинативно-предикативная. Номинативный аспект предложения реализует **пропозитивную номинацию**, т.е. именование и денотацию соответствующей событийной ситуации. Предикативный аспект предложения реализует отнесение пропозитивного имени к действительности; точнее, если придерживаться буквы определений, **отображение** отношения называемой ситуации к действительности.

Последовательное разделение номинативного и предикативного аспектов в предложении, как в сложно-интегративной знаковой единице языка (сложной сигнеме), позволяет со всей ясностью отвести неоправданную критику некоторыми лингвистами того определения предложения, которое выдвигает предикативность на ведущую роль в установлении его качественной специфики (подобную критику предикативного определения предложения дает, например, М.И. Стеблин-Каменский [Стеблин-Каменский 1974: 34 и сл.]). В самом деле, отмеченная критика обвиняет предикативное определение предложения, формулируемое В.В. Виноградовым и другими отечественными синтаксистами, в тавтологии ("предложение – предикация, а предикация – предложение"), в то время как действительное содержание этого определения не имеет ничего общего с суждением порочного круга. Ведь предикативные значения, как следует из принятия двуаспектной трактовки статуса предложения в качестве синтаксической единицы, не только не исчерпывают семантики предложения, но как раз наоборот – они предполагают наличие в предложении семантики иного характера, а именно, ситуативно-номинативной, являющейся **полем приложения** предикации. Взаимно-противопоставленные планы пропозитивной семантики четко раскрываются в ходе исследований соотношения модусных и диктальных значений предложения в целом и его вербального центра в частности [Гак 1978: 19 и сл.; 1987: 38 и сл.]. Учет отмеченной двуаспектности предложения и позволяет нам провести вышеотмеченное уточнение понятия предикации, определив ее не просто как "отнесение содержания предложения к действительности" [ГРЯ 1960: 79–80], или как "отнесение высказывания к действительности" [Смирницкий 195: 102], а как отнесение **номинативного содержания** предложения к действительности. Именно такое понимание семантико-функциональной природы предикации раскрывает в одном обобщенном определении и

единство рассмотренных аспектов предложения, и их различную, но взаимнодополнительную знаковую роль.

Указанное понимание соотношения предложенческой номинации и предикации позволяет, далее, построить последовательное представление парадигматической системы синтаксиса, в рамках которой предложение выступает как закономерная деривационная производная от элементарной пропозитивной основы – "ядерного предложения", лежащего на пересечении двух главных синтаксических подсистем: подсистемы предикативных функций предложения, выражающих непосредственные предикативные отнесения пропозитивного (ситуативного) имени, и подсистемы конструкционных функций предложения, осуществляющих формирование предложений разной степени сложности, т.е., если использовать синтаксико-парадигматическую формулировку, разной степени номинативного развертывания (сочинение, подчинение, осложнение пропозитивных конструкций).

Еще совсем недавно, не более полувека назад (срок действительно небольшой для развития отрасли эмпирической науки, каковой является языкознание), предложение мыслилось высшим синтаксическим построением языка. Его статус предельного грамматически оформленного языкового элемента утверждался традиционным представлением предложения как конечной сферы функционального выхода в речь всей динамической системы языка, в которой парадигматика понималась не иначе, как жестко ограниченная рамками словообразования и словоизменения. Морфология – область парадигматики, синтаксис – область синтагматики; данная формула казалась само собою разумеющейся, она не подлежала никакому сомнению и никакой ревизии. Возведенная Ф. де Соссюром в ранг лингвистической аксиомы [Соссюр 1933: 90], она нашла окончательное утверждение в системе А.И. Смирницкого, провозгласившего предложение "минимальным речевым произведением" и исключившего его из числа единиц языка (см. выше).

Однако почти одновременно с указанным утверждением пришла нежданная-негаданная ревизия такого "синтагматического абсолюта" синтаксиса, и ее весьма резко сформулированное начало было провозглашено порождающей грамматикой в виде новой аксиомы противоположного смысла: язык – множество предложений (подчеркнем: язык, а не речь! – *М.Б.*), а грамматика – механизм, порождающий это множество [Хомский 1961; Chomsky 1965]. Как бы то ни было, последующая бурная дискуссия вокруг новой теории быстро привела к парадигматическому пониманию всей системы грамматики, а не только ее морфологического раздела. Морфология закономерно заняла нижний этаж в представлении этой системы, и язык в целом, вдруг оказавшийся в земном облике короля, с которого сорваны прикрывавшие его наготу одежды, предстал в виде воплощенной парадигматики, то бишь заложенного в мозг человека знакового формационно-трансформационного (развертывающе-преобразовательного) устройства, опосредующего когнитивно-коммуникативную речевую деятельность [Блох 1977; 1998]. И именно в таком парадигматическом понимании языка с его парадигматическим синтаксисом [Всеволодова, Дементьева 1997] (читай: парадигматической грамматикой, взятой в единстве морфологии и синтаксиса) заложено необходимое установление шестого сегментного уровня языка – уровня тех интегративных единиц, из которых непосредственно строится (и, следовательно, на которые раскладывается в восприятии) языковая речь в виде устного или письменного текста [Блох 1988].

Элементарная единица текста, как было указано выше, получила название "диктема" (от лат. *dico, dixi, dictum* – говорю, высказываю). Понятие диктемы было выдвинуто автором в связи с научной дискуссией о коммуникативных единицах языка [Блох 1985]. Оно развивает и преобразует понятие сверхфразового единства, или сложного синтаксического целого, выработанное в отечественном языкознании в сороковых годах (см. выше). Принципиальное различие между указанными понятиями (при их закономерной исторической связи) состоит в том, что сверхфразовое единство в контексте выделивших его работ **не имеет уровнеструктурного определения**, а дик-

тема, напротив, раскрывает свои свойства в качестве естественной составной части реверсивно-определенной уровневой структуры языка. Как составная часть этой структуры (при этом уровнеобразующая составная часть на верхнем ярусе сегментной языковой иерархии) она строго отвечает принципу построения из "одной или нескольких единиц непосредственно нижележащего уровня", т.е. из **одного или нескольких предложений**. Как составная часть этой структуры, она выделяется своей четкой функцией, не сводимой к функциям нижележащих единиц, но вбирающей в себя эти функции в рамках своего собственного, интегративно-текстового назначения выражать определенную тему. Это значит, что вне диктемы, т.е. вне диктемного строения, текст как непосредственный продукт речевой деятельности не существует и существовать не может.

Все мы хорошо знаем, что реальная повседневная речь, как и ее отражение в письменных (печатных) текстах – и художественных, и обиходных – сплошь и рядом содержит предложения, стоящие как бы особняком, будучи непосредственно не связанными ни структурно, ни семантически с окружающими их высказываниями. Именно существование таких предложений, или, в более широком чтении, существование **несвязанных последовательностей предложений**, дало повод Л. Блумфилду, замечательному предтече прагмалингвистики в рамках лингвистического дескриптивизма, объявить предложение "наибольшей грамматически оформленной лингвистической (т.е. "языковой". – *М.Б.*) формой, не включаемой ни в какую другую лингвистическую форму посредством грамматической процедуры" [Bloomfield 1933: 170]. Однако рассмотрение "языковых форм", т.е. единиц языка разного статуса, под углом зрения сегментно-уровневого строения языка позволяет показать коренную ошибку приведенного рассуждения. В самом деле, как раз сопоставление связанных текстовых последовательностей предложений с несвязанными и помогает со своей стороны увидеть, **открыть** этот интегративный сегмент языковой иерархии, ибо вся она подчинена, как мы видели, неукоснительному реверсивному закону: "**одна или несколько** единиц нижележащего уровня формируют **одну и только одну** единицу вышележащего уровня". Следовательно, в несвязанной текстовой (речевой) последовательности каждое отдельное предложение отражает предметный (тематический) переход в цепи сообщений. Это значит, что каждое из подобных предложений формирует отдельную диктему. И как таковое, оно в потенции может служить зачином связанной текстовой последовательности, раскрывающей некоторую общую тему. Подчеркнем: может **в потенции**. Ибо и оставаясь изолированным, не связанным никакими "грамматическими узами" (и даже "общесемантическими узами") ни с каким иным предложением разворачивающейся речи, ни с какой из других ее диктем, оно, тем не менее, остается диктемой по определению, если только оно является полноценным, пропозиционно оформленным предложением (в том числе и однословным, т.е. структурно **любым** предложением), выражающим собственную тему ("микротему"), а не случайным междометоподобным изглашением-выкриком.

Наглядное представление об отношении диктемы к своему пропозитивному (предложенческому) составу – одно или несколько предложений – можно получить, сопоставив диктему с абзацем. Как и диктема, абзац строится либо одним, либо несколькими предложениями. Как и диктема, абзац выражает собственную тему (микротему). Разница состоит в том, что, во-первых, диктема является универсальной единицей текста, как устного, так и письменного, в любых его стилистических разновидностях, абзац же организует лишь письменный, особенно книжно-печатный текст; во-вторых, абзац, будучи **сопредельным** с диктемой и фактически **представляя диктему в стилистически сбалансированном монологическом тексте**, может выйти за ее рамки и включить в свой состав несколько диктем, каждая из которых, естественно, может состоять из одного или нескольких предложений. Границы между разными диктемами в составе одного, обычно длинного, абзаца достаточно четко обозначены сменами соответствующих тем, сопровождаемыми использованием специальных средств тексто-

синтаксической связи (вводно-союзные слова, связующие корреляты-субституты, специализированная корреляция грамматико-категориальных форм, таких, как глагольные времена и виды, и др.).

Итак, в равномерно разворачивающемся письменном монологическом тексте диктема, как правило, представлена абзацем. В устной монологической речи диктема отграничивается диктемно-долгой паузой (относительная протяженность – больше, чем две моры) вместе с диктемно-финальным просодическим тоном (понижение или повышение тона, выходящее за пределы пропозитивного). В диалогической речи диктема, как правило, представлена репликой. Через диктему в рамках аспекта тематизации реализуются близкие и далекие связи частей текста. Через диктему осуществляется и действие текстовой пресуппозиции, обеспечивающей необходимое раскрытие всех импликативно передаваемых смыслов сообщений [Ленская 1998].

Но функционально-уровневая характеристика диктемы не исчерпывается тематизирующей функцией. Другой и не менее важный аспект диктемы заключается в ее стилистической охарактеризованности. Стилистическая характеристика, как и тематическая, собирается от диктемы к диктеме и отображается на целом тексте; вне стилистической характеристики, воплощающей в себе различные стороны выразительности речи, существование текста невозможно.

Выявление в диктеме, а через нее и в целом тексте необходимой суммы стилистических показателей мы называем "стилизацией". Это понятие следует отличать от литературоведческого понятия стилизации, под которым имеется в виду подражание внешним атрибутам чужой авторской манеры. Назовем стилизацию первого типа "первичной", а стилизацию второго типа "вторичной". Первичная стилизация – это естественная, витальная стилизация, которая может осуществляться либо сознательно (например, при литературной обработке текста), либо бессознательно, органически вплетаясь в когнитивно-коммуникативный процесс выражения мыслей говорящего.

Учитывая факт перехода функций от нижележащего уровня к вышележащему в ходе речетворения, мы заключаем, что в диктеме, через составляющие ее предложения, выявляются четыре важнейших функционально-знаковых аспекта речи: **номинация, предикация, тематизация** и **стилизация**. Номинация реализует именование общей ситуации, отражаемой диктемой. Предикация относит это именование к действительности. Тематизация включает передаваемую диктемой информацию в разворачивающееся содержание целого текста. Стилизация осуществляет такое коннотатционное представление содержания, которое реализует ситуативно-обусловленное воздействие на слушающего, соответствующее коммуникативной цели говорящего.

Актуализация отмеченных функций в общении, т.е. в ходе речеобразования разного характера (обращение к собеседнику, обращение к читателю, обращение к себе самому во внутренней речи как проявление когнитивной деятельности мозга и пр.) имеет результатом формирование конкретной **информации**, которая и является предметом восприятия любого адресата речи (включая, следовательно, и самого говорящего). Эта информация, взятая в широком смысле сведений или данных, извлекаемых воспринимающим субъектом-адресатом из речи отправителя сообщения, разделяется на данные целевой передачи и данные сопутствующей передачи. В общем информационном комплексе, содержащемся (т.е. создающемся актом речетворения) в диктеме как непосредственной сегментной составляющей текста, можно насчитать целый ряд рубрик информации, каждая из которых является существенно важной с точки зрения когниции и коммуникации.

Первая рубрика – информация коммуникативно-установочная. Она непосредственно определяет тип рече-деятельностного сотрудничества слушающего, требуемого говорящим соответственно его коммуникативной цели. Вторая рубрика – информация фактуальная общего типа, отражающая диктемную ситуацию в рамках фактов и их отношений. Третья рубрика – информация фактуальная специального типа, передающая разного рода реалии – этнические, социально-культурные, терминологические

и т.д. Четвертая рубрика – информация интеллективная, отражающая движение познающей и оценивающей мысли говорящего. Пятая рубрика – информация эмотивная, связанная с непосредственным выражением чувств. Шестая рубрика – информация структурная, отражающая строевые особенности текста, типологически маркирующие его (сравните, например, такие структурные особенности текста, как характерные категориальные формы слов, типологически существенные синтаксические конструкции, выразительная ритмика текста, аллитерация и рифма и т.д.). Седьмая рубрика – информация регистровая, отражающая различия между нейтральной, книжной и разговорной речью. Восьмая рубрика – информация социо-стилевая, отражающая функциональный стиль текста. Девятая рубрика – информация диалектно-признаковая, отражающая территориальные и этнические особенности текста (не смешивать эту информацию с фактуально-специальной, относящейся к аспекту прямого именования соответствующих предметов и явлений). Десятая рубрика – информация импрессивная, реализующая коннотацию целевого воздействия на слушающего, т.е. соотносительную силу этого воздействия. Одиннадцатая рубрика – информация эстетическая, формирующая аспект художественно-образного выражения мысли.

Каждая из отмеченных рубрик (типов) информации важна по-своему и особым образом связана с содержательно-целевым типом диктемы. Так, в диктеме "сухого" научного текста на первый план выдвигается информация интеллективного плана, она как бы подчиняет себе все остальные типы информации, выявляющиеся в тексте в качестве целевых и сопутствующих (ср., например, эмотивную или регистровую информацию). В диктеме разговорного диалогического текста, наряду с фактуально-интеллективной, заметное место занимает импрессивная информация, которая нередко и вполне естественно смыкается с эстетически-образной (или переходит в нее). В ораторской речи импрессивная информация, как правило, выдвинута на первый план. Речетворческий популизм современных политических ораторов сплошь и рядом принимает форму псевдо-аффекта, фальшивой истерии, имеющей целью зажечь толпу-адресат порывом нерассуждающего сотрудничества [Блох, Суслова 1996]. Внутренняя речь, обращение говорящего к себе самому, как мысленное, так и "озвученное" (такое тоже случается, когда, например, чем-либо взволнованный человек, находящийся в одиночестве, разговаривает сам с собой вслух – вспомним хотя бы гамлетовское "Быть или не быть?") [Сергеева 1996], отличается сугубой интеллективностью.

Разбиение диктемно-текстовой информации, естественно, можно детализировать и, наоборот, укрупнять в зависимости от задач исследования. Но как бы ее ни детализировать или укрупнять, необходимо учитывать, что каждая из ее существенных рубрик базируется на конкретных языковых элементах-носителях, организованных в соответствующие функционально-парадигматические подсистемы, распределенные по вышеназванным функционально-знаковым аспектам диктемы: номинации, предикации, тематизации и стилизации. Что касается укрупняющей группировки названных рубрик, то, как представляется, четыре обобщенных типа диктемно-передаваемой информации следует иметь в виду при любых операциях с текстом. Это информация фактуальная, интеллективная, эмотивная и импрессивная. Распознавание и разграничение фактуального и интеллективного типов информации в общем обзоре информационного комплекса диктемы особых трудностей не представляет; фактуальная информация – предметное отражение фактов и явлений действительности, интеллективная информация – отражение связей и отношений между ними, осуществляемое актом анализаторско-синтезирующей деятельности сознания. Распознавание и разграничение эмотивной и импрессивной информации, напротив, требует специального рассмотрения. Эмотивная часть высказывания, по существу ее терминологического обозначения, связана с прямым отражением эмоционального состояния говорящего. Это состояние может выражаться в чувствах взволнованности или спокойствия, комфорта или дискомфорта, радости или негодования, влечения к чему-либо или отталкивания от

чего-либо и т.д. Язык обладает обширной системой средств выражения всей этой сложной гаммы чувств и эмоций, выявляющихся в движениях души говорящего, в его рефлексирующем сознании. Иными словами, эмотивная область информации, заключенной в тексте, есть отображение чувственного "Я" говорящего. Как таковое, это отображение, в принципе, может распределяться между фактуальной и интеллективной информацией.

Принципиально иной характер имеет то, что названо "импрессивной" информацией. "Импрессия" – это то же самое, что "экспрессия"; это выразительность высказывания, его **воздействующая сила**, отражающаяся в действенности реакции слушающего, в его, так сказать, коммуникативной активности [Блох, Асратян 1996]. Первый термин (**импрессия**) мы предпочитаем второму (**экспрессия**) именно в силу специфики его семантики, прямо перекидывающей мост **от говорящего к слушающему** (ср. лат. exprimo, expressi – выдавливать, выражать, описывать; imprimo – вдавливать, оттискивать, отчеканивать).

Таким образом, если **эмотивность** как аспект высказывания соответствует самовыражению **говорящего**, замыкается в "Я", в первом лице речевой ситуации, то **импрессивность** как аспект высказывания соответствует апелляции к **слушающему**, отображает отношение "Я" к "ТЫ/ВЫ", предполагает реакцию второго лица речевой ситуации [Блох, Кашурникова 1985]. Но реакция слушающего не является однозначно определяемой тем или иным высказыванием. Более того, одно и то же высказывание, одна и та же диктема, как и текст в целом, может вызвать, и вызывает разные реакции у разных слушающих: у одних – сильные, у других – слабые; на одного слушающего то или иное высказывание активно воздействует, другого оставляет равнодушным. Это значит, что аспект импрессивности, выразительности текста принципиально отличается от прочих выделенных аспектов текста, и корень отличия состоит в том, что импрессивность не задается готовыми элементами, строго фиксированными в языке, – сегментами и моделями аранжировки сегментов. Импрессивность создается в речетворении каждый раз на данный случай посредством выбора выразительных средств, стоящего в зависимости от оценки говорящим всех составляющих речевой ситуации в их взаимоотношениях и взаимозависимостях. Следовательно, об информации как передаче определенных сведений в приложении к импрессивности можно говорить лишь с большой долей условности. Импрессивность объективно следует оценивать не столько как тип информации, сколько как соответствие построения высказывания условию его коммуникативного успеха в данной речевой обстановке. И мы рассматриваем эту сторону текста, реализуемую как эффект его стилизации, в терминах типов информации, с одной стороны, отдавая дань общему, а не строго лингвистическому, понятию информации как предмету восприятия вообще, а с другой стороны, для достижения определенного единообразия и удобства обозрения в представлении рассматриваемых характеристик текста.

Сказанное об импрессивности помогает лучше осмыслить и понятие, названное "эстетической информацией". Эстетическая информация, по сути, есть аспект выразительности художественного произведения [Савченко, Иоффе 1985: 74]. Иначе говоря, в рамках приведенной раскладки типов диктемно-текстовой информации, эстетическая информация есть не что иное, как импрессивная информация, преломленная в образах художественного творчества. Тем не менее, в общем представлении типов диктемно-текстовой информации мы не объединяем эстетическую информацию с импрессивной, а отводим ей отдельную рубрику. Это обусловлено следующим соображением.

Эстетический момент, вообще говоря, не чужд и обиходной речи, которая в отдельных случаях может достигать высокой степени художественной выразительности. Свидетельство этому мы видим, например, в народных пословицах и поговорках. Писатели, если только они являются настоящими художниками слова, отлично знают это, внимательно наблюдают такую речь и отражают ее в своем творчестве. Однако художественная речь писателя по своему статусу отличается от обиходной речи как

содержанием своей целеустановки, так и характером использования языковых средств. Цель художественного текста состоит в возбуждении эстетического чувства его потребителя. Задача использования языковых средств писателем (или народным сказителем, или песнопевцем-славословцем при племенном вожде и т.д.) заключается в **лепке образа**, будь то образ персонажа или любого предмета и явления, преломленного авторским воображением в составной элемент его произведения. И **слушающий/читающий** литературно-художественное произведение превращается в **слушателя/читателя** – составную часть аудитории автора. Таким образом, художественная речь не может быть поставлена в аналогию никакому отдельному функциональному стилю языка; она противопоставлена обиходной речи в целом и, отвечая своему предназначению, отражает эту речь вместе с ее стилевой дифференциацией. Отсюда – отдельная рубрика для "эстетической информации" как для такого аспекта текста, который и превращает его в художественно-образный.

* * *

Итак, текст как продукт речевой деятельности говорящего распадается на элементарные ситуативно-тематические единицы-диктемы, подчиняющиеся общему реверсивному закону уровневой иерархии языка (от фонемы до диктемы) и образующиеся из одного или нескольких предложений как единиц непосредственно нижележащего уровня языковых сегментов. В качестве интегративной единицы языкового выражения диктема различает четыре основных функционально-знаковых аспекта: номинацию, предикацию, тематизацию и стилизацию. Совокупным действием этих аспектов формируется комплекс информации, передаваемой от говорящего/пишущего к слушающему/читающему. Диктемно-текстовой комплекс информации структурируется соответственно когнитивно-коммуникативному содержанию своих составляющих, отражающих действие соответствующих парадигматических подсистем языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

АТЯС 1936 – Античные теории языка и стиля / Под общ. ред. О.М. Фрейденберг. М.; Л., 1936.

Блох М.Я. 1976 – Вопросы изучения грамматического строя языка. М., 1976.

Блох М.Я. 1977 – Проблема тождества предложения в свете соотношения понятий синтаксиса, семантики и информации // ВЯ. 1977. № 3.

Блох М.Я. 1985 – Проблема основной единицы текста // Коммуникативные единицы языка. М., 1985.

Блох М.Я. 1986 – Теоретические основы грамматики. М., 1986.

Блох М.Я. 1988 – Парадигматический синтаксис и лингвистика текста // Грамматика и перевод. М., 1988.

Блох М.Я. 1994 – Теоретическая грамматика английского языка. М., 1994.

Блох М.Я. 1998 – Предмет языкознания на рубеже веков // Проблемы вербальной коммуникации и представления знаний. Иркутск, 1998.

Блох М.Я., Кашурникова Л.Д. 1985 – Эмоциональность, экспрессивность и восклицательность как структурно-семантические параметры предложения // Структурно-семантические аспекты романо-германских языков на морфологическом и синтаксическом уровнях. Киров, 1985.

Блох М.Я., Асратян З.Д. 1996 – Коммуникативное воздействие высказывания // Журн. "Мост". Набережные Челны; Нижний Новгород. 1996. № 1.

Блох М.Я., Суслова М.М. 1996 – Аффект в речевом поведении // Актуальные проблемы прагмалингвистики. Воронеж, 1996.

Булаховский Л.А. 1938 – Курс русского литературного языка. Киев, 1938.

Булыгина Т.В., Климов Г.А. 1972 – Уровни языковой структуры // Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.

Всеволодова М.В., Дементьева О.Ю. 1997 – Проблемы синтаксической парадигматики: коммуникативная парадигма предложений. М., 1997.
Гак В.Г. 1969 – К проблеме синтаксической семантики // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М., 1969.
Гак В.Г. 1978 – Категория модуса предложения // Предложение и текст в семантическом аспекте. Калинин, 1978.
Гак В.Г. 1987 – О логическом исчислении семантических типов пропозициональных глаголов // Пропозициональные предикаты в логическом и лингвистическом аспекте. М., 1987.
Гак В.Г. 1998 – Языковые преобразования. М., 1998.
Гальперин И.Р. 1981 – Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
ГРЯ 1960 – Грамматика русского языка. Т. 2. Ч. 1. М., 1960.
Кацнельсон С.Д. 1965 – Содержание слова, значение и обозначение. М.; Л., 1965.
Миллер Е.Н. 1988 – Что такое язык? Гносеологический аспект. М., 1988.
Ленская И.С. 1998 – Проблема невербализованного содержания текста // Проблемы вербальной коммуникации и представления знаний. Иркутск, 1998.
Падучева Е.В. 1985 – Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.
Поспелов Н.С. 1948 – Сложное синтаксическое целое и основные особенности его структуры // Доклады и сообщения Института русского языка АН СССР. 1948. Вып. 2.
Савченко А.Н., Иоффе В.В. 1985 – Общее языкознание. Ростов-на-Дону, 1985.
Сергеева Ю.М. 1996 – Внутренний диалог и его отражение в литературно-художественном произведении // Научные труды МПГУ. Серия: Гуманитарные науки. М., 1996.
Смирницкий А.И. 1954 – Объективность существования языка. М., 1954.
Смирницкий А.И. 1956 – Лексикология английского языка. М., 1956.
Смирницкий А.И. 1957 – Синтаксис английского языка. М., 1957.
Соссюр Ф.де. 1933 – Курс общей лингвистики. Пер. с франц. М., 1933.
Стеблин-Каменский М.И. 1974 – Спорное в языкознании. М., 1974.
Степанов Ю.С. 1995 – Изменчивый "образ языка" в науке XX века // Язык и наука конца 20 века / Под ред. Ю.С. Степанова. М., 1995.
Сухомлинова Т.Р. 1981 – Однокомпонентные предложения как проявление экономии в языке и речи // Проблемы языка. Вильнюс, 1981.
Хомский Н. 1961 – Три модели описания языка // Кибернетический сборник. Вып. 2. М., 1961.
Щербаков В.П. 1982 – Об одном типе однословных реплик в диалогической речи // Реализация грамматических категорий в тексте. М., 1982.
Bloomfield L. 1933 – Language. New York, 1933.
Chomsky N. 1965 – Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.), 1965.
Crystal D. 1992 – The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge, 1992.
Hjelmslev L. 1968 – Prolegomènes à une théorie du langage. Paris, 1968.
Trager G.I. 1972 – Language and languages. San Fransisco, 1972.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2000

© 2000 г. О.Ю. КРЮЧКОВА

РЕДУПЛИКАЦИЯ В АСПЕКТЕ ЯЗЫКОВОЙ ТИПОЛОГИИ

Понятие "редупликация" (от лат. reduplicatio – удвоение) не имеет на сегодняшний день четкого и разделяемого всеми исследователями определения. В разных трактовках под это понятие подводится неодинаковый круг явлений – от разнообразных внутрисловных до разнообразных межсловных удвоений. Так, например, в работах по русскому и славянскому языкознанию понятием "редупликация" обозначаются и слоговые (типа *хихикать, шушукаться, колокол*), и аффиксальные (типа укр. *попоходити, попоносити*), и словные удвоения (типа *ходишь-ходишь, далеко-далеко*), и повторения иного рода (например: *Пристал* ***купи*** *да* ***купи****; За теми деревнями* ***леса, леса***).

В случаях осознания редупликации как приема в н у т р и с л о в н о г о удвоения не четко определенным оказывается характер базисных единиц, участвующих в моделях редупликации; не вполне ясно, ограничивается ли редупликация случаями удвоения единиц, одинаковых в плане выражения (ср. в [ЛЭС: 408]: "редупликация – фономорфологическое явление, состоящее в удвоении начального слога или целого корня"), или проявления этого же языкового приема следует видеть в удвоениях, оперирующих планом содержания языковых знаков при необязательном тождестве плана выражения (в сборнике [Языки Ю.-В. Азии 1980] рассматриваются как удвоения, связанные с полным или частичным повторением звуковой оболочки редупликанта[1], так и удвоения, не связанные с повторением звуковой оболочки редупликанта, – "удвоение синонимичных лексических единиц, т.е. создание смысловых повторов" – [Там же: 9]). Дискуссионными остаются также вопросы о функциональной стороне редупликации, ее грамматическом или каком-то ином статусе, о месте редупликации в системе способов словопроизводства, о соотношении этого приема с аффиксацией и словосложением. Во вступительной статье к названному сборнику Н.Ф. Алиева указывает и на ряд других нерешенных теоретических проблем, связанных с применением способа удвоения в разных языках мира. Сегодня по-прежнему не потеряло своей актуальности то, о чем вот уже 20 лет назад писала Н.Ф. Алиева: "Естественность, самоочевидность, кажущаяся примитивность этого способа слово- и формообразования, вероятно, немало содействовали тому, что в языкознании об удвоении обычно говорилось лишь мимоходом. Его структурные, функциональные и семантические возможности характеризовались только в общих чертах. Как правило, лингвисты не усматривали здесь никаких проблем для теоретического исследования. Видимо, не случайно нам не удалось обнаружить ни одной специальной работы общелингвистического характера, посвященной удвоению: этому вопросу отводится только по две-три страницы в общих трудах" [Алиева 1980: 3].

До настоящего времени проблемы редупликации (понимаемой в качестве приема в н у т р и с л о в н о г о удвоения) обсуждались более или менее активно на материале языков азиатского юго-восточного региона. Что касается русистики, то можно

[1] В дальнейшем мы будем пользоваться терминами "редупликант" (удваиваемая единица) и "редупликатор" (удваивающая единица), предложенными редколлегией сборника [Языки Ю.-В. Азии 1980].

смело утверждать, что проблема редупликации является здесь лакуной как в теоретическом, так и в эмпирическом аспектах. Внутрисловные удвоения в русском языке не были до настоящего времени предметом системного изучения, их описание сводилось по существу к указанию на отдельные типы или факты удвоения. Этим обусловлено и практическое неприменение в русистике термина "редупликация" относительно тех или иных случаев повтора компонентов, образующих слово.

Вместе с тем универсальность редупликации как приема построения слов, использующегося большинством или, возможно, всеми языками, является как будто бы фактом признанным. "Редупликация свойственна языкам различного строя", – говорится в ЛЭС [ЛЭС 1990: 408]. Эта же мысль эмоционально выражена Э. Сепиром: "Нет ничего более естественного, чем факт широкого распространения редупликации..." [Сепир 1993: 82]. Выделены также отдельные универсальные признаки редупликации, ср., например, в [ЛЭС 1990: 408] "...чаще редупликация выступает как средство варьирования лексического значения, выражая интенсивность, дробность, уменьшительность и т.п. ..."

Однако изучение языковых универсалий предполагает выявление не только универсальных (изоморфных для разных языков), но и типических (алломорфных для разных языковых типов) черт явления. Между тем если первая сторона вопроса получила в литературе некоторое освещение, то вторая остается на сегодняшний день совершенно не исследованной. В частности, неясно, одинаково или по-разному применяется способ внутрисловного удвоения в языках с различной морфологической структурой; с какими особенностями языкового строя связана специфика внутрисловных удвоений в разных языках; могут ли алломорфные проявления редупликации (и какие конкретно) расцениваться в качестве типологически значимых признаков. Весьма показательно существование противоположных суждений о типологической значимости редупликации. Если по мнению Н.В. Солнцевой редупликация может рассматриваться в ряду типологических признаков, различающих языковые типы [Солнцева 1985], то В.И. Беликов такую возможность отвергает [Беликов 1989].

Дальнейшее содержание статьи представляет собой рассуждения в русле сформулированных выше вопросов, т.е. последовательное рассмотрение универсальных свойств редупликации (I), ее типических проявлений в разноструктурных языках (II) и попытку интерпретации алломорфизма, наблюдающегося в применении способа внутрисловного удвоения в языках разной типологии (III).

В данном случае, при исследовании одного из приемов образования слов, в качестве основы типологического сопоставления логично избрать именно структурную, или морфологическую, классификацию языков. Следует оговориться, что принятое нами описание языковых типов как изолирующих, агглютинативных и флективных достаточно условно в связи с многократно уже подтвержденным положением об отсутствии "чистых" языковых типов[2] и неоднозначной интерпретацией многих языковых фактов, что обусловливает поиски иных схем типологической классификации языков (ср., например, двумерную схему, предложенную Н.В. Солнцевой [Солнцева 1985: 156–157]). Использование же терминов "изоляция", "агглютинация", "флексия" в качестве признаков одномерной классификации обусловлено в данном случае необходимостью учета большого количества исследований, оперирующих именно таким трехчленным рядом понятий, и стремлением к максимальной дифференциации языкового материала при первоначальном его представлении[3].

---

[2] «...в природе не существует "чистых" языковых типов, в каждом языке присутствуют все... явления (изоляция, агглютинация, флексия, инкорпорация. – *О.К.*), хотя и в разных пропорциях» [Ярцева 1974: 13–14].

[3] В списке литературы названы работы, фактический материал которых привлечен к дальнейшему анализу. Это в основном исследования по изолирующим и агглютинативным языкам [Аврорин 1959–1961; Аракин 1980; Горгониев 1980; Дьячков 1977; Карский 1956; Кудайбергенов 1957; Леонтьев 1980; Лонг Сеам 1980; Люй Шу-сян 1961; Морев 1983; Оглобин 1980; Омельянович 1980; Орузбаева 1964; Санжеев 1941; Серебренников 1965; Сираева 1969;

I. Наиболее общие структурные типы редупликации в том или ином виде представлены в разных языках. Во всех языках (или в большинстве языков) редупликация может быть полной (полное удвоение редупликанта: слога, морфемы, основы или слова), неполной (частичное повторение редупликанта в редупликаторе) и дивергентной (с изменением звукового состава редупликанта). Ср.: полная редупликация: мал. *labu-labu* "глиняный горшочек", бурят. *дэмы-дэмы* "напрасно", русск. *белый-белый*; неполная редупликация: мад. *ma'-léma'* "по пять", мар. *и-изи* "маленький-маленький", русск. *улюлю*; дивергентная редупликация: индонез. *colak-culing* "беспорядочный", карач.-балк. *gab-gara* "чернейший, пречерный", русск. *тяп-ляп*, *такой-сякой*. Во всех языках редупликация тех или иных компонентов слова может сопровождаться дополнительным использованием аффиксов (осложненная редупликация). Ср.: *там-**ши**-там* "все больше и больше" в языке кхаси, *улаан**haa** улан* "самый красный, наикраснейший" в бурятск. яз., *baṛalbaṛal**nbariy*** "ударять друг друга" в языке дьирбал, *черный-**пре**черный* в русск. яз. Во всех языках редупликация может быть связана не только с повторением звуковой оболочки редупликанта, но и с повторением его семантики. В последнем случае речь идет о смысловых повторах, или синонимической редупликации. Например: шан. *tseat3-thaam1-tseat3-toi4* "расспрашивать-разузнавать" (ср.: *tseat3-thaam1* "расспрашивать", *tseat3-toi4* "разузнавать"), узб. *йигим-терим* "сбор урожая" (ср.: "сбор" + "уборка"), русск. *дочурочка* (*-урк-* + *-к-*), др.-русск. **дѣлатєльникъ** (***-тел'-*** + ***-ьник-***).

Семантические функции редупликации многообразны: от выражения грамматических значений до варьирования или изменения лексической семантики. Однако в основных значениях, передаваемых удвоенными словами, большинство языков обнаруживает значительное сходство. Семантической универсалией является, без сомнения, использование удвоения для передачи интенсивности признака, иконическая связь этого способа "с идеей меры и количества" [Оглоблин 1980: 173]. Б.А. Успенским предложена следующая универсалия, касающаяся семантики редупликационных моделей: в большинстве языков, если существует редупликация (полная или частичная) как продуктивный грамматический способ слово- или формообразования, в числе значений, выражаемых этим способом, имеется значение изменения количества или степени (см. [Языковые универсалии... 1969: 335]). Эта общая идея (инвариантное значение) в разных лексико-категориальных классах реализуется в соответствующих модификациях: "для предметных значений – как множественность, разнообразие и сходство, для значений качеств – как степень качества, для процессов – как длительность и многократность" [Оглоблин 1980: 173]. Ср. сходные типы значений, передаваемые редуплицированными словами в разноструктурных языках:

Изолирующие языки: шан. *khan^{1}-khan^{1}* "очень быстрый"; кит. *чжэнь^{1}чжэнь бу-цо^{4}* "в самом-самом деле неплохо"; кхмер. *снае-снэт* "страстно любить"; малаг. *maitsomaitso* "ярко-зеленый", *mena-mena* "красноватый", *ezakaezaka* "повторные усилия"; бирм. *айа^{2}йа* "разные вещи"; мад. *no'-mano'* "разные птицы".

Агглютинативные языки: бурят. *улаанhaa улаан* "самый красный, наикраснейший", *губэр-шэбэр* "еле-еле (говорить)"; мар. *кугу-кугу* "пребольшущий", *шукерте-шукерте* "давным-давно"; гаг. *узун-узун* "длинный-длинный"; кирг. *эт-мет/эт-сет* "мясо и т.п.", *мал-сал* "скот и т.п.", адыг. *чъылэ-чъылэ* "очень холодно".

Флективные языки: русск. *белый-белый* "очень белый", *давным-давно* "очень давно", *крепко-накрепко* "очень крепко", *понавезти* "привезти что-то в очень большом количестве", *щелочка* "очень маленькая щель, щелка", *маломальский* "самый маленький, незначительный", *шурум-бурум* собир. "всякое старье, тряпье"; укр. *дав-*

Сирк 1980; Тхаркахо 1992]. Флективный языковой тип охарактеризован в статье по преимуществу на собранном автором материале русского языка, поскольку в русском словообразовании флективный характер языкового строя проявляется достаточно отчетливо.

ним-давно "очень давно", *тонесесенький* "очень-очень тоненький", *білесесесенький* "очень беленький", *попоходити, попоробити, поповчити, попоісти* (обозначают многократные действия); блр. *даўным-даўно* "очень давно".

Таким образом, основная сфера распространения редупликации в языках мира – «это сфера различных модификаций значений исходной единицы при сохранении "основного" лексического значения» [Солнцева 1985: 79].

Семантической универсалией является также использование редупликации как изобразительного средства при образовании разного рода подражательных и изобразительных слов. Этот факт отмечен в ЛЭС. "Редупликация, – говорится в соответствующей статье, – широко используется при образовании идеофонов и звукоподражательных слов" [ЛЭС 1990: 408]. Об этом свидетельствуют и примеры из разных языков: таг. *kikirap-kirap* изобразит. "мерцание"; мар. *йыл-йол* изобразит. "о сверкании молнии"; кирг. *кобур-собур* подражат. "бормотанье"; негидальск. *мусимуси* изобразит. "улыбаясь"; русск. *трень-брень, динь-динь, тик-так, куд-кудах*.

В ряд универсальных признаков, связанных с применением редупликации, входит, по всей видимости, и характер соотношения сторон (плана выражения и плана содержания) редуплицированного языкового знака. Для языковых знаков, сконструированных на основе редупликации, релевантно следующее соотношение: одной единице плана содержания соответствуют две единицы плана выражения.

II. Наряду с универсальными структурными и семантическими проявлениями редупликаций, разные языки характеризуются своеобразной интерпретацией общих, инвариантных структурных типов внутрисловного удвоения и общей, инвариантной семантики. Как показывают наши наблюдения, будучи немногочисленными в каждом конкретном языке, наиболее продуктивные модели редупликации в целом совпадают в языках с одинаковым морфологическим строем. В то же время разноструктурные языки обнаруживают в этом отношении отчетливые различия.

В изолирующих и агглютинативных языках, применяющих при построении слов агглютинативную технику, редупликация осуществляется в пределах корневой морфемы. Например, в изолирующих языках Юго-Восточной Азии основными структурными моделями редупликации являются полное или дивергентное повторение слогов исходных односложных или двусложных слов типа шан. *khan*^{1} "быстрый" – *khan*^{1}-*khan*^{1} "очень быстрый"; кхмер. *снае* "любить" – *снае-снэт* "страстно любить". В тюркских и финно-угорских агглютинативных по структуре языках продуктивны полная и дивергентная редупликация корней-основ (так называемые парные слова, или слова-эхо, с изменением инициальной фонемы редупликанта) типа таг. *узун* "длинный" – *узун-узун* "длинный-длинный", киргизск. *мал* "скот" – *мал-сал* "скот и т.п.". Случаи удвоения аффиксов в изолирующих и агглютинативных языках отмечаются исследователями как особые.

В славянских языках с синтетическим флективным строем редуплицируются по преимуществу синонимические суффиксальные и префиксальные морфемы. Так, в русском языке на протяжении всего его исторического развития в системах разных частей функционируют разнообразные модели с нанизыванием одних и тех же или, чаще, синонимических словообразовательных аффиксов. Ср., например: *ведер-к-о – ведер-оч-к-о, вулканиза-тор – вулканиза-торщик, при-забыть – по-при-забыть, за-бросить – по-за-бросить* в современном русском языке; устаревшие сейчас, но еще употреблявшиеся в XVIII-XIX вв. *груз-ин-ец* (< *грузин*), *челяд-ин-ец* (< *челяд-ин*), *бег-ун-ец* (< *бег-ун*), *бели-тель-ник* (< *бели-тель*), *дешевизн-ость* (< *дешев-изн-а*), *вос-про-славить* (< *про-славить*); древнерусские **писа-тельник-ъ** (< **писа-тель**), **льв-ич-ищ-ь** (< **льв-ич-ь**), **мель-нич-ник-ъ** (< **мель-ник-ъ**), **невѣр-ств-не** (< **невѣр-ств-о**), **неист-ов-ьн-ый** (< **неист-ов-ый**), **конч-а-ва-ти** (<**конч-а-ти**), **съ-по-стигнѫти** (< **по-стигнѫти**) и мн. др. Удвоения реляционных

аффиксов единично представлены в современном русском языке и его истории. Ср., например, отдельные случаи удвоения окончания инфинитива в древнерусском языке и современных народных говорах: **побри-чи-ти** – "обрить", **поволо-чи-ти** – "обтянуть, покрыть тканью"; "насильно повести", **почѹ-ти-ти** и **ꙗчѹ-ти-ти** – "ощутить", **почѣс-ти-ти** – "почтить", **привъзви-ти-ти** – "приобрести"; *и(д)-ти-ть, най-ти-ть, прой-ти-ть-ся*. Современному русскому литературному языку известен лишь один глагол с удвоенным окончанием инфинитива – *запропас-ти-ть-ся*.

Все приведенные и подобные им примеры вторичной аффиксации трактуются нами как проявления аффиксальной редупликации на том основании, что аффиксы второго деривационного шага не изменяют словообразовательного значения первичного аффикса, а полностью или частично дублируют его. Функция второго словообразовательного аффикса – в усилении, подчеркивании соответствующего значения первичного аффикса или отдельных компонентов его значения. Ср.: *ведерочко* – "то же, что ведерко, но с усилением ум.-ласк. значения", *вулканизаторщик* – "то же, что вулканизатор в 1-м знач. – рабочий, занимающийся вулканизацией", *попризабыть* – "то же, что призабыть", *позабросить* – "то же, что забросить". Подобную усилительную функцию могут выполнять в других языках не аффиксальные, а корневые редупликации, ср. повторную плюрализацию в языке хауса типа *dȗwàrwátsai* "камни" (< *dȗwàtsȗ* "камни"), "где второе множественное как бы плюрализует уже плюрализованную основу и тем самым имплицирует '(еще) большее количество'..." [Мельчук 1997, I: 253].

Необходимо отметить, что повторения деривационных аффиксов, характерные для структуры русского слова, традиционно не попадают в круг редупликационных моделей[4]. Вместе с тем в повторениях дериватем нет ничего необычного. Так, И.А. Мельчук отмечает, что если природа соответствующего значения допускает повторение, то дериватемы "менее ограничены с точки зрения возможностей повторяться, чем настоящие граммемы... среди дериватем попадаются даже такие, для которых повтор прямо-таки желателен" [Мельчук 1997, I: 268]. Невключение повторений деривационных аффиксов в круг явлений редупликации обусловлено, на наш взгляд, как минимум двумя важнейшими причинами. Во-первых, как мы уже отмечали, в русистике (и шире – в славистике) до сих пор нет какого бы то ни было систематического описания многообразных случаев аффиксальных повторов (дублирующей аффиксации). Во-вторых, более активное изучение приема удвоения на материале языков иной типологии, в которых этот прием выступает прежде всего как операция, изменяющая к о р е н ь слова, вызвало вполне оправданное стремление разграничивать прием удвоения и прием аффиксации (см., например, критический анализ положения Л. Блумфилда "редупликация – это аффикс" в [Алиева 1980: 4–7]). Вместе с тем и возможность аффиксального удвоения в принципе не отрицается. Она лишь квалифицируется как р е д к и й (редкий для языков с агглютинативной техникой) случай удвоения. Так, в упомянутой уже вступительной статье к сборнику, посвященному повторам в языках Юго-Восточной Азии, подчеркивается: "Особо стоят такие повторы, в которых удвоен сам аффикс, – они отмечены в чжуанском и тагальском языках" [Алиева 1980: 14].

Обычно в качестве чуть ли не единственно возможных случаев редупликации в русском языке отмечаются словные удвоения типа *белый-белый, ходишь-ходишь*. Русские словные удвоения справедливо характеризуются в языкознании как "предельные", смыкающиеся с повтором, случаи редупликации [ЛЭС 1990], как языковые факты, образующие периферию внутрисловных повторов [Касевич 1988: 135–136], как

[4] Вопрос о разновидностях редупликации деривационных аффиксов в славянских языках был затронут лишь в докторской диссертации Л.И. Ройзензона (см. [Ройзензон 1970]). Некоторые конкретные модели аффиксального удвоения в русском языке описаны в ряде наших статей (см., например [Крючкова 1999а; 1999б; 1999в]).

"синтаксическая редупликация" [Вежбицкая 1999: 257]. Русские образования типа *белый-белый* могут быть определены, на наш взгляд, как сложные слова, существующие в слитно-раздельной форме (по Н.В. Солнцевой), формально и семантически мотивированные соответствующими нередуплицированными словами (ср.: *белый* > *белый-белый*) и характеризованные специальным показателем этих формально-семантических отношений – удвоением. "В структурном отношении словоудвоение является частным случаем словосложения, отличаясь лишь тем, что словоудвоение состоит из двух одинаковых основ-составляющих, а словосложение – из двух различных" [Макаренко 1970: 148]. Своеобразие удвоенных слов хорошо подчеркнуто термином "неподлинные сложения", применяемым в отношении словесных повторов в армянской лингвистической традиции (см. [Манучарян 1981: 60–66]).

Обладая значительной общностью в структурных моделях редупликации, языки одного и того же морфологического типа имеют в этом отношении и расхождения, хотя и весьма незначительные. Такие расхождения касаются в основном продуктивности/непродуктивности тех или иных структурных моделей в пределах одних и тех же ономасиологических классов. Так, при общем развитии акционсартно-префиксальной и диминутивно-суффиксальной редупликации во всех современных славянских языках конкретные структурные модели этих видов аффиксального удвоения могут быть различными. Ср., например, продуктивную в украинском, белорусском, чешском и польском языках и непродуктивную в других славянских языках модель полной редупликации глагольных префиксов (укр. *попоходити, попоробити*; блр. *папабегаць, папагаварыць*; чеш. *popojet* "немного проехать"); специфическую для украинского языка модель частичной редупликации адъективных уменьшительных суффиксов *-сесенький (тонесесенький)*.

Структурные различия в моделях славянской редупликации не колеблют, однако, общего для них главенства а ф ф и к с а л ь н о й редупликации над другими видами внутрисловного удвоения. В славянских языках отсутствуют живые, п р о д у к т и в н ы е модели слогового и корневого удвоения, столь характерные для изолирующих и агглютинативных языков. Слова с подобным удвоением представляют собой р е л и к т ы древнего типа редупликации. Такие слова во всех славянских языках немногочисленны и относятся к древнейшему лексическому слою. Например, русск. *бубен, дадим, перепелка, папа, мама, дядя, тот* (< *тьть*), *колокол, глагол, еле-еле, едва-едва, маломальский*; блр. *тараторыц', п'ярап'олка, попел* (< *пепел* < *пелпелъ*), ср. также в др.-русск. **дьньдьныный, словословити, словословестити**. Слоговое и корневое удвоение в славянских языках в основном сосредоточено в лексике с междометными и звукоподражательными корнями, хотя количество таких слов тоже невелико. Например, болг. *чин-чин* "кукушка"; укр. *ква-ква*; русск. *гагара, гоготать*.

Итак, типические различия в структурных моделях редупликации связаны в разных языках прежде всего с отношением моделей редупликации к тем или иным разновидностям редупликантов, т.е. к базовым единицам редупликации. Иными словами, типические различия обнаруживаются в первую очередь при ответе на вопрос, к а к и е языковые единицы тем или иным образом удваиваются в пределах слова. В изолирующих и классических агглютинативных языках базовой единицей редупликации является корень-основа, реже встречается удвоение аффиксов, в языках флективного типа, напротив, преобладает редупликация аффиксов, периферию внутрисловных удвоением образуют лексемные повторы. Речь в данном случае, конечно же, идет об о с н о в н ы х базовых единицах редупликации для того или иного типа языка, поскольку в каждом типологическом классе языков в той или иной степени в моделях редупликации задействованы разные исходные единицы[5]. Поэтому опреде-

[5] Известно, например, что редупликация корня использовалась в древних индоевропейских языках (например, в санскрите, древнегреческом) как средство глагольного формообразования – "при образовании перфектных, а также некоторых презентных и

ляющее значение в данном случае имеет именно степень участия языковых единиц в моделях редупликации.

Помимо очевидных различий в базовых единицах редупликации (корень-основа или аффиксы), приведенные примеры указывают и на другое существенное типологическое различие языков, выявляющееся в моделях внутрисловного удвоения. Это различие связано также с оппозицией "формальный повтор – смысловой повтор". В изолирующих и агглютинативных языках преобладают редупликация, основанная на повторении звуковой оболочки языкового знака: полном, частичном или дивергентном повторении корня-основы. Флективные же языки предпочитают удвоение синонимических единиц, прежде всего нанизывание синонимических аффиксов. Поэтому применительно к флективным языкам понятия "полная", "неполная", "дивергентная" редупликация могут отражать не только разновидности удвоения элементов формы языкового знака, но и виды повтора элементов его содержания.

Таким образом, изолирующие и агглютинативные языки характеризуются значительным сходством в структурных типах редупликации. Языки же синтетического флективного строя заметно отличаются своеобразными структурными проявлениями способа внутрисловных удвоений. Элементы сближения изолирующих и агглютинативных языков, с одной стороны, и флективных языков, с другой стороны, (например, развитие аффиксальных удвоений в языках с агглютинацией и распространение "эхослов" типа *сахар-махар*, *цифры-мыфры* в языках флективного строя) свидетельствуют, по всей видимости, о новых для того или иного языкового типа тенденциях, осознание и объяснение которых возможно лишь через призму диахронного изучения динамики структурных моделей редупликации.

Типовая семантика редупликации ввиду большого разнообразия в каждом языке передаваемых этим способом семантических модификаций выделяется не столь отчетливо, как типовые структурные модели. Типологические различия в семантике удвоений связаны прежде всего со степенью регулярности тех или иных типов значений. Основным дифференциальным типологическим признаком редупликационной семантики является, по-видимому, соотношение предметных и признаковых значений. При общем уже упомянутом нами преобладании признаковой семантики внутрисловное удвоение широко используется в изолирующих и агглютинативных языках и для передачи предметных значений, значений множественности, собирательности, распределительности, разнообразия, сходства и других. Ср.: мад. *mano'* "птица или птицы" – *no'-mano'* "разные птицы"; бирм. *айа*^{2} "вещь" – *айа*^{2}*йа*^{2} "разные вещи"; таг. *amá* "отец" – *inaamá* "крестный отец"; в языке квилеут *tukốyo?* "снег" – *tutkốyo?* "снег повсюду"; в языке папаго *daikuḍ* "стул" – *dadaikuḍ* "несколько стульев из одного "гарнитура" (из одного дома)" – *daddaikuḍ* "несколько стульев разного происхождения (из разных домов)"; кирг. *мал* "скот" – *мал-сал* "скот и т.п."; карач.-балк. *юй* "дом" – *юй-мюй* "дома"; каракалп. *төбе* "гора" – *төбе-төбе* "горы"; ног. *шокур* "углубление" – *шокур-мокур* "разные углубления"; уйгур. *могэ* "фрукты" – *могэ-чогэ* "разные фрукты".

К указанным предметным значениям близки также типичные для изолирующих и агглютинативных языков значения, передаваемые удвоением числительных и местоимений. Например: мад. *l'éma'* "пять" – *l'éma'* – *ma'-léma'* "по пять", *ара* "что" – *ра-ара* "что-либо"; папуас. *oroi* "два" – *oroi oroi* "два и два, четыре" – *oroi oroi oroi* "шесть"; яз. крио *tu* "два" – *tutu* "по два"; эрзя-морд. *кавтонь* "два" – *кавтонь-кавтонь* "по двое", *мезе* "что" – *мезе-мезе* "что-нибудь", азерб. *бир* "один" – *бир-бир* "по одному",

---

аористных основ" [Языки Азии... 1976: 130]. Ср. греч.: *di-dōmi* 'даю' – *dé-dōka* 'дал'. Вместе с тем уже в старых индоевропейских языках (санскрите, средних индоарийских языках: пали, шаурасени, апабхранша) распространены были префиксальные и суффиксальные удвоения (см. [Там же: 131, 140]).

тув. *он* "десять" – *он-он* "по десять", нан. *эмун* "один" – *эмун-эмун* "по одному", *дэхи* "сорок" – *дэхи-дэхи* "по сорок", *мӭнэ* "сам" – *мӭнэ-мӭнэ* "каждый сам по себе".

Использование редупликации для передачи предметных значений в современных флективных языках функционально ограничено. Субстантивные удвоения представлены в этих языках в основном "эхо-словами", "словами-отзвучиями" (*шурум-бурум, сахар-махар, танцы-рванцы, жигули-шмыгули*), употребляющимися в качестве языковой игры в разговорной речи (см. [Русск. разг. речь 1983; Янко-Триницкая 1968]). Распространение удвоений подобного типа во многих европейских языках связано, очевидно, с тюркским влиянием.

Удвоения с предметным значением характерны, по мнению Н.И. Ревзина, для тех языков, где предмет представляется не как нечто отдельное от других предметов, а как средоточие определенной совокупности свойств (см. [Ревзин 1980]). Тесная связь предметности и качественности находит яркое выражение в тех случаях, когда удвоением слов предметных частей речи передаются значения, характерные для частей речи с признаковой семантикой ("смещенные грамматические категории", по И.А. Мельчуку). Ср. кит. *янь* "скала, обрыв" – *яньянь* "суровый, недоступный, отвесный"; *сы* "нить" – *сысы* "тонкий"; *цзин* "кристалл" – *цзин-цзин* "блестящий". В индонезийском языке итеративное значение, свойственное глаголу, может быть выражено и редупликацией подлежащего-местоимения, т.е. ***Dia dia*** *terpilih mendjadi presiden* = *Dia* ***terpilih-terpilih*** *mendjadi presiden* "Его неоднократно избирали президентом". Центр внимания в такого рода удвоениях с предмета на его качество. Синтез качественных и предметных значений проявляется также в одной из наиболее характерных особенностей агглютинативных языков – в употреблении имен существительных в роли определения, что способствует распространению в агглютинативных языках словосочетаний, близких к сложным словам, типа коми-зырян. *vov jaj* "конина", букв. "лошадь мясо".

Представление предметности через призму признаковых свойств предметов и явлений обусловливает, вероятно, и широкое распространение в изолирующих и агглютинативных языках так называемых изобразительных, или образных, слов-ономатопей. Ср.: кхмер. *так-так-так* "падение капель"; мар. *йыл-йол* "о сверкании молнии", *тыли-тыли* "о мигании огонька", *мыгыль-мугыль* "о движении какого-то неопределенного предмета"; кирг. *кобур-собур* "бормотанье"; крымско-тат. *пать-путь* "о неравномерном грохоте"; негид. *муси-муси* "улыбаясь"; нан. *бопиал-бопиал* "то открывая, то закрывая (рот, пасть, глаза)", *дерил-дерил* "мелькая", *вао-вао* "издавая лай собаки".

В современном русском языке (и, по-видимому, в других славянских языках) редупликация сосредоточена в сфере признаковой (непроцессуальной и процессуальной) семантики, представленной в целом относительно закрытыми семантическими классами в сравнении с более широкой и многообразной предметной семантикой. Так, например, аффиксальные удвоения в русском языке распространены главным образом в сфере диминутивно-оценочных и акционсартных значений (*ведер-оч-к-о, изб-ушеч-к-а, по-при-тихнуть, по-при-забыть*), а словные удвоения характерны прежде всего для прилагательных, наречий, глаголов (*белый-белый, много-много, ходит-ходит*). Удвоение в сфере признаковой семантики направлено на ее обогащение "изнутри", экспрессивно-количественное варьирование уже означенного.

III. Структурные, семантические и функциональные различия, наблюдаемые при реализации способа внутрисловного удвоения в разных языках, обусловлены как особенностями их словообразовательных систем, так и более общими типологическими свойствами языков.

Очевидно, что различие языков по характеру редупликантов (корень или аффиксы) находится в ближайшей связи с развитием в этих языках тех или иных с п о с о б о в с л о в о п р о и з в о д с т в а. Так, в изолирующих языках с ограниченной аффиксацией и ведущей ролью словосложения основным редупликантом закономерно вы-

ступает корень, поскольку значения, передаваемые в языках иной типологии посредством аффиксов, в изолирующих языках выражаются редупликацией корня (см., напр. [Лонг Сеам 1980]). Флективные же языки с высокоразвитой аффиксацией и аффиксальной синонимией используют, как мы показывали выше, аффиксальное удвоение.

Однако нельзя не видеть, что структурная специфика редупликации не определяется всецело продуктивностью аффиксации или словосложения в словообразовательных системах соответствующих языков. В классических агглютинативных языках, где аффиксация – ведущий способ словопроизводства, редуплицируется по преимуществу все-таки корневая морфема. Ср.: бурят. *хэдэ-хэдэн* "несколько", кирг. *кобур-собур* "бормотание", чув. *шурă-шурă* "белый-пребелый", гаг. *сыра-сыра* "рядами", тув. *он-он* "по десять", карач.-балк. *сары-сары* "желтый-желтый" и мн. др. Отсутствие прямой зависимости структурных типов редупликации от типологии способов словопроизводства свидетельствует о том, что структурное (и тем более семантическое) своеобразие редупликации в большей мере определяется иными, более общими типологическими свойствами языков, по отношению к которым способы словообразования выступают как частные проявления.

Такими общими типологическими свойствами являются, по-видимому, как установлено В.М. Солнцевым, особенности реализации трех видов взаимообусловленных отношений: иерархических (устройство единиц), синтагматических (отношения между собой в речи единиц одного уровня) и парадигматических (способы группировки единиц в разные классы) (см. [Солнцев 1972: 37]). Именно организация этих видов отношений в разных языках, отмечает Н.В. Солнцева, создает условия для развития фузионной и агглютинативной техники соединения морфем (см. [Солнцева 1985: 29–32]). Эти же отношения, на наш взгляд, являются существенными для возобладания тех или иных моделей редупликации. Иными словами, такие типологически значимые признаки, как синтаксическая самостоятельность/несамостоятельность корней-основ, способы выражения синтаксических отношений и категориальной характеризации слов, особенности соединения морфем в составе словоформы, оказывают значительное влияние на развитие определенных моделей внутрисловного удвоения.

Обычная для изолирующих и агглютинативных языков синтаксическая самостоятельность корней-основ (корнеслов), т.е. их способность самостоятельно, без аффиксов, функционировать в предложении, стимулирует развитие корневой редупликации в языках этого типа. Синтаксическая несамостоятельность корневой морфемы в языках флективного строя, необходимость в большинстве случаев аффиксального оформления корня для образования слова является фактором, ограничивающим корневую редупликацию.

Самостоятельность/ несамостоятельность корневой морфемы и связанные с этим способы передачи синтаксических отношений в разных языках обусловливают не только структурные, но и функционально-семантические различия в использовании редупликации. В изолирующих и агглютинативных языках, в которых ведущим критерием разграничения категориальной семантики является не морфология, а синтаксис, актуализация тех или иных категориальных значений обеспечивается синтагматически, с помощью порядка слов, служебных слов, интонации, синтаксической сочетаемости. В этих условиях, в условиях неморфологизированного противопоставления частей речи редупликация корней-основ становится одним из способов морфологической характеризации слова, способом выражения синтаксических отношений и приобретает часто не только модификационную, но лексическую и транспозиционную направленность. Например, в китайском языке удвоенные и неудвоенные формы используются в зависимости от функции слова в предложении, в зависимости от того, необходимо ли выразить предметные или признаковые значения: для передачи предметного значения обычно употребляется неудвоенная форма, а для характеристики действия или состояния в большинстве случаев употребляется слово, образованное посредством редупликации начального слога, ср.: *аньхао*^{4} "тайный сигнал" – *ань*^{4}*ань* "тайно, тайком", *мима*^{3} "секретный код" – *ми*^{4}*ми* "секретно, скрытно".

Агглютинативные языки, несмотря на развитую аффиксацию и возможность передачи синтаксических отношений средствами самих словоформ, с точки зрения способа синтаксической связи сходны с изолирующими[6]. Объясняется это, возможно, их прежним доагглютинативным строем, в рамках которого из знаменательных основ возникали грамматические значения и грамматические аффиксы[7]. Поэтому и в агглютинативных языках редупликация используется в качестве средства, эксплицирующего синтаксические отношения. Ср., например, характерное для тюркских языков применение редупликации для образования наречий на базе слов других частей речи: азерб. *бир* "один" – *бир–бир* "по одному", турк. *бир* "один" – *бир-бирден* "по одному", *гун* "день" – *гун-гунден* "день за днем", нан. *дюэр* "два" – *дюэр-дюэр* "по два", *дарин* "ряд" – *дарин-дарин* "рядом, плечо к плечу".

Флективные языки характеризуются высокой степенью морфологизированности словоформ, каждый лексико-грамматический разряд отграничивается в этих языках достаточно ясно. Все это, наряду со значительным развитием аффиксации, в том числе синонимической, четкой противопоставленностью в большинстве случаев деривационных и реляционных аффиксов, стимулирует использование редупликации (как аффиксальной, так и лексемной) в качестве средства не "основно́й", так называемой лексической, и не транспозиционной (или синтаксической), а именно в качестве дополнительной, модификационной, деривации.

Характер редупликации зависит также и от особенностей морфемной синтагматики, связанной, в свою очередь, с самостоятельностью/ несамостоятельностью корней-основ. Присоединение аффиксов к основам, равным слову, стимулирует применение агглютинативной техники, поддерживающей самостоятельность, независимость морфем в составе словоформы. Присоединение же аффиксов к основам, принципиально отличным от слова, сопровождается фузией – тесной спайкой образующих слово морфем. "Отдельность подачи элементов информации в составе словоформы" [Реформатский 1965: 84] обеспечивает агглютинативным аффиксам формально-семантическую устойчивость, наделяет эти аффиксы "полнотой значимости" (по Э. Сепиру), охраняет их от деэтимологизации. Отсутствие деэтимологизации является, по мнению Н.В. Солнцевой, главным отличительным признаком агглютинативных аффиксов, всегда отчетливо сохраняющих свое значение (см. [Солнцева 1985: 46]). Фузионные же аффиксы, напротив, «и внешне и внутренне тесно спаиваются с корнями и друг с другом и в составе этих "сплавов" теряют свое значение, как бы "затухают" и "стираются"» [Реформатский 1967: 272]. Нечеткость, размытость морфемных границ при фузии лишает фузионные аффиксы "полноты значимости", препятствует поморфемному восприятию информации, передаваемой словом. "Чем больше неясности в отношении связи между элементами, чем меньше оснований считать аффикс обладающим всей полнотой значимости, – пишет Э. Сепир, – тем резче подчеркивается единство цельного слова. Наш ум требует точки опоры. Если он не может опереться на отдельные словообразующие элементы, он тем решительнее стремится охватить все слово в целом" [Сепир 1993: 126]. Отсутствие четкой морфемной выделимости, наряду с полисемией, полифункциональностью, нестандартностью и регулярной деэтимологизацией фузионных аффиксов, являются важным условием редупликации аффиксов, осуществляемой в поисках "точки опоры". Противоположные свойства агглютинативных аффиксов, напротив, являются фактором, существенно ограничивающим аффиксальную редупликацию.

Названные мотивы аффиксального удвоения в языках с фузией объясняют и преимущественную ориентацию редупликационных процессов на план содержания

---

[6] "Изоляция, – по определению В.М. Солнцева, – характеристика не структуры слова, но способа его связи с другими словами" [Солнцев 1978: 34].

[7] В тюркских языках, например, до настоящего времени отмечается большое количество так называемых нулевых грамматических форм, т.е. форм, не имеющих аффиксальной маркировки (см. [Баскаков 1979: 93–97]).

аффиксального редупликанта. Повторная аффиксация, направленная на устранение многозначности первичного аффикса (*вулканизатор* "лицо или предмет?" – *вулканизаторщик* "лицо"), на реконструкцию деэтимологизированных значений (*ножик – ножичек, книжка – книжечка*), способствует восстановлению "полноты значимости" аффикса, создает возможность расчлененного восприятия информации, приближает фузионный словообразовательный формант к форманту агглютинативного типа.

Склонность флективных языков к аффиксальной редупликации и отсутствие такой склонности в языках с агглютинативной техникой поддерживается общими противоположно направленными типологическими тенденциями. Если одна из типологических примет построения словоформы в языках флективного строя – избыточность, проявляющаяся в значительном развитии разных типов морфемной изосемии, "в наличии двух или более морфов для обозначения одного и того же содержания в пределах одной и той же единицы" [Гухман 1974: 48], то для агглютинативных языков характерна интенсивно действующая тенденция к экономии грамматических средств, находящая, в частности, выражение в вытеснении сложных структур простыми, в развитии нулевых грамматических показателей.

Связь аффиксальной редупликации с типологическими свойствами аффиксов, с особенностями их синтагматики и парадигматики хорошо прослеживается на "контрпримерах", т.е. нетипичных примерах использования аффиксального удвоения в языках с агглютинативной техникой соединения морфем и неиспользования аффиксальной редупликации в языках с преобладанием фузии. Возможность редупликации некоторых аффиксов отмечена, например, в тюркских и финно-угорских агглютинативных по структуре языках, ср.: эрзя-морд. *берякш-**ке** – берякш-**ки-не*** "плохонький"; *вишки-**не** – вишки-**нь-ки-не*** "малюсенький"; казах. *ат* "лошадь" – *ат-**ты-лы*** "верховой". Аффиксальные удвоения отмечены даже в изолирующих языках со слабо развитой аффиксацией, ср. кит. *хай*^{2}*-**цзы-р*** "ребенок"; *тун*^{2}*-**цзы-р*** "медяк".

Интересно, что редупликация аффиксов в языках с преобладанием агглютинативной техники указывает на приобретение соответствующими морфемами фузионных свойств: признаков нестандартности и десемантизации. Аффиксальное удвоение во всех приведенных и подобных им случаях – следствие аффиксальной синонимии в данном деривационном сегменте либо результат семантико-функционального ослабления аффикса. Так, например, удвоение уменьшительных суффиксов в китайском языке и суффиксов со значением лица в казахском языке вызвано десемантизацией названных значений у первичных суффиксов – *цзы* и *-лы* (см. [Люй Шу-сян 1961: 38; Суник 1965: 61]), а удвоение уменьшительных суффиксов в эрзя-мордовском языке связано с наличием синонимических показателей этого значения. Характерно также, что аффиксальная редупликация в языках агглютинативного строя нередко сопровождается явлениями фузии на морфемных швах (см. изменения суффиксальных гласных и согласных в приведенных выше примерах из казахского, эрзя-мордовского языков). Таким образом, аффиксальная редупликация – это свидетельство и следствие развития фузионных тенденций на отдельных участках деривационных систем агглютинативных языков.

Точно так же, как явления аффиксальной редупликации в агглютинативных языках сигнализируют об участках проникновения фузии, принципиальная невозможность аффиксального удвоения или затухание продуктивности соответствующих моделей служат сигналами развития агглютинативных признаков у аффиксов в языках флективного строя. Так, например, префиксы русского языка типа *недо-, сверх-, квази-, анти-* и под., обладающие свойствами агглютинативных морфем, никогда не включались и не включаются в модели редупликации.

Случаи аффиксальной редупликации в языках с преобладанием агглютинации, с одной стороны, и случаи запрета на аффиксальную редупликацию в языках с преобладанием фузии, с другой, не могут быть, на наш взгляд, интерпретированы как указывающие на безразличие операции аффиксального удвоения к типологическим

характеристикам аффиксов. Такие случаи лишь подтверждают мнение, к которому приходят многие типологи: "Различия между особенностями морфологической структуры... языков... носят... не принципиальный, не качественный, а прежде всего количественный характер" [Суник 1965]. Именно количественное распределение в разных языках аффиксов с теми или иными типологическими признаками определяет степень распространенности аффиксальной редупликации.

Связь аффиксальной редупликации с типологическими особенностями аффиксов позволяет полагать, что утрата или, наоборот, активизация способности к удвоению в процессе исторической эволюции обусловлена соответственно накоплением агглютинативных (стандартизация, специализация) или, напротив, фузионных (нестандартность, многозначность) признаков. Это положение ярко подтверждает история моделей аффиксальной редупликации в русском языке. Если аффиксы немодификационных словообразовательных подсистем, накапливая агглютинативные свойства, с течением времени утрачивают способность к редупликации (см., например, историю моделей суффиксальной редупликации в сфере личных имен существительных в [Крючкова 1999в]), то аффиксы модификационного словопроизводства, напротив, усиливая признаки фузии, увеличивают редупликационные потенции (см., например, историю диминутивно-оценочной редупликации в [Крючкова 1991]).

В процессах аффиксальной редупликации выявляется сложное взаимодействие фузионных и агглютинативных тенденций. Вероятно, можно констатировать следующий парадокс аффиксальной редупликации: являясь следствием фузионных свойств аффиксов, аффиксальная редупликация способствует развитию агглютинативных признаков, сообщая аффиксальному форманту агглютинативные качества (признаки стандартности и моносемии), преодолевая асимметрию, свойственную флективным словообразовательным формантам. Не случайно, существуют разные, казалось бы, противоположные мнения об обусловленности аффиксальных удвоений. Так, А.А. Реформатский рассматривал возможность повторения в составе слова тождественных или близких по значению аффиксов как одно из следствий фузии (см. [Реформатский 1955: 212–213]), а В.А. Горпинич связывает активизацию процессов нанизывания синонимических аффиксов в русском языке с нарастанием антифузионных тенденций (см. [Горпинич 1981: 9]). Вместе с тем противоречие это, на наш взгляд, действительно кажущееся. Будучи в каждом конкретном случае следствием фузии, в широком смысле, в русле тенденции к расчлененной подаче информации, к установлению однооднозначных соответствий между планом выражения и планом содержания аффиксальная редупликация отражает также и развитие общих агглютинативных свойств. Ср., например, русские разговорные образования типа *вулканиза-тор-щик, по-приутихнуть*, возникающие как реакция на многозначность субстантивного форманта *-тор-*, участвующего как в образовании имен лица, так и в образовании предметных наименований, или как реакция на многозначность приставки *при-*, обладающей целым рядом пространственных и непространственных значений.

Однако агглютинативные тенденции, стимулирующие развитие аффиксальной редупликации, не достигают в языках с сильной фузией максимального развития. Инерция флективного строя рождает процессы вторичного синтезирования, находит способы адаптации структур с агглютинативноподобным нанизыванием. Показательно в этом отношении рассуждение Л.И. Ройзензона о результатах взаимодействия агглютинативных и флективных тенденций в полипрефиксальных глаголах: "По мере того, как ослабляется агглютинативность вторичной приставки, возрастает ее флективная функция, а это ведет к усилению семантического взаимодействия вторичного префикса и основы глагола. У некоторых вторичных префиксов агглютинативность ослаблена до такой степени, что отношения между этими приставками и глагольными основами становятся такими же, как и у одноприставочных глаголов: полипрефиксация в этом случае функционально равнозначна монопрефиксации" [Ройзензон 1967: 8]. В лексикографии такие глаголы толкуются посредством формулы "то же, что", ср.: *понаслышаться* – "то же, что наслышаться", *повымотать* – "то же, что вымотать",

пообдумать – "то же, что обдумать", *поразжиться* "то же, что разжиться", *попризабыть* – "то же, что призабыть", *позабросить* – "то же, что забросить".

В результате процессов вторичного синтезирования аффиксальные последовательности в фузионных языках регулярно превращаются в сложные аффиксы и морфемные комплексы (бисуффиксальные форманты) – формально членимые, но функционально целостные форманты (ср., например, дискуссии о вычленении сложных формантов или формантных последовательностей в структуре диминутивов 2-й степени и полипрефиксальных акционсартных глаголов).

Подведем некоторые итоги.

1. Универсальность способа удвоения и вместе с тем структурное и семантико-функциональное своеобразие его реализации в языках разной типологии убеждает в справедливости мнения о том, что характер редупликации может рассматриваться как один из типологических признаков в классификации языков. В своеобразии структурных моделей редупликации, функционирующих в языках разных морфологических типов, находит яркое отражение типологическая специфика устройства слова. Можно, пожалуй, согласиться с мнением В.И. Беликова о том, что ни один из традиционных типологических параметров (в частности, степень фузионности морфемных швов, доля нестандартных основ и аффиксов, способность к амальгированию в одной морфеме нескольких служебных элементов значения) "не сопряжен со степенью развития (разрядка наша. – *О.К.*) морфологического приема редупликации как специфического вида языковой техники" [Беликов 1989: 181]. Однако зависимость структурно-семантических моделей редупликации от названных и других типологических характеристик языкового строя, на наш взгляд, несомненна.

2. Кроме того, языки разной типологии различаются, по-видимому, не только своеобразным применением общего для всех (или большинства) языков приема внутрисловного удвоения, но все-таки и степенью развития этого приема, связанной, возможно, уже с иными типологическими параметрами. Не берясь в данном случае за решение этой проблемы, выскажем лишь два предположения:

1) Наиболее широкое применение прием внутрисловного удвоения получает, очевидно, в тех языках, где основным способом словопроизводства является словосложение. Языки, не использующие сложения, практически не знают и редупликации. Например, в эскимосско-алеутской группе палеоазиатских языков отсутствует сложение, и удвоение встречается только в междометиях-сигналах: эск. *к'ук'-к'ук'* – сигнал о появлении морского зверя на поверхности воды; алеут. *ка-ка*! – сигнал "вправо!" Ср.: в нивхском языке (генетически изолированном языке той же палеоазиатской семьи) продуктивность словосложения сочетается с продуктивностью редупликации. Вместе с тем развитость словосложения не является обязательным условием распространения редупликации. Например, в кетском языке (изолированном языке палеоазиатской семьи) развито словосложение, но почти (за исключением немногих междометий) не используется редупликация.

Характер отношений между сложением и редупликацией ставит вопрос о первичности/ вторичности этих способов словопроизводства. Для современного состояния языков корреляция сложения и редупликации может, по всей видимости, определяться так: в большинстве языков развитие словосложения указывает на то, что есть и редупликация. Однако в плане диахронии вполне вероятно и обратное соотношение: в языках с развитой редупликацией активно формируется словосложение. Основанием для данного предположения служат многочисленные указания исследователей разных языков на древность корневых удвоений (см., напр.: [Лонг Сеам 1980: 141; Аганин 1959: 5–6; Дмитриев 1962: 136; Карский 1956: 11]). Определенно высказываются по этому поводу В.Г. Егоров и Н.В. Солнцева. Ср.: "Древнейшей и самой простой формой словосложения во многих языках мира являются удвоенные слова" [Егоров 1971: 95]; "Способ удвоения появился и стал употребляться как массовое средство (в языках Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. – *О.К.*) до того, как появилось современное аффиксальное словообразование и словосложение" [Солнцева 1985: 76].

2) Неравномерное развитие редупликации в разных языках может быть связано также с неодинаковым соотношением мотивированности/ немотивированности, производимости и воспроизводимости слов. В языках разных типов сила этой тенденции, очевидно, различна (ср. отмеченное Л.Г. Зубковой, Р.С. Манучаряном неравномерное соотношение производимости и воспроизводимости в агглютинативных и флективных языках). Преобладание первой тенденции (в языках с агглютинацией) может стимулировать продуктивность редупликации, преобладание второй (в языках с флексией) – ограничивать ее развитие.

В русском языке, по наблюдениям лингвистов, тенденция к мотивированности постоянно и успешно противодействует противоположной тенденции – тенденции к немотивированности. Тенденция к мотивированности проявляется, в частности, и в стремлении придать бóльшую формальную выразительность значащим элементам слова [Лопатин 1975], и в большей коммуникативной частотности мотивированных слов [Лукашевич 1997], расчлененных смысловых структур, и в разных способах дублирования значений, передаваемых информативно менее насыщенными компонентами, например аффиксами [Архипов, Гурочкина 1981]. Сосуществование и постоянная борьба тенденций к мотивированности и немотивированности, "разъемность", "многообразная членимость" и одновременно "глубокая фразеологичность", "целостность" русского слова (свойства, сформулированные М.В. Пановым) служат источником того своеобразного положения, которое занимает редупликация в русском языке, обусловливает ее постоянное возникновение на разных участках словообразовательной системы и постоянное затухание в результате фузионной обработки редупликационных сегментов в структуре русского слова, в результате образования сложных или бисуффиксальных формантов (см., например [Ройзензон 1963: 59–60; 1970: 19; Шкатова 1984: 88]).

3. Анализ редупликационных явлений с учетом моделей редупликации, характерных для языков флективного строя, дает основания для корректировки распространенного определения редупликации как "фономорфологического явления". Сама по себе возможность использования в процессах внутрисловных удвоений значимых единиц языка (словообразовательных аффиксов или слов, переходящих на положение морфем) делает неверным ограничение редупликации формальным фактором, поскольку основой удвоений, в которых участвуют значимые единицы, является именно семантика, а не структура этих единиц.

Исключение собственно семантических повторов из сферы редупликации лишает описание этого процесса необходимой объяснительной силы. Так, при анализе аффиксальной редупликации с позиций обязательного формального тождества повторяющихся в слове аффиксов (например, у Л.И. Ройзензона) в качестве примеров редупликации рассматриваются производные типа *поверхн-ост-н-ость*, в которых повторение одного и того же аффикса не является повторением дериватемы, но не попадают в поле зрения производные типа *изб-ушеч-к-а* с удвоением формально различных, но семантически тождественных суффиксов, примеры, в которых как раз имеет место повторение дериватем.

Ограничение редупликационного процесса обязательным формальным тождеством повторяющихся внутри слова единиц порождает и неоправданную изоляцию внутрисловных удвоений из общей системы языковой повторяемости, разрушая целостность представления о соотношении внутри- и межсловной повторяемости (к последней традиционно относят не только лексико-семантические, но и собственно семантические повторы) – подсистем, образующих в целом сложную с и с т е м у разнообразных и разноуровневых средств гиперхарактеризации (термин Э. Швицера).

Можно предложить следующее определение редупликации, учитывающее, с одной стороны, универсальность этого приема построения слов, а с другой стороны, многообразие его структурно-семантических и функциональных проявлений: Редупликация – это способ слово- или формообразования, состоящий в удвоении корня или его элементов (звуков, слогов), аффиксов или целых слов, переходящих на положение

морфем. Редупликация может быть полной, неполной, дивергентной, осложненной, синонимической. В случаях применения редупликации всегда возникает асимметрия плана выражения и плана содержания: одной единице плана содержания соответствуют две единицы плана выражения. Продуктивность того или иного типа редупликации зависит от особенностей морфологического строя языка.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЯ ЯЗЫКОВ

адыг. – адыгейский
азерб. – азербайджанский
алеут. – алеутский
англ. – английский
блр. – белорусский
бирм. – бирманский
болг. – болгарский
бурят. – бурятский
вьет. – вьетнамский
гаг. – гагаузский
греч. – греческий
др.-русск. – древнерусский
индонез. – индонезийский
казах. – казахский
каракалп. – каракалпакский
карач.-балк. – карачаево-балкарский
кирг. – киргизский
кит. – китайский
коми-зырян. – коми-зырянский
коряк. – корякский
крымско-тат. – крымско-татарский
кхмер. – кхмерский
мад. – мадурский
малаг. – малагасийский
мал. – малайский
мар. – марийский
нан. – нанайский
негид. – негидальский
ног. – ногайский
папуас. – папуасский
русск. – русский
таг. – тагальский
тув. – тувинский
турк. – туркменский
узб. – узбекский
уйгур. – уйгурский
укр. – украинский
чеш. – чешский
чув. – чувашский
шан. – шанский
эрзя-морд. – эрзя-мордовский
эск. – эскимосский

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аврорин В.А. 1959–1961 – Грамматика нанайского языка. Т. 1–2. М.; Л., 1959–1961.

Аганин Р.А. 1959 – Повторы и однородные парные сочетания в современном турецком языке. М., 1959.

Алиева Н.Ф. 1980 – Слова-повторы и их проблематика в языках Юго-Восточной Азии // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980.

Аракин В.Д. 1980 – Удвоение в малагасийском языке // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980.

Архипов И.К., Гурочкина А.Г. 1981 – Информативность словообразовательных нетранспонирующих суффиксов // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. Владивосток, 1981.

Баскаков Н.А. 1979 – Историко-типологическая морфология тюркских языков. М., 1979.

Беликов В.И. 1989 – Редупликация как типологически значимое явление // Новое в изучении вьетнамского языка и других языков Юго-Восточной Азии. М., 1989.

Вежбицкая А. 1999 – Редупликация в итальянском языке: кросс-культурная прагматика и иллокутивная семантика // Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.

Горгониев Ю.А. 1980 – Прилагательные с удвоенным комплексом в китайском языке // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980.

Горпинич В.А. 1981 – Словообразовательная система языка как тождество противоположностей ее составных элементов // Русское языкознание. Киев. 1981. № 3.

Гухман М.М. 1974 – Лингвистические универсалии и типологические исследования // Универсалии и типологические исследования. М., 1974.

Дмитриев Н.К. 1962 – Строй тюркских языков. М., 1962.

Дьячков М.В. 1977 – О словарном составе креольского языка крио // Языки зарубежного Востока. М., 1977.

Егоров В.Г. 1971 – Словосложение в тюркских языках // Структура и история тюркских языков. М., 1971.
Карский Е.Ф. 1956 – Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 2: Исторический очерк словообразования и словоизменения в белорусском языке. М., 1956.
Касевич В.Б. 1988 – Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.
Крючкова О.Ю. 1991 – Вторичная деминутивно-оценочная деривация: современное состояние и развитие: Дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 1991.
Крючкова О.Ю. 1999а – Суффиксальная редупликация как экспликатор исторической динамики древнерусских прилагательных // III Житниковские чтения. Динамический аспект лингвистических исследований. Материалы Всероссийской научной конференции. Ч. II. Челябинск, 1999.
Крючкова О.Ю. 1999б – Редупликация абстрактно-именных суффиксов в русском языке XI–XVII вв. // Филология. Вып. 4. Саратов, 1999.
Крючкова О.Ю. 1999в – Модели суффиксальной редупликации как отражение процессов словообразовательной эволюции (на материале личных имен существительных) // Альманах "Говор". Материалы второй Всероссийской научной конференции. Ч. 3. Сыктывкар, 1999.
Кудайбергенов С. 1957 – Подражательные слова в киргизском языке. Фрунзе, 1957.
Леонтьев А.А. 1980 – О некоторых грамматических функциях редупликации в папуасском языке телефол // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980.
Лонг Сеам 1980 – Повтор в кхмерском литературном языке // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980.
Лопатин В.В. 1975 – Так называемая интерфиксация и проблемы структуры слова в русском языке // ВЯ. 1975. № 4.
Лукашевич Е.В. 1997 – Функционирование мотивационно-частотного коэффициента производной лексики русского языка // Человек в свете его коммуникативного самоосуществления. Вып. 1. Барнаул, 1997.
ЛЭС 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь/Под ред. В.Н. Ярцевой. М., 1990.
Люй Шу-сян 1961 – Очерк грамматики китайского языка. М., 1961.
Макаренко В.А. 1970 – Тагальское словообразование. М., 1970.
Манучарян Р.С. 1981 – Словообразовательные значения и формы в русском и армянском языках. Ереван, 1981.
Мельчук И.А. 1997–1998 – Курс общей морфологии. Т. I–II. М.; Вена, 1997–1998.
Морев Л.Н. 1983 – Шанский язык. М., 1983.
Оглоблин А.К. 1980 – Материалы по удвоению в мадурском языке // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980.
Омельянович Н.В. 1980 – Удвоение в разговорной форме современного бирманского языка // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980.
Орузбаева Б.О. 1964 – Словообразование в киргизском языке. Фрунзе, 1964.
Панов М.В. 1999 – Позиционная морфология русского языка. М., 1999.
Ревзин Н.И. 1980 – Два способа выражения идеи предметности и проблема удвоения // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980.
Реформатский А.А. 1955 – Введение в языкознание. М., 1955.
Реформатский А.А. 1965 – Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова // Морфологическая типология и проблема классификации языков. М.; Л., 1965.
Реформатский А.А. 1967 – Введение в языковедение. М., 1967.
Ройзензон Л.И. 1963 – Глаголы с вторичной приставкой *ро-* в современном чешском языке // Исследования по чешскому языку. М., 1963.
Ройзензон Л.И. 1967 – Теоретические заметки по славянской аспектологии (о специфике глагольной полипрефиксации сравнительно с монопрефиксацией) // Вопросы языкознания. Материалы XXIV научной конференции проф.-препод. состава СамГУ им. А. Навои. Самарканд, 1967.
Ройзензон Л.И. 1970 – Славянская глагольная полипрефиксация: Автореф. ... док. дис. Минск, 1970.
Русск. разг. речь. 1983 – Русская разговорная речь. М., 1983.
Санжеев Г.Д. 1941 – Грамматика бурятского языка. М.; Л., 1941.

Сепир Э. 1993 – Язык. Введение в изучение речи // Э. Сепир. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.

Серебренников Б.Ф. 1965 – Причины устойчивости агглютинативного строя и вопрос о морфологическом типе языка // Морфологическая типология и проблема классификации языков. М.; Л., 1965.

Сираева С.Н. 1969 – Парные слова назывного характера в немецком и узбекском языках // Труды Самаркандского гос. университета им. А. Навои. Новая серия. Вып. 169: Вопросы филологической науки. Самарканд. 1969.

Сирк Ю.Х. 1980 – О структуре повторов в западных индонезийских языках // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980.

Солнцев В.М. 1972 – О понятии уровня языковой системы // ВЯ. 1972. № 3.

Солнцев В.М. 1978 – Типология и тип языка // ВЯ. 1978. № 2.

Солнцева Н.В. 1985 – Проблемы типологии изолирующих языков. М., 1985.

Суник О.П. 1965 – Вопросы типологии агглютинативных языков (К проблеме соотношения агглютинации и флексии) // Морфологическая типология и проблема классификации языков. М.; Л., 1965.

Тхаркахо Ю.А. 1992 – Лексическая и словообразовательная синонимия в адыгейском языке. Майкоп, 1992.

Шкатова Л.А. 1984 – Развитие ономасиологических структур. Иркутск, 1984.

Языки Азии... 1976 – Языки Азии и Африки. Кн. I–II. М., 1976.

Языки народов... 1966–1968 – Языки народов СССР. Т. 1–5. М.; Л., 1966–1968.

Языки Ю.-В. Азии 1980 – Языки Юго-Восточной Азии. М., 1980.

Языковые универсалии... 1969 – Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., 1969.

Янко-Триницкая Н.А. 1968 – Штучки-дрючки устной речи (Повторы-отзвучия) // Рр. 1968. № 4.

Ярцева В.Н. 1974 – Проблема универсалий и классификация языков // Универсалии и типологические исследования. М., 1974.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2000

© 2000 г. Г.И. КУСТОВА

КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ И СИСТЕМА ПРОИЗВОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ*

1. ПОДХОД И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Если бросить взгляд в недалекое прошлое – эпоху структурализма, – то одной из особенностей структуралистского подхода следует признать "автономизацию" языка: язык рассматривался как более или менее самодостаточный механизм, автономный как по отношению к человеку, так и по отношению к внеязыковой реальности. Акцент делался на внутренних, имманентных правилах и законах строения и функционирования языковой системы.

Современные лингвистические теории характеризуются совсем иными акцентами. Их отличает стремление, с одной стороны, встроить язык в систему других когнитивных механизмов человека (ср., например, концепцию семантических примитивов А. Вежбицкой, которая исходит из единой общечеловеческой природы единиц универсального семантического языка; тем самым этот универсальный язык становится естественным основанием для сопоставления (и сопоставимости) разных языков); с другой – выявить "посредническую" функцию языка между человеком и внеязыковой реальностью и показать, что язык и сам несет отпечаток человеческих способов освоения реальности, и в то же время, будучи средством концептуализации этой реальности, воплощением наивной (языковой) картины мира, накладывает отпечаток на восприятие реальности человеком – восприятие "сквозь призму языка" (ср. работы Ю.Д. Апресяна [Апресян 1995] и других представителей Московской семантической школы; публикации группы "Логический анализ языка" под руководством Н.Д. Арутюновой, а также работы А.Е. Кибрика по типологии [Кибрик 1992], где реализуются принципы когнитивного подхода к семантике и грамматике).

В западной лингвистической науке структуралистскому и генеративистскому подходу противостоит такое (теперь уже очень мощное) направление, как когнитивная лингвистика (см. подробнее обзор [Рахилина 1998а]). Когнитивная лингвистика предложила ряд плодотворных идей, в частности – идею прототипа. Как показала А. Вежбицкая, идею прототипа не следует абсолютизировать, тем не менее понятие прототипа имеет несомненную эвристическую ценность при решении ряда лингвистических проблем (ср. [Вежбицкая 1996]). В данной работе мы будем использовать понятие прототипического объекта и прототипической ситуации, а также одну из фундаментальных идей когнитивной семантики о принципиально единой природе языковых и других когнитивных механизмов и процессов и об их принципиальной связанности с природой человека.

Если исходить из существования общих принципов организации разных видов человеческой деятельности, включая языковую (от простого – к сложному; от освоенного – к неосвоенному; от "наглядного", наблюдаемого – к абстрактному, ненаблюдаемому, и т.п.), то нужно допустить, что существует сравнительно небольшой круг

* Работа выполнена при поддержке INTAS (проект № 96-0085) и Российского гуманитарного научного фонда (проект № 99-04-00262а).

наиболее освоенных, "обиходных" ситуаций и объектов, в частности – круг "основных", фундаментальных для человека действий, определяемых его основными природными и социальными (в рамках данной культуры) потребностями. Это своего рода прототипический набор базовых видов действий.

Такие базовые действия (а также, разумеется, базовые состояния, события и отношения) описываются основными "корнями", соответствующими основным типам положения в пространстве (*стоять, сидеть, лежать*), основным типам движения (*идти, бежать* и т.д.); основным способам перемещения объекта (*брать, ставить, класть, бросать, нести, тянуть*), основным способам преобразования объекта и воздействия на объект (*резать, рвать, тереть, гнуть, ломать, бить, жечь, мочить* и т.д.) и другим "основным" жизненным ситуациям – биологическим (*есть, пить, спать* и т.п.); посессивным (*дать, взять, иметь* и т.п.), перцептивным (*видеть, слышать*); речевым и др. (для "приставочных" языков типа русского важны также комбинации этих основных корней с основными приставками (ср. *сорвать, выпить, принести* и т.п.). То же самое относится к существительным, обозначающим "основные" объекты; прилагательным, обозначающим базовые свойства; "основным" местоимениям, и т.д.

Затем этот класс основных (и освоенных) объектов и ситуаций постепенно расширяется и пополняется новыми, неосвоенными. Как происходит такое расширение, каким образом языковая способность позволяет человеку описывать с помощью языка все новые жизненные ситуации?

Хорошо известно, что человек не придумывает новых корней (новые корни появляются в языке в результате заимствования либо в результате переразложения или опрощения основ – то есть из "старых" корней). С некоторой долей условности можно сказать, что человек не придумывает и новых слов – он просто использует возможности существующих в языке продуктивных словообразовательных моделей, "активизирует" ранее не использовавшиеся, но потенциально существующие слова. Следовательно, потребность в обозначении новых объектов и ситуаций обеспечивается главным образом (хотя и не абсолютно) за счет использования уже существующих языковых единиц в новых значениях, то есть за счет полисемии.

В настоящей работе, на материале глаголов перемещения объекта из "основного списка" СТАВИТЬ и КЛАСТЬ, мы хотим обсудить основные механизмы семантического развития (образования производных значений) слова, происходящие при его "распространении" на новые типы ситуаций; в первую очередь нас будут интересовать:

– система неметафорических значений глагола;

– роль семантических характеристик актантов в семантике глагола и механизмах семантического сдвига;

– связь производных значений с исходным и возникающая при рассмотрении семантического развития слова проблема инварианта.

2. О ЕДИНСТВЕ МЕХАНИЗМОВ СЕМАНТИЧЕСКОГО СДВИГА

Давно замечено, что не существует жесткой границы между лексикой и грамматикой. Одни и те же значения в разных языках могут выражаться как лексически, так и грамматически. Для когнитивного подхода существование единых механизмов функционирования и преобразования языковых единиц разных типов и разных уровней (лексического и грамматического) – один из основных постулатов. Надо заметить, что в отечественной лингвистике этот постулат уже давно был осознан и реализован, – например, в концепции Ю.Д. Апресяна, предложившего единый подход и единый метаязык (язык толкований) для семантического представления лексических и грамматических значений и для описания взаимодействия этих значений (правила сочетаемости значений лексем со значениями граммем, см. [Апресян 1980]; правда, в основе такого подхода лежит другая идея – идея интегрального описания языка и необходимости взаимной "настройки" словаря и грамматики, см. [Апресян 1986]).

Единство лексики и грамматики обнаруживается и в сфере полисемии.

Существующий в языке набор грамматических показателей – это совокупность характеристик, которые язык (и говорящий) приписывает объектам и ситуациям. В контекст грамматического показателя "вставляется" некоторая лексема; и "на выходе" этой операции лексеме должна быть приписана соответствующая грамматическая характеристика. Например, в контекст показателя единственного или множественного числа вставляется любое "существительное" (корень, основа).

Однако результаты такого соединения не являются простой суммой значений основы и граммемы: в зависимости от семантики основы меняется и интерпретация самого грамматического значения. Только существительные, обозначающие счетные объекты, имеют стандартную интерпретацию числовой формы ('один / больше одного'); у существительных других семантических классов (вещественных, собирательных и т.п.) интерпретация числовой формы меняется.

Аналогичным образом можно рассматривать лексическую систему (в нашем случае – ее глагольную подсистему).

Совокупность глаголов – это тот фонд, который язык предоставляет говорящему для описания мира. Прототипический глагол обозначает динамическую ситуацию – изменение. Основной, базовый лексический фонд задает классификацию ситуаций, а именно – типов изменений, типов событий, которые могут происходить с объектами, подобно тому как "грамматический фонд" задает множество признаков, которые могут быть приписаны в данном языке объектам и ситуациям. "Базовый" глагол в исходном значении можно рассматривать как некоторую семантическую схему, семантическую модель изменения состояния объекта (в результате действия человека или под влиянием других факторов), в которую может быть "подставлен" любой объект. Например, существуют типы изменений ПОСТАВИТЬ, РАЗБИТЬ, ПОДВИНУТЬ, СЖЕЧЬ, и соответствующий глагол описывает, что происходит с объектом, когда его ставят, разбивают, двигают, сжигают и т.д.

В действительности, однако, в ситуации, соответствующей базовому значению глагола, может "принять участие" отнюдь не любой объект, а объект, удовлетворяющий определенным ограничениям. Если бы таких ограничений не было, то по мере появления в опыте и внеязыковой практике человека новых объектов просто расширялся бы круг актантов без изменения значения глагола, т.е. полисемии не существовало бы. На самом деле одновременно происходят два противонаправленных семантических процесса: с одной стороны, круг актантов расширяется, глагол "вбирает" все большее количество новых объектов – и в этом смысле исходное значение и прототипическая ситуация действительно выступают как источник некой "абстрактной схемы", под которую "подводятся" разные объекты; но с другой стороны, происходит "приспособление" глагола к новым типам объектов, семантическое согласование с их признаками, что приводит к более или менее заметному сдвигу значения и формированию новых, производных значений.

Например, действию ПОДНЯТЬ соответствует исходная прототипическая ситуация с определенными параметрами и определенными значениями этих параметров: глагол *поднять* в исходном значении относится обычно к упавшему или лежащему на полу (на земле, т.е. внизу) объекту; человек (обычно) наклоняется, берет этот объект (обычно) рукой и перемещает (обязательно) снизу вверх. Можно *поднять с пола упавшую ручку, кошелек, ключ,* но, например, не (растущий) *цветок* – цветок *срывают* (отделяют от места "прикрепления").

Носитель языка сравнивает подлежащий языковому обозначению "денотативный материал" с прототипом и решает на основании имеющихся у него признаков, "подводим" ли он под прототип и можно ли его обозначить глаголом *поднять*. Если возникает потребность в обозначении ситуаций со сходными значениями каких-то параметров (пусть и не всех), исходная единица "применяется" и к этим ситуациям, ср. *поднять чемодан* (взять не упавший, а просто стоящий на земле объект, чтобы его держать или нести); *поднять руку* (объект – часть тела); *поднять шлагбаум* (объект

прикреплен и может принимать горизонтальное и вертикальное положение) – и т.д. Однако в результате расширения сферы приложимости исходной единицы происходят соответствующие модификации значения.

Роль изменения контекста здесь принципиально та же, что и в грамматике, а сами правила сочетаемости вполне аналогичны правилам соединения грамматических значений с лексическими и базируются на сходных семантических ограничениях: в контексте имен "обычных" (дискретных) объектов глагол имеет основную (исходную) интерпретацию, при изменении типа объекта (например, на вещественный или абстрактный) интерпретация меняется (происходит сдвиг значения). При этом, разумеется, значимые для лексемно-лексемных правил сочетаемости классы лексики гораздо более дробные, одно и то же существительное может входить по разным признакам в разные классы, и т.д. (например, если для грамматики имена предметов и лиц – это один и тот же класс счетных существительных, то для лексики это обычно разные классы с разными свойствами).

Если изменения типа актантов не происходит, то нет причин для изменения значения глагола. Что же касается самих изменений в типах актантов, то это не обязательно категориальный сдвиг, т.е. "радикальная" замена одного класса актантов на другой (ср.: *разбить бокал – разбить надежды*), но и, например, "специализация" того же самого объекта, когда он выступает в особом качестве, как носитель каких-то специальных свойств и тем самым – как другой, новый объект, ср.: *положить деньги в карман – положить деньги в банк; поставить капкан на пол – поставить капкан на лису*. Аналогичные процессы происходят и в грамматике. Так, интерпретация соединения значений граммемы числа и "корня" может меняться не в результате категориального сдвига (например, от счетного, конкретного к вещественному или абстрактному), а под влиянием других факторов – например, при изменении типа референции счетного существительного, ср.: *Опять пришел этот читатель. – Нынешнего читателя интересуют главным образом детективы.*

Таким образом, общим и единым механизмом семантического сдвига для предикатных слов (и других "признаковых" единиц) является

1) изменение типа актанта – и соответствующие изменения ограничений на актанты (синтагматический фактор).

Среди других важных факторов, влияющих на семантические изменения и тип производного значения, можно выделить:

2) семантическую парадигму (класс) глагола и тип исходного значения (парадигматический фактор);

3) семантический процесс (метафорические и метонимические переносы; расширение и сужение значения).

3. ОГРАНИЧЕНИЯ НА АКТАНТЫ В ИСХОДНОМ ЗНАЧЕНИИ

Как исходные, так и производные значения глагола существенным образом связаны с семантическими характеристиками актантов. Поэтому, в принципе, при каждом глаголе должны быть указаны семантические ограничения на актанты, то есть заданы классы объектов (и соответствующих существительных), заполняющих его валентности. Для глаголов действия речь идет прежде всего о валентностях субъекта и объекта (Агенса и Пациенса). Однако в словарях при исходных значениях (в отличие от производных) такие ограничения обычно не указываются. Почему?

Ограничения на субъект не отмечаются в силу их тривиальности: субъектом глаголов действия является лицо, поскольку в прямом, исходном значении они обозначают действие человека.

Однако ограничения на объект (для исходного значения) тоже обычно не оговариваются, что, разумеется, не означает, что такие ограничения отсутствуют и объектом физического действия может быть что угодно. Просто существуют некоторые общие

представления о прототипическом объекте физического действия, которые релевантны на всем семантическом пространстве глаголов действия.

Естественным (и в этом смысле тривиальным, но лингвистически очень существенным) когнитивным основанием для формирования представлений о прототипическом объекте физического действия и для объединения объектов в классы является сам способ обращения человека с объектами. Поскольку большинство действий производятся руками или с помощью рук, обычным, прототипическим объектом физического действия является предмет, который человек может держать в руках или руками и которым он может манипулировать. Именно такие "манипулируемые" предметы составляют самый большой класс объектов физического действия.

Назовем такие ограничения онтологическими импликациями объекта – поскольку они следуют из того, что данный предмет является объектом некоторого действия ("Если человек совершает действие P с объектом Y, значит, физические характеристики (вес/размер и т.п.) Y-а позволяют производить с ним данное действие"). Такие ограничения, конечно, никогда не будут указываться в словарях в силу их очевидности и тривиальности, но они учитываются говорящими как при обозначении действий (формировании языковых выражений), так и при интерпретации языковых выражений.

Конечно, в классе дискретных объектов выделяются более "образцовые", прототипические (такие, как ручки, шляпы, стаканы и яблоки) и менее прототипические, периферийные – это большие и тяжелые объекты (такие, как, например, мешки, телеги, шкафы), или фиксированные объекты (дома, растущие деревья и т.п.). Мешки и шкафы, в отличие от шляп и яблок, – это объекты, по размерам и тяжести сопоставимые с человеческим телом, которые человек обычно не может держать в руках и которые предполагают особые способы обращения с ними. "Трудные" действия, требующие "заметных" усилий, отмечаются, маркируются языком с помощью специальных глаголов, а в словарях у таких глаголов достаточно последовательно выделяются семантические компоненты типа 'с трудом', 'тяжелый' и т.п., ср. *тянуть* (*бревно*) / *тащить* (*мешок*) (vs. *нести чемодан* – а если *тащить чемодан*, значит, он "заметно", ощутимо тяжелый и это специально обозначается); *свалить/повалить* (*столб*); *стянуть* ('медленно или с трудом снять'; МАС) *сапог* (vs. *сбросить пальто*). Конечно, в некоторых ситуациях различия по размеру и весу нерелевантны, как бы нейтрализованы (так, не выделяется двух разных значений *красить* для *красить стену* и *красить табуретку*, хотя в других отношениях эти объекты существенно отличаются, – например, табуретку можно нести и ставить, а стену – нет).

Есть и более конкретные (но тоже вполне тривиальные) ограничения, связанные с тем, что предметы являются объектами каких-то конкретных видов действий. Эти ограничения "согласованы" с семантикой глагола (типом действия) и в каком-то смысле дублируют ее: из того, что X разбил Y, следует, что Y бьется (например, разбить можно чашку, но не бумагу, – и если чашку, то не пластмассовую). Следовательно, прототипическими объектами действия РАЗБИТЬ являются бьющиеся предметы (точнее, те, которые человек МОЖЕТ разбить путем бросания на землю или путем удара обо что-либо, ср.: *разбил ружье о камень* – ударом).

Такие ограничения отражают (а скорее даже – дублируют) "пассивные" свойства объекта – пассивные, потому что Пациенс чему-то подвергается (ср. пассивно-качественное значение ('возможность подвергаться данному типу воздействия/изменения'): *бьется* – 'может быть разбито'; *гнется* – 'может быть согнуто'; и т.п.).

Некоторые типы объектов (в первую очередь – артефакты) имеют специальные свойства и функции, которым соответствуют предикаты, обозначающие их способ функционирования или использования человеком: если нож функционирует, то он режет, если ручка – то она пишет; если яблоко используется человеком – его едят, если шляпа – ее носят, и т.д. Такие существительные в толковании имеют семантический предикат (ср. [Рахилина 1991а; 1991б]), который "согласован" с соответст-

вующим "специальным" глаголом. Так, у слов *шляпа, пальто* и т.д. будет в толковании предикат 'носить', а у соответствующего значения глагола *носить* будет ограничение 'одежда'. Назовем такие ограничения специальными свойствами объекта. Специальные свойства – это функции артефактов, для выполнения которых они (артефакты) и создаются человеком, а также свойства "естественных" объектов, которые человек использует специальным образом. Такие ограничения, как специальные свойства объекта, типичны для производных значений и часто (хотя и не всегда) отмечаются в словарях.

Дискретные физические объекты далее будем называть просто **физическими объектами,** или **предметами.**

Предметам противопоставлены другие классы объектов, которые имеют особые свойства и обслуживаются либо особыми значениями глаголов физического действия, либо специальными предикатами:

– **вещества** (которые ведут себя иначе, чем дискретные объекты);

– **люди** (действиям, даже физическим, с людьми, равно как и с другими живыми существами, обычно соответствуют особые значения глаголов);

– **части тела человека.**

Кроме того, все физические объекты противопоставлены

– **нефизическим** (которые, попадая в сферу действия физических глаголов, превращают их в метафоры).

4. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

Итак, глагол в исходном значении задает определенный тип базовой ситуации – то есть тип события, которое может произойти с объектом. Это такие типы ситуаций, как местонахождение, перемещение, деление на части, создание, уничтожение и т.п. Однако глаголов, которые служили бы общим обозначением такой ситуации, не существует (по крайней мере, в русском языке). Например, есть ситуация деления объекта на части, но нет общего глагола со значением деления на части (таковым не является и сам глагол *делить*), а есть несколько конкретных глаголов, которые фиксируют несколько конкретных способов деления на части – *рвать, резать, пилить* и т.д.

Точно так же, есть общая семантическая схема 'поместить что куда' (или 'каузировать находиться где'). Эта схема имеет различные денотативные реализации. Например, есть семантическое противопоставление по способу перемещения объекта, ср. *положить* (рукой) vs. *бросить* (объект летит/падает). Есть другое семантическое противопоставление, связанное с конечным положением объекта – вертикальным или горизонтальным, которое реализуется в виде двух разных глаголов *ставить* vs. *класть*.

Таким образом, общая семантическая схема (тип ситуации) представлена (концептуализована) целой семантической группой (парадигмой) глаголов, а конкретные глаголы такой группы соответствуют различным "регулярным" (культурно значимым и денотативно различимым) реализациям, спецификациям, денотативным вариантам этой ситуации (подобно тому как есть фонема и есть ее контекстные реализации). От вхождения в различные парадигмы и внутриязыковые оппозиции (то есть от "общей идеи" семантической группы и "частных" дифференциальных признаков в рамках той или иной оппозиции) зависит не только тот набор характеристик ситуации, который выделен и закреплен данной языковой единицей (как это было показано еще Ф. де Соссюром), но и состав ее производных значений.

5. СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

При рассмотрении семантических процессов, приводящих к изменению исходного значения, в лингвистической литературе, наряду с метафорическими и метонимическими переносами, обычно выделяются еще такие типы семантических сдвигов, как

генерализация и специализация (ср. [Dirven, Verspoor 1998: 34–36]), или "расширение" и "сужение" значения (см. [Ullmann 1963; Гак 1972]).

Поскольку очень большое количество значений глаголов перемещения объекта не являются ни метафорическими, ни метонимическими, то их, очевидно, следует трактовать как расширение или сужение исходного значения. Однако что значит "расширение" и "сужение" применительно к лингвистическому материалу? Мы заключаем эти термины в кавычки, поскольку расширение и сужение значения (понятия), будучи логическими операциями, не вполне соответствуют "эмпирическим" принципам работы языковых механизмов и их не следует понимать слишком прямолинейно и буквально. Как показывает анализ языкового материала, "логическое" расширение и сужение значения (увеличение или уменьшение объема понятия) не характерно для процессов семантической деривации и в чистом виде встречается крайне редко.

К немногим известным нам случаям чистого расширения можно отнести семантическое развитие слова *тренажер* (как оно зафиксировано в словаре "Новые слова и значения", М., 1984): в современном значении это "Учебный аппарат для отработки каких-либо профессиональных навыков", первоначально это слово относилось к аппаратам, на которых летчики отрабатывают навыки полета. Здесь действительно увеличивается объем понятия. Однако, во-первых, очевидно, что слово *тренажер* в силу своей внутренней формы может использоваться при обозначении любого механизма для отработки каких-либо навыков и лишь по случайным причинам (относящимся к развитию техники, а не языка) первоначально обозначало не весь класс, а лишь один подкласс таких механизмов; во-вторых, *тренажер* – это существительное (то есть слово, обозначающее класс объектов, у которого действительно есть объем). К случаям специализации значения, приводящим к сужению объема (экстенсионала), можно отнести *шарик* в значении 'рабочая деталь шариковой ручки' (т.е. это более узкий и специальный подкласс шариков).

Глаголы устроены иначе, и здесь приходится учитывать одновременно два фактора: изменение значения глагола и изменение класса референтов, к которому приложимо это значение.

Процесс расширения значения глагола мог бы выглядеть следующим образом. *Сорвать* предполагает класс растущих объектов типа цветов и плодов и толкуется в словаре так: 'надломив, отделить от стебля, корня и т.п. (ветку, цветок, лист и т.п.)' (МАС). Если значение утратит специфичный признак ('надломив') и сохранит общий смысл 'отделить от корня', то одновременно с этим должен расшириться и класс референтов (от цветов, плодов и листьев до любых растений): 'отделить от корня то, что растет, растение'. Но под это новое, "расширенное" значение будут "подпадать" и ситуации типа *срубить дерево* (ведь это тоже 'отделить от места прикрепления'). Очевидно, что практически этого никогда не происходит. Значение глагола действительно может расширяться, становиться более "абстрактным" в смысле утраты каких-то специфичных, конкретных признаков исходной ситуации. Однако при этом обычно появляются новые признаки; кроме того, происходит не расширение исходного класса референтов, а замена на другой (причем очень часто не на более широкий, а на более узкий – если эти классы вообще сопоставимы).

Использование термина "генерализация" (вместо "расширение") тоже мало что проясняет. Если под "генерализацией" понимать переход от более конкретных объектов к более абстрактным, то лингвистам хорошо известен тот факт, что более абстрактные значения нередко имеют более лексикализованную сочетаемость (по сравнению с более конкретными исходными). Если в исходном значении сочетаемость семантическая, т.е. преполагает открытый (и в этом смысле относительно широкий) класс объектов, удовлетворяющих семантическим требованиям глагола, то во многих производных значениях сочетаемость лексическая или даже фразеологическая (то есть задается списком имен, подлежащих запоминанию), – и в этом смысле более узкая.

Несколько более ясный смысл можно придать термину "специализация" – "те же" объекты (подкласс исходного класса) как носители специальных свойств, см. разделы 2

и 3. Например, значение *поднять руку* в каком-то смысле является более узким, чем основное значение *поднять* (*с пола* – что угодно), так как распространяется только на "специальные объекты"– части тела. Ситуацию поднятия части тела можно рассматривать как частный случай (подкласс) ситуации перемещения объектов из нижнего положения в верхнее. Однако значение *поднять руку* не является "частным случаем" (буквальным сужением) исходного значения (*поднять ручку с пола*), так как руки и другие части тела – это не подкласс объектов, которые поднимают с пола; скорее оба эти значения являются вариантами реализации и конкретизации некоторой более общей идеи, семантической модели – 'переместить объект в более верхнее положение'.

Таким образом, термины "расширение" и "сужение" значения в буквальном, логическом смысле к производным значениям глаголов неприменимы, и ниже они будут использоваться с учетом сделанных оговорок.

6. ОБЗОР СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ГЛАГОЛОВ *КЛАСТЬ* и *СТАВИТЬ*

Параметры прототипической ситуации

Способ. Глаголы *положить* и *поставить* в исходном значении и соответствующие прототипические ситуации предполагают перемещение объекта рукой.

Место/Пространство. Важный признак для описания системы значений глагола *положить* – характеристика Места (пространства), в которое помещается Объект. Основное семантическое противопоставление здесь – открытое место (плоскость) vs. закрытое пространство (вместилище). Отметим, что изменение типа пространства (наряду с изменением типа объекта) – один из наиболее распространенных семантических сдвигов в значениях глаголов перемещения объекта и вообще глаголов, содержащих смысл 'движение', ср.: *выбросить записку в окно/из окна* ('переместить из более закрытого физического пространства в более открытое') vs. *выбросить старые ботинки* ('удалить из личной сферы' – другой тип пространства); *попасть в квартиру* vs. *попасть в институт; В коридоре он встретил Машу* vs. *В этом городе он встретил свою будущую жену* (подробнее об этом см. [Кустова 1999а; 1999б]).

Для *ставить* признак открытости / закрытости пространства не столь существен, но важен (как и для *класть*) другой, семантически связанный с ним признак актуальной наблюдаемости, воспринимаемости ("видимости") объекта.

Цель – важный параметр, который меняет свое значение в процессе семантической деривации. Мы будем различать тривиальную цель, которая обычно не отмечается в словаре, так как совпадает с результатом (*положить* – 'чтобы лежало'), и специальные цели. Тривиальная цель, конечно, не исчерпывается результатом, а имеет какие-то семантические приращения ('чтобы не держать в руках, освободить руки' – *Что ты держишь чемодан, поставь*; 'для временного "хранения" вещи' – *положи пока куда-нибудь, положи на виду*; 'для более длительного хранения' – *положи инструменты на место* → 'где им полагается лежать'; и т.п.).

Семантическая парадигма

Для системы производных значений *класть* и *ставить* важна не только их противопоставленность друг другу, но и их производность (во всяком случае – семантическая) от *лежать* и *стоять*. Если мы выделим две фазы в действии *положить / поставить* – динамическую фазу ('X поместил Y в Место') и фазу результата, – то последняя будет описываться предикатами *лежать / стоять* ('Y лежит / стоит'). Подробный анализ семантических закономерностей употребления "позиционных" предикатов *лежать* и *стоять* дан в работе [Рахилина 1998б], где показано, что в

большинстве значений *стоять* подчеркивается функциональность объекта (ср. *тарелки стоят на столе* – готовы к использованию), а при употреблении *лежать* подчеркивается, что объект "как бы отделен от своей функции" [там же: 72], не используется (ср. *Где у вас лежат тарелки*?). Для нашего материала важно как "пространственное", или "дескриптивное", значение *лежать* и *стоять* ('находиться в горизонтальном / вертикальном положении', ср. *лежать на диване, бревно лежало на дороге; лыжи стояли в углу*), так и "функциональное", которое мы иногда будем называть "классифицирующим" ('находиться' – применительно к определенным классам объектов в определенном состоянии, ср. *деньги лежат в банке; в конце стоит точка*).

I. Исходное значение – прототипическая ситуация[1]

КЛАСТЬ 1.1 'Помещать куда-л. в лежачем положении': *Клади щенка на пол; Зачем кладешь бревно на дороге*?

Объект – дискретный, неприкрепленный, относительно небольшой физический предмет, который человек в состоянии держать в руке (в руках);

Место – открытое (плоское);

Цель – тривиальная; обычно – поместить Объект в Место, откуда его при необходимости можно будет взять (так сказать, для хранения);

предикат динамической фазы – 'переместить рукой / руками';

предикат фазы результата – 'Y лежит' = 'находится на поверхности Места в горизонтальном положении';

управление глагола – *положить НА*.

Компонент 'в горизонтальном положении' согласован с характеристикой Места (открытое и плоское) и характеристикой объекта – это такой объект, который может принимать как горизонтальное, так и вертикальное положение (т.е. лежать или стоять: книга – на столе или на полке, дерево – растущее или срубленное, и т.п.) или который может быть размещен на "плоскости" и в норме, по своим топологическим характеристикам, *лежит* (лист бумаги, ткань и т.п.).

СТАВИТЬ 1.1. 'Придавать чему-л. стоячее положение, располагать, укреплять в стоячем, вертикальном положении': *ставить лестницу к стене; ставить книги в шкаф.*

Именно в значении 'лежать на' глагол *лежать* (соответственно – *класть*) противопоставлен глаголу *стоять* (соответственно – *ставить*) по признаку 'горизонтальное vs. вертикальное положение'. При этом для *класть 1.1.* важна не просто "открытость" Места (*на*), а зрительная воспринимаемость (актуальное восприятие) объекта – как, между прочим, и для *ставить 1.1.* (независимо от управления – *ставить в / на*), см. ниже.

Компонент 'горизонтальное/вертикальное положение объекта' в исходном значении акцентирован, коммуникативно выделен.

II. "Расширение"

КЛАСТЬ 2.1. 'Помещать куда-л.': *класть деньги в карман / вещи в чемодан.*

Объект – дискретный неприкрепленный физический предмет, который человек в состоянии держать в руке (в руках);

Место – закрытое пространство (вместилище);

Цель – временное нахождение (хранение) Объекта в Месте;

предикат динамической фазы – 'переместить рукой / руками';

---

[1] Здесь и далее толкования приводятся из МАС, а также некоторые примеры (в сокращении).

предикат фазы результата – 'Y лежит' = 'находится';
управление глагола – *положить B*.

Исчезает или становится нерелевантной характеристика Y–а "в горизонтальном положении". Объекты могут быть те же самые (ср.: *класть деньги на стол – класть деньги в кошелек*), но меняется тип пространства (закрытое) и значение "внутреннего" предиката 'лежать' – с дескриптивного на классифицирующее. Кроме того, *класть 2.1.* может относиться и к таким объектам, которые по своим топологическим характеристикам *стоят* – в этом случае актуализируется "функциональное" значение внутреннего предиката 'лежать' ('не использоваться, не функционировать'), ср. *посуда стоит на столе – посуда лежит в шкафу*. Однако для *класть / лежать*, как и для *ставить / стоять* чрезвычайно важен еще один признак – зрительная воспринимаемость, актуальная наблюдаемость объекта. Например, кастрюля может стоять на столе и лежать в шкафу (не используется, не функционирует, ср.: *Где лежит большая кастрюля?*). Но если мы заглядываем в шкаф, мы вряд ли скажем *Вот лежит кастрюля;* скорее – *Вот стоит кастрюля*. Ботинок на полу может и *лежать*, и *стоять* (хотя он не используется, но его видно); ботинок в коробке *лежит*; книги *лежат в портфеле* (в закрытом пространстве), даже если они расположены вертикально, так как их не видно. Но если они "видны", зрительно воспринимаются, "пересиливает" пространственный аспект: *Одни книги стоят, а другие лежат* значит именно 'вертикально' и 'горизонтально' в ситуации, когда мы их видим или хотя бы представляем (а не то, что одни книги "функционируют", а другие – нет).

Таким образом, на употребление *класть / лежать* и *ставить / стоять* влияет идея актуальной воспринимаемости ('не видно' / 'видно'). Перцептивную составляющую едва ли можно считать компонентом значения глагола, но она безусловно присутствует в прототипической ситуации, причем, имеет разное происхождение – у *лежать* это "открытость" места, у *стоять* – вертикальность, "возвышенность" положения: *класть 1.1.* – 'видно' (потому что на открытом месте, "на виду"); *ставить 1.1.* – 'видно' (потому что стоящий, вертикальный, возвышающийся предмет виден лучше, чем лежащий); *класть 2.1.* – 'не видно' (потому что в закрытом пространстве). При этом "невидность" (нахождение в закрытом пространстве) и "нефункционирование", безусловно, связаны (как и "видность" с функционированием). Предметы, которыми не пользуются (которые не функционируют, то есть "лежат" в смысле [Рахилина 1998б]), обычно помещаются для хранения в специальные "контейнеры" (коробки, футляры, холодильники) или специальные помещения – хранилища (чуланы, сараи, погреба, гаражи и т.п., ср. *склад* – от *класть, складывать*), – то есть в такие места, где их, вообще говоря, не видно; тем самым предметы, которые "лежат" (в смысле 'не используются'), находятся не "на виду" – в отличие от предметов, которые "стоят".

Если исходить из толкования значения 2.1. в МАС ('помещать куда-л.'), то это типичный случай расширения: значение, утрачивая признак "в горизонтальном положении", тем самым расширяет сферу приложимости ('поместить что угодно куда угодно в каком угодно положении'). Это, конечно же, не соответствует действительности: во-первых, глагола с такой широкой сочетаемостью в русском языке, по-видимому, вообще не существует (например, использование глагола *поместить* применительно к такому широкому кругу объектов приводит к образованию неидиоматичных и даже неправильных выражений, ср. *?поместил рубль в кошелек; ?поместил платок в карман; *поместил сахар в чай;* и т.п.); во-вторых, значение *класть 2.1.* в таком случае не отличалось бы от *ставить 1.2.* ('помещать куда-л., располагать где-л.'), чего не происходит. На самом деле значение *положить 2.1* (которое, может быть, и является в каком-то смысле более "общим" по сравнению с *положить 1*) утрачивает один признак ('горизонтальное положение'), но одновременно приобретает другой ('закрытое пространство').

СТАВИТЬ 1.2. 'Помещать куда-л., располагать где-л.': *ставить посуду на стол / утюг на плиту / кресло к окну / автомобиль в гараж // микстуру на свет / больные ноги в теплую воду.*

Ставить 1.2. применяется к предметам, которые в силу своих топологических свойств имеют некоторую стандартную пространственную позицию – в норме "стоят" (ср. стаканы, утюги, кресла, машины); а если они лежат "на боку", то это ненормальное, "перевернутое", опрокинутое положение. Таким образом, *ставить 1.2.* содержит те же компоненты, что и *ставить 1.1.*: 'вертикальность, находиться, место'. При этом 'вертикальность' из дифференциального компонента превращается в интегральный, "сопровождающий" (в "наполнитель"), а коммуникативный акцент переносится на Место: утюги, кресла и машины *ставят*, а не *кладут;* и важно не то, что они стоят, а где именно они стоят (куда именно их ставят).

Здесь возникает некоторая семантическая коллизия между 'вертикальностью' и 'функциональностью' (в смысле [Рахилина 1998б]). На стол тарелки можно только *поставить*, но в буфет можно и *положить* ('лежат' = 'не используются'). Однако машину в гараж можно только *поставить*, но не **положить:* машина (если не "на боку") всегда *стоит* – не важно, стоит она на улице или в гараже (закрытом пространстве), используется или не используется. То есть у больших, "не-манипулируемых" объектов "пересиливает" пространственная интерпретация (у небольших, но топологически "стоящих" часто происходит то же самое: например, чайник в шкафу, скорее, *стоит*).

Другой важный фактор, регулирующий выбор *положить* (*лежать*) или *поставить* (*стоять*) – актуальная воспринимаемость, "видимость" объекта (см. выше).

Ограничение на способ (руками/рукой) может утрачиваться (и это один из признаков расширения), ср. *поставь машину в гараж* = 'отгони'.

Изменения может претерпевать и компонент 'Место', но не такие, как у *положить.* Открытость/закрытость пространства здесь несущественна (ср. *поставить тарелку на стол / под стол / в холодильник; кресло к окну / у стены* и т.д.). Но может быть существенно то, что предмет ставят не просто в "место", а в место со специальными свойствами, специальными условиями пребывания объекта (на свет / в холодильник / в теплую воду), ср. *Поставь цветы в вазу;* подразумевается – в воду, а не в пустую вазу (ср. также еще одну характерную ситуацию, не указанную в словаре: *поставь чай / чайник; поставила суп* (вариться); *поставь воду для картошки; поставь кастрюлю на слабый огонь* и т.п. – означает 'поставить на зажженную плиту (на огонь/на газ) с целью подогреть / вскипятить / сварить'). Таким образом, компонент 'Место' может "специализироваться" и осложняться компонентом 'условия' и / или нетривиальной целью – а это характерно для сужения значения (специализации), поэтому "расширение" стоит в кавычках. Возникает также вопрос, не следует ли здесь выделить два разных подзначения: "на стол" ('место') vs. "на свет" ('условия'). Однако Место настолько часто имеет специальные свойства, что эти подзначения было бы очень трудно последовательно разграничить.

III. Специализация

ЕДА и ПОСУДА (и другие предметы "обихода")

КЛАСТЬ	***СТАВИТЬ***
5.1. 'Накладывать (пищу)': *положить каши на/в тарелку.*	1.3. 'Давать, подавать кому-л. (какие-л. предметы, посуду)': *ставь чашку; (ставили ему кресло).* 1.4. 'Подавать на стол для еды': *ставь на стол все, что есть.* 1.5. 'Угощать': *ставь пол-литра; ставь угощение.*

(а). КЛАСТЬ / ПОЛОЖИТЬ: *положи каши в мою тарелку / положи мне еще котлету.*

Специальный объект – пища;

Дополнительное ограничение – нежидкая (ср. **положить супа / чаю*);

Специальное Место – посуда;

Дополнительное ограничение – посуда, из которой едят, а не в которой готовят: *положи мне еще котлету* = на тарелку; но: *положи котлету обратно на сковородку; положи яблоко на стол* – это исходное значение 1.1.;

Еще одно ограничение: еда тоже обычно такая, которую едят из тарелки (а не держат в руке), ср.: *?положи мне еще хлеба → дай, отрежь* (но если в тарелку – можно);

Специальная цель – для еды.

(б). СТАВИТЬ / ПОСТАВИТЬ

Специальный объект – в основном, посуда (обычно – с едой), но, например, не твердая еда: *ставь ему суп* = тарелку (или кастрюлю) с супом; но не **ставь ему яблоко* – яблоко не может "стоять".

У *класть* может появляться еще один (факультативный) участник – Инструмент (*класть кашу ложкой*). Но более важно и интересно, что у обоих глаголов появляется новый (по сравнению с исходным значением) и обязательный актант – Реципиент (R) – "КОМУ" (получатель и потребитель еды – в частном случае кореферентный Агенсу, ср. *положил себе еще каши;* у *положить* Реципиент менее обязательный, чем у *поставить* и может синтаксически не выражаться, ср. *Положила каши в / на тарелку;* но это все равно для еды – поэтому потребитель "просвечивает" и тут). Тем самым "потребительское" значение *класть / ставить* становится синонимом (или псевдосинонимом) ДАТЬ (показательно, что *ставить* и толкуется через 'давать'). Этот сдвиг значения является весьма симптоматичным и иллюстрирует более общий механизм семантических преобразований, который состоит в следующем.

Получатель – это участник следующей, смежной во времени ситуации (я кладу – он ест). Такой дательный есть у очень многих глаголов (*связать кому свитер; пришить кому пуговицу; приколоть кому значок* и т.п.). Обычно это сирконстант, но у некоторых глаголов, как у *класть / ставить кому,* реципиент втягивается в число основных участников, т.е. это связь ситуаций метонимического типа (смежность во времени), хотя само значение не метонимическое. Метонимическим было бы обозначение глаголом *ставить* (*R-у еду*) смежной ситуации "R ест", чего не происходит. Тем не менее эта ситуация ("есть"), хотя и в качестве цели ('для еды'), вовлечена в значение *ставить / класть.*

Почему ситуация ДАВАТЬ Y R-у может обозначаться глаголом перемещения объекта СТАВИТЬ / КЛАСТЬ? Ответ очевиден: потому что передача физических объектов предполагает их физическое же перемещение от старого владельца к новому (нельзя утверждать *Я дал ему ключи,* если ключи продолжают оставаться у меня в кармане). Ситуация ДАТЬ имеет разные аспекты: собственно перемещение физического объекта; изменение владельца; разрешение/согласие (речевой компонент, ср. [Rozina 1998]). Сам глагол *дать* акцентирует изменение обладателя, владельца (хотя бы временное). Но у "давания" есть способ, и эту ситуацию можно описать другим глаголом, акцентирующим способ (*вручать, ставить, класть*). Обычно вещь дают в руки ("вручают"), но еду обычно кладут в посуду и потом эту посуду ставят перед реципиентом. Давать способом "ставить" можно не только посуду, но и другие вещи – при условии, что они действительно *стоят,* ср. пример из МАС *ставили ему кресло.*

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА (и цели)

ПОЛОЖИТЬ 2.2. 'Помещать на хранение, вносить (в банк, в сберкассу и т.п.)': *положить деньги в банк.*

Объект – деньги, ценности;

Место – специальное учреждение, принимающее на хранение деньги и ценности;

Цель – хранение (это единственный случай из всех значений *класть*, когда цель указана в словаре).

ПОЛОЖИТЬ 2.3. 'Помещать, устраивать (в больницу, госпиталь, клинику)': *класть в больницу*.

Объект – человек;

Место – лечебное учреждение;

Цель – лечение.

Здесь инициатором сдвига значения является семантика Места: объект имеет специальное свойство (признак), но это специальное свойство (деньги – 'ценность'; человек – 'болен') и специальная цель перемещения ('для хранения'; 'для лечения') выявляется именно в контексте обозначения Места, которое включает в свою семантику соответствующие свойства и цели и активизирует согласованные с ними признаки в Объекте.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
(устанавливать для работы, функционирования)

СТАВИТЬ 7.1. 'Укреплять, устанавливать для работы, действия': *поставить телефон / счетчик / дверь / решетки на окна / дисковод / новый замок / капкан на лис* (но: *заложить мину*).

К этому же значению 'для действия, функционирования' примыкают:

СТАВИТЬ 7.2. 'Накладывать, прикладывать к какой-л. части тела с лечебными целями': *ставить горчичники / банки / пиявки /компресс*.

Специальная цель (функция) – 'для лечения'.

СТАВИТЬ 7.3. 'Приделывать, прикреплять к чему-л. при изготовлении, починке': *ставить подметки / набойку / шелковую подкладку / заплату на рубаху*.

Инициатор сдвига значения – семантика объекта: это обычно артефакт (или объект, приравниваемый к артефакту по типу использования, ср. банки и пиявки как лечебные средства), который имеет определенную функцию и "устанавливается" в соответствующем месте для выполнения этой функции. Место является здесь производным от функции: объекты данного класса *ставят* в те места, где они и будут выполнять свою функцию: дисковод – в компьютер; капкан на лис – там, где водятся лисы; горчичники и банки – туда, где нужно лечить; заплату – туда, где порвалось; и т.д.

Словарное толкование *ставить 7.2.* (где используются компоненты 'наКЛАДывать', 'приКЛАДывать'; а также 8.1. 'наносить на поверхность; сажать (пятна, синяки)' с компонентом 'поверхность', см. ниже) наводят на мысль о нейтрализации противопоставления *ставить–класть*. В действительности нейтрализации нет: нельзя **ставить краску / пудру (на лоб)* или **класть горчичники / синяки / пятна*.

Значение *ставить 7* ('ставить телефон / горчичники / набойки' и т.п.) основано на функциональной идее (в смысле [Рахилина 1998б]): все эти вещи (телефоны, горчичники, набойки) "работают", действуют, функционируют, служат каким-то целям – и в этом смысле "стоят". Это значение не имеет вполне симметричного аналога среди значений *положить* (разве что *положить в долгий ящик* – 'не использовать'; ср. также разговорно-газетное выражение *промышленность лежит* – 'не функционирует').

В случае *поставить горчичники / подкладку* у языка есть выбор между физическим положением объекта (его прикладывают / прикрепляют к поверхности) и его функцией, и этот выбор делается в пользу функции. Впрочем, так происходит не всегда, например, грелка функционирует так же, как горчичник, однако горчичники и компрессы ставят, а грелки кладут: *Положите* (но не **поставьте*) *больному грелку на*

грудь. По-видимому, это различие не является случайным распределением значений, а имеет объяснение. Ставят то, положение чего так или иначе фиксировано: банки, горчичники, заплатки, набойки (ср. компонент 'укреплять' в *ставить 7.1.*, который активизируется и в ряде других производных значений; ср. также *устойчивость; устоять; установление; поставить на своем* и т.п.). Если объект не фиксирован, то выбирается предикат не функциональный, а пространственный, ср. *класть грелку; К ушибленному месту надо сразу же приложить пятак* (и даже фиксированный объект иногда концептуализуется "пространственно", а не "функционально", ср. *наложить шину, повязку*).

ЧАСТЬ ТЕЛА – ЧАСТЬ МЕХАНИЗМА – "ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ" – НАЛАДКА

СТАВИТЬ 6.1. 'Придавать какое-л. положение чему-л., располагать каким-л. образом'; *ставить ногу на носок / ставить пятки вместе / ставить ноги по-строевому*.

Как видно из примеров (но не из толкования!) МАС, объектом здесь является часть тела, причем та, которая стоит (и на которой стоят) – нога или часть ноги (носок, пятка). У *класть* такого значения в словаре не выделяется, – между тем очевидно, что из системных соображений его следовало бы выделить (ср. *положить голову на подушку; руку на плечо; ноги на стол*), так как вообще отдельное значение для объекта-части тела достаточно последовательно выделяется у разных глаголов перемещения объекта (*поставить ногу на ступеньку; поднять голову; опустить руку; повернуть голову;* и т.п.).

СТАВИТЬ 6.2. 'Приводить в нужное, правильное положение, состояние для какой-либо работы, деятельности': (а) *ставить часы*. Ср. также: *поставь будильник на семь* (= 'заведи звонок'); *поставь холодильник на тройку* (= 'поверни регулятор холода'); но: **поставь радио на полную громкость* → *Сделай радио погромче*. (б) *Ставить руку начинающему пианисту / ставить голос певцу*.

Голос нельзя просто "привести в правильное положение" подобно стрелке часов; здесь речь идет о развитии какой-то способности, "налаживании" навыков какой-то деятельности, ср. также *ставить удар левой* (*боксеру*).

Таким образом, в значении 6.2 объединяются разные контексты (детали приборов и "внутренние механизмы" и способности человека), которые, возможно, следовало бы развести; но зато благодаря такому объединению хорошо прослеживается семантический переход от механического приведения прибора в нужное, правильное, функциональное состояние к приведению в нужное, правильное состояние какой-либо способности человека, а от него – к налаживанию вообще:

СТАВИТЬ 10.1. 'Налаживать, организовывать': *Ставил литье на Мотовилихе / Все на приске придется ставить по-новому / Показал, как надо ставить театральное дело*.

Из этой же серии примеры типа *У вас плохо поставлена работа с населением*.

СТАВИТЬ 11. 'Осуществлять постановку на сцене': *ставить оперу / спектакль*. – соединяет в себе "организацию" ("налаживание") и "зримость", "зрелищность" (ср. *представить, представление* – 'то, что перед глазами'; см. ниже).

ВЕЩЕСТВО – ПОВЕРХНОСТЬ – ЗНАК

КЛАСТЬ	***СТАВИТЬ***
3. 'Накладывать слой чего-л. (краски, пудры); наносить (черты, штрихи)': *класть краску на холст; клал обрывистые штрихи.*	8.1. 'Наносить на поверхность; сажать (пятна, синяки)'

КЛАСТЬ 3. 'Накладывать слой'.

Объект – вещество.

Семантический сдвиг в значении *класть* (совершенно закономерный) объясняется изменением категориальной характеристики объекта: предмет → вещество. Это вещество (краска, пудра) в соответствующей ситуации является Средством: *красить краской, пудрить пудрой*. Как было показано в [Кустова 1997], вещество типа краски имеет двоякую природу и двоякую роль в ситуации физического действия. С одной стороны, оно обладает свойством, воздействующим на Пациенса (краска придает Пациенсу свой цвет), но с другой, оно само подвергается воздействию (перемещению на поверхность Пациенса-Места), и в этом смысле вещество – один из пациенсов ("пассивных", претерпевающих участников ситуации). В русском языке Средство может продвигаться в позицию подлежащего (синтаксического субъекта) – *краска красит, клей клеит* и т.п., но не в позицию прямого дополнения, то есть не может кодироваться как Пациенс (**красить краску, *клеить клей, *мыть воду*). Тем не менее, поскольку у Средства есть пациентная составляющая, говорящий может ее акцентировать; но для этого придется использовать другой глагол. Именно такую функцию выполняют производные значения глаголов *класть, накладывать, наносить (краску / пудру / мазь / смазочное масло* и т.п.).

Отметим, что здесь, как и в случае с грелкой, снова побеждает не "функциональный" компонент, а "пространственный". Краску наносят, несомненно, для того, чтобы она функционировала ("окрашивала"), то есть уместным был бы выбор предиката *ставить;* однако вещество слишком отличается по своим категориальным свойствам от дискретных объектов: оно распространяется по поверхности – и поэтому *лежит*.

Таким образом, ключевыми компонентами *класть 3*. являются 'вещество' и 'поверхность', даже 'плоскость' (размещение вещества на "плоской", т.е. обозримой поверхности – не в закрытом пространстве), что унаследовано от *лежать*, поэтому вполне естественно и закономерно "прояснение" у *класть* коннотации обозримости, зрительной воспринимаемости.

СТАВИТЬ 8.1. 'Наносить на поверхность; сажать (пятна, синяки)'.

Синяки и пятна человек не перемещает с одного места на другое, так что *ставить* здесь означает просто 'каузировать находиться', причем каузация неконтролируемая (даже в случае *ставить синяки* контролироваться может только сам удар, но не "постановка" синяка).

Синяки и пятна – вещи абсолютно "бесполезные" (и даже вредные), у них нет функции, поэтому они не могут функционировать (служить для чего-то) так, как телефон или капкан. Синяки и пятна "стоят" в бытийном смысле – они находятся на поверхности чего-либо, имеются, существуют. Аналогичное бытийное значение, как нам кажется, можно усматривать в случае *стоит жара; стоят морозы* ('имеют место').

При этом синяки, пятна и кляксы находятся на поверхности чего-либо, а для описания такой ситуации существует специальный глагол *класть (положить)*. Так что выбор глагола *ставить* должен иметь какие-то дополнительные объяснения.

Одним из таких объяснений, возможно, является "зрительная", "перцептивная" импликация 'видно', которая есть у *стоять* и унаследована *ставить*: синяки и пятна, помимо прочего, видны, "на виду", они бросаются в глаза, привлекают внимание.

Эта импликация активизируется в целом ряде производных значений (от "физических" до самых абстрактных).

Кроме того, важна, по-видимому, идея "фиксированного" положения.

КЛАСТЬ	***СТАВИТЬ***
4.1. 'Ставить какой-л. знак, метку, делать отпечаток чего-л.': *класть штамп / штемпель / печать / клеймо.*	8.2. 'Изображать на письме, делать оттиск на чем-л., где-л.': *ставить печать / подпись / знаки препинания.*

У *класть*, как и у *ставить*, есть значение 'делать знак, отпечаток' (4.1) (это значение метонимическое – класть печать на бумагу или другую поверхность и оставлять след), но оно, по-видимому, выходит из употребления, поэтому сосредоточимся на *ставить*.

Ставить печать тоже может иметь метонимическое объяснение: печать как предмет ставят на бумагу, и на тот "след", который она оставляет, метонимически переносится предикат *ставить*. Однако другие знаки – знаки препинания, подписи, значки и пометки на полях – "рисуют", изображают. Конечно, здесь обнаруживается и "функциональное" значение *стоять:* когда знаки препинания стоят, они функционируют. Однако это значение нельзя, как кажется, полностью свести к функциональной составляющей. Ведь буквы тоже функционируют, однако к буквам в общем случае не применяются *ставить / стоять*, о них говорят: *писать/написаны*. Почему буквы *пишут*, а знаки *ставят*?

Знаки препинания (как и другие знаки – печати, подписи, пометки на полях) – это особые, в каком-то смысле инородные элементы текста, отличные от букв и слов: они выделены, отделены, обособлены от остального текста. Их "привносят" в текст как бы извне – "ставят", вставляют. Функция знаков препинания – служить "препоной", каузировать остановку при движении по тексту. И для того, чтобы привлекать внимание, они должны быть отделенными от остального текста, – т.е. "видными". То же относится и к другим специальным знакам и значкам (ср.: *Поставьте ударение на третьем слоге*).

В то же время в определенных ситуациях и про буквы, и даже про слова можно сказать *стоять / поставить*. Обычно такой "подход" связан с какими-то особыми операциями на пространстве текста (не просто чтение и не просто письмо).

Во-первых, буквы и слова тоже можно "вставлять", привносить извне, если их нет в тексте, ср.: *вставьте пропущенные буквы*.

Во-вторых, буквы и слова иногда специально рассматривают, на них останавливают внимание, когда текст уже написан – и тогда они становятся выделенными, отдельными, обособленными от остального текста знаками: *Слова стоят очень близко, почти вплотную; На конце стоит мягкий знак; Почему у тебя после Ц стоит Ы?*; но: *В корне ЛАГ пишется* (не "*стоит*") *А*. Вообще, *ставить / стоять* применимо к знакам написанным (которые мы видим), а не произносимым (которые мы слышим). На письме можно *поставить ударение / запятую*, но при произнесении нельзя **поставить ударение / паузу* – можно только *сделать ударение / акцент / паузу* (и это является, на наш взгляд, вкладом импликации 'видно').

Наконец, слова могут рассматриваться как объекты манипулирования, и тогда к ним тоже применимо *ставить: модальный глагол ставится / поставьте перед смысловым*.

В некоторых контекстах активизируется смысл 'фиксированность, закрепленность', если угодно – 'статичность', ср.: *Суффикс – это часть слова, которая стоит после корня* (рассматривается статическое, фиксированное положение в слове); *Суффикс – это часть слова, которая идет после корня* (происходит мысленное движение от начала к концу слова).

IV. Абстрактные объекты

СТАВИТЬ 12. 'Выдвигать, предлагать': *Ставить вопрос на обсуждение / резолюцию на голосование / ставить перед собой все новые цели*.

Этот же компонент 'обозримость, явленность' (связанный, разумеется, с 'активизированностью') присутствует и в значении *поставить вопрос / проблему* – "выставить" на виду, привлечь внимание, сформулировать проблему так, чтобы она стала "видной", заметной – чтобы ее увидели и осознали (в отличие от *задать воп-*

рос – спросить, чтобы получить ответ); *поставить ПЕРЕД СОБОЙ задачу* впереди, перед глазами и, значит, на виду, так, чтобы человек видел эту цель / задачу перед собой и ориентировался на нее (ср. также *поставить на вид* и аналогичные значения у других однокоренных глаголов – *выставить требования; представить себе* – "поместить" на виду, перед глазами).

В случае абстрактных объектов, конечно, уже нельзя говорить о специализации исходного значения. Здесь происходит другой семантический процесс – "перенос" исходной схемы в другое семантическое пространство (выражаясь языком когнитивной семантики – mapping, в более традиционных терминах – метафора, причем генерализующая метафора, ср. [Арутюнова 1979]).

V. Объект – человек

СТАВИТЬ 2. 'Заставлять или помогать кому-л. встать, подняться на ноги или занять где-л. место в стоячем положении'.

Здесь следует выделить, на наш взгляд, два разных подзначения, в точности соответствующих *ставить 1.1.* и *ставить 1.2.*:

– 'поднять ('заставить встать') из горизонтального (лежачего) положения в вертикальное' (акцент на вертикальности), ср. *Прапорщики трясли спящих людей, ставили на ноги*;

– 'заставить или предложить занять место, стать куда-л.' ('стоя' – "наполнитель", интегральный компонент; акцентировано местонахождение), ср. *Куда мы поставим младшую группу хора?; Меня нередко ставили на лавку, около налоя.*

'Заставить встать (подняться)' имеет аналог у *положить* (хотя 'заставить лечь' в словаре не отмечено), ср.: *Ворвались люди в масках, положили всех на пол.* Ясно, что это не *положить 1.1.* ('положить руками'), а 'заставить лечь' (угрозами и т.п.).

Способ каузации здесь, как правило, речевой, – если человек не в состоянии стоять на ногах, то его и нельзя поставить, значит, ему предлагают стоять (неважно – добром или угрозами).

Вообще "инструментальное" речевое действие характерно при личном объекте, поскольку типичный способ воздействия на человека – речь.

Важная импликация этой ситуации – принудительность, "насильственность" (недобровольность действия объекта) – естественным образом вытекает из того, что раз человек встает не сам (а его ставят), значит, ему это не нужно, не хочется и т.д. В других случаях эта импликация "проясняется" и становится, по-видимому, компонентом значения.

СТАВИТЬ 3.1. 'Назначать, определять на какую-л. работу, заставлять делать что-л. (обычно стоя)': *ставить к станку / на пахоту / на пост / на руль / на работу.*

Это значение можно считать значением метонимического типа (ср. *ставить 1.3. кому чашку*): ситуация "заставить стоя выполнять работу" включает и стоячее вертикальное положение, и "смежную" (связанную) с ним деятельность. "Стоячее" положение (в отличие от "лежачего") вообще является для человека активным (ср. [Рахилина 1998б]), так что здесь, наряду с вертикальностью, присутствует и функциональность. Кроме того, здесь, как и в *ставить 2.*, проявляется идея принудительности, недобровольности ('без учета желания Y-а, не спрашивая согласия'); именно она (а не компонент 'стоя') определяет выбор глагола *поставить* в тех случаях, когда работа не обязательно связана с физической вертикальностью (ср. *ставить на свеклу; а теперь ее поставили на цыплят*). (Ср. также: *Это слово нужно поставить в дательном падеже / в дательный падеж* – "принудительно" изменить его форму).

СТАВИТЬ 3.2. 'Назначать на какое-л. место, должность, назначать какое-л. должностное лицо': *Ставить нового завхоза / ставить в старосты / ставить командиров на должности.*

Хотя в "должностном" значении ожидался бы перенос идеи "высокого" положения (которое имеет стоящий по сравнению с лежащим) в сферу социальных отношений, социальной иерархии, здесь, скорее, по-прежнему доминирует идея принудительности, недобровольности, внешней каузации ('не сам'), ср. также *посадить на царство*; а идея "высоты" просвечивает разве что в выражении *поставили НАД нами начальником* (кроме того, она привносится "должностными" существительными). Зато в "обратном" действии – *снять* – в социальный план переносится именно идея "сверху или с поверхности" (ср. "физические" значения *снять одежду, кольцо, коробку со шкафа*). Снимают "начальников" (пусть даже очень небольшого ранга), т.е. людей, которые находятся на верхних (относительно высоких) ступенях социальной лестницы: можно сказать *У нас вчера сняли начальника* – но не *?сняли рабочего*; *Завотделом сняли с работы* – но не *?Эту уборщицу давно пора снимать* (ср. также *отставить / отставка* – только с высокого поста). А вот *ставить* могут и начальников на должность (3.2), и работающих на работу (3.1).

СТАВИТЬ 13. (кого в какое-л. ПОЛОЖЕНИЕ). 'Создавать для кого-л. какое-л. положение, условия, обстановку, приводить в какое-л. положение, состояние'.

В этом значении максимально проявляется и выдвигается на первый план смысл 'принудительность, недобровольность, неконтролируемость со стороны лица Y', т.к. никаких других содержательных признаков в нем не остается. Причем "принудительность" нужно понимать просто как несоответствие желаниям и интересам Y-а, а не как принуждение со стороны X-а. Во-первых, *поставить кого в какое положение* является не обозначением действия X-а, а интерпретацией (оценкой) результата некоторого неназванного действия (*Сказал дерзость и ЭТИМ поставил всех в неловкое положение* – см. [Кустова 1996]); во-вторых, каузатором может быть не только поступок лица X, но и "безличное" событие (*Кризис поставил промышленные предприятия в труднейшее положение* – 'оказались из-за кризиса'). То есть *поставить 13.* – это просто 'каузировать находиться (в каком-л. положении)[2]. Характерная цепочка семантических переходов: неконтролируемость (со стороны обоих участников – X-а и Y-а) – случайность – нежелательность – отрицательность.

Вопреки ожиданию, здесь не возникает никакого семантического противоречия или рассогласования между *ставить* (от *стоять*) и *положением* (от *лежать*), наоборот, чисто каузативное значение *ставить* ("принудительность") поддерживает признаки подчиненности и несвободы в значении 'лежать' (**положить в положение*, возможно, нельзя сказать из-за тавтологии).

Для этого значения существенны два типа ограничений – на само абстрактное имя (обозначение ситуации): *поставить в (какое-то) положение / условия / зависимость*, но не **поставить в состояние / обстановку / обстоятельства*; – и на определение к нему (характеристика этой ситуации). Идея нежелательности и "отрицательности" приводит к тому, что здесь употребляются, в основном, "негативные" характеристики, ср.:

Поставить в трудное / тяжелое / затруднительное / двусмысленное / неловкое / подчиненное / зависимое / глупое / дурацкое положение;

но: **Поставить в легкое / приятное / независимое / свободное положение.*

Странно также сказать: *поставить в выгодное положение*, лучше – *в более выгодное положение.*

Ключевым словом здесь является *положение*. Положение статично, оно не развивается, не имеет внутренних ресурсов для изменения, хотя, конечно, может измениться под влиянием внешних факторов. Слово *положение* означает неактивную (а часто – "обусловленную", зависимую от чего-то позицию – даже если это "высокое" положение, ср.: *Положение обязывает*). И этот "семантический ореол", несомненно, связан с исходным физическим значением (и с внутренней формой 'лежать'). Положение имеет лежащий, сидящий или вообще неподвижный человек, у которого гораздо меньший маневр для деятельности, чем у стоящего или движущегося.

Синонимом выражения *положение дел* является *положение вещей*, что также не случайно. Положение вещи определяется ее (статическим) соотношением с другими объектами.

VI. Метонимические значения

У обоих глаголов есть метонимическое значение 'создавать':

КЛАСТЬ 6. 'Строить, сооружать из камня, кирпича': *класть фундамент / стены / печь.*

– 'класть камни / кирпичи друг на друга и тем самым создавать ("класть") Y'.

СТАВИТЬ 9. 'Строить, сооружать': *ставить завод / мельницу / избу.*

– 'строить, сооружать Y, в результате чего Y будет стоять'.

Таким образом, направление метонимического переноса у *класть* и *ставить* "противоположное": у *класть* с начальной ситуации на конечную (со способа на результат), у *ставить* – с конечной на начальную (с результата на способ).

Проследим цепочки семантических переходов на примере глагола *поставить*.

***ПОСТАВИТЬ* Y**

Y – ПРЕДМЕТ

каузировать Y	
вертикально	– находиться – (в месте) (*ставить лестницу*);
вертикально	– **находиться – в месте** (*ставить кресло к окну; посуду на стол*);
(вертикально)	– находиться – **в условиях** (*ставить микстуру на свет*);
	находиться – **с целью** (для еды: *ставить кому угощение*);
	находиться – для выполнения **функции** (в фиксированном положении) (*ставить капкан / горчичник*);
	находиться – в функциональном и/или **фиксированном** состоянии и **на виду** (*ставить пятна / ставить знаки препинания*);
	находиться – в **правильном**, нужном положении, состоянии; **для** какой-либо **работы, деятельности** (*ставить часы – ставить удар кому*);
	находиться (пребывать) – в "**правильном**" положении, состоянии (*ставить театральное дело*);
	находиться – в "**активизированном**" состоянии и **на виду** (*ставить проблему*).

Y – ЧЕЛОВЕК

каузировать Y-а	
вертикально	– находиться – (в месте) (*ставить на ноги*);
вертикально	– **находиться – в месте** (*ставить на лавку*);
	находиться – **в месте** – для выполнения **функции** (стоя) (*ставить на пост / к станку*);
	находиться – (в месте) – для выполнения **функции / работы** (*поставить на цыплят*);
	находиться – **на "месте" (должности)** – для выполнения **функции** (*ставить начальником*);
	находиться – **в положении** (*поставить в трудное положение*).

Коммуникативный акцент в каждом следующем типе значения сдвигается с "физических" компонентов на нефизические, функциональные, целевые и т.п.

Естественно, что как только у глаголов *ставить* или *класть* появляется объект, который физически не может стоять или лежать или для которого это физическое положение нерелевантно, они превращаются в предикаты со значением 'каузировать находиться'. Это, однако, не означает, что признаки базовой, прототипической ситуации в производных значениях полностью утрачиваются. Как раз напротив, эти признаки оказываются очень важными и обязательно используются даже в самых "далеких" от базового производных значениях – в противном случае наборы значений этих глаголов оказались бы совпадающими. Но это уже не признаки физической вертикальности / горизонтальности объекта, а признаки 'видно', 'фиксированно', 'принудительно' и т.п.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1) Неметафорические значения. В когнитивной лингвистике огромный резонанс получила проблема метафорических моделей как способа концептуализации разного рода нематериальных объектов и процессов (идей, эмоций), типов культурного поведения и взаимодействия (ср. *спор – это война*) и т.п. (достаточно упомянуть знаменитую работу [Lakoff, Johnson 1980], вызвавшую целую волну исследований по метафоре). Однако кроме метафорических существуют и неметафорические значения, которые имеют тот же источник, что и метафорические, – основное, базовое, исходное значение слова. Наша гипотеза состоит в том, что исходное значение слова как способ концептуализации некоторой ситуации внеязыковой реальности предоставляет говорящим своего рода ментальную схему (семантическую модель) для осмысления других типов ситуаций, подводимых (в той или иной мере) под эту схему. И метафорические значения, метафора как тип переноса – всего лишь частный случай осмысления (интерпретации) одного (нового, неосвоенного, но по каким-то параметрам сопоставимого) через другое (данное, освоенное, парадигматическое).

Что касается рассмотренного выше языкового материала, то, при очень высокой полисемичности глаголов *ставить* (15 значений; с подзначениями – 29) и *класть* (9 значений; с подзначениями – 15), большинство производных значений как раз неметафорические, и даже метафора у этих глаголов, в основном, "генерализующая" (а не "изобразительная").

2) Семантика глагола и семантика актантов. В семантическом представлении предиката обычно различают две зоны: собственно семантику (содержание предиката) и ограничения на актанты (ср. [Апресян 1974: 60–67], где обсуждается вопрос о том, какую информацию следует отнести к семантике, лексическому значению, а какую – к синтактике, сочетаемости). Однако, в сущности, если не брать смыслы типа модальных рамок (оценки и реакции говорящего) и т.п. компонентов, относимых к прагматике (о прагматическом компоненте см. [там же: 67–69]), то семантика предиката не содержит ничего, кроме информации об участниках ситуации (что естественно, поскольку предикат, по определению, выражает отношения между актантами). Просто это информация разного характера, разного качества. Ограничения на актанты (на заполнение валентностей) – это более или менее "статические" характеристики актантов ('дискретный объект', 'вещество', 'лицо' и т.п.), а собственное содержание предиката – это "динамические" характеристики актантов, т.е. информация о том, что происходит с участниками данной ситуации. Так, глагол действия сообщает, что делает Агенс и чего хочет Агенс (т.е. цель – это тоже одна из характеристик Агенса); какие процессы происходят с объектами (Пациенсом, Инструментом, Средством, Местом).

Инициатором семантического сдвига является изменение типа объекта (или другого участника ситуации). Например, прототипическая ситуация, соответствующая глаголу *поднять* (*поднять с земли кошелек* – упавший или найденный, см. выше раздел 2), включает признаки 'рукой' и 'с пола / с земли'. Считать ли эти признаки частью семантики глагола? Или характеристиками актантов (поднимают в значении *поднять* /.

"манипулируемые" предметы, т.е. руками; 'Y лежал на полу / на земле' – пресуппозиция глагола, но характеризует она исходное состояние объекта)? Или это свойства прототипической ситуации? В принципе верно и то, и другое, и третье. Конечно, признаки 'рукой' и 'с земли' содержатся в значении глагола *поднять*. Но, во-первых, эти признаки "попали" в глагол из ситуации; и, во-вторых, за их присутствие в семантике глагола отвечает данный тип актанта: *поднять* имеет компоненты 'рукой', 'с земли', поскольку он относится ("применяется") к "манипулируемым" объектам (= 'рукой'), лежащим "на земле" ('внизу'). Поскольку в лингвистическом представлении предиката есть две разные зоны (значение и сочетаемость), а компоненты глагола и признаки объекта дублируют друг друга, то они записываются один раз – в значение – из соображений экономии. Но когда исходный объект исчезает, заменяясь объектом другого типа, он "забирает" свои характеристики – причем не только из синтактики, но и из семантики глагола. Например, поднять руку (объект – часть тела) – это уже не с пола и не рукой. А те признаки исходного значения, которые совместимы с новым типом объекта ('переместить снизу вверх, из более нижнего положения в более верхнее'), сохраняются.

В свою очередь, новый объект "заполняет" освободившееся пространство новыми (и обычно – более специальными) характеристиками. Например, производные значения *ставить* и *класть* с дискретными объектами соответствуют таким ситуациям, когда объекты со специальными признаками помещают в специальные места со специальными целями (вытекающими из свойств этих объектов и мест!): деньги как просто физический объект можно положить на комод, а как специальный объект – в банк (специальное место, принимающее на хранение деньги и ценности); человека (как физическое тело) можно положить на кровать, а можно (как больного) – в больницу (в специальное место со специальной целью – для лечения); горчичники как лечебное средство ставят с целью лечения; капкан как специальный объект ставят с целью "поимки" (для выполнения специальной функции); еду как специальный объект кладут в посуду как специальное место (чтобы есть); и т.д.

Как в таком случае будет выглядеть толкование производного значения? Мы можем записать *положить 5.1.* как 'поместить Y в L, где Y = еда; L = посуда' или как 'поместить еду в посуду' (словарь принимает промежуточное решение: 'накладывать (пищу)'); аналогично: *положить 2.3.* – 'поместить Y в L, где Y = лицо; L = лечебное учреждение' или 'поместить человека в лечебное учреждение'. Выбор способа записи – вопрос технический. Важно другое: глагол постепенно превращается в "приставку" при данном типе объекта, в лексическую функцию, то есть продвигается в сторону служебности. С этим процессом тесно связана проблема лексикализации. У исходных значений сочетаемость, как правило, семантическая, то есть задается семантическим признаком класса актантов. Лексическая сочетаемость (лексические ограничения на сочетаемость – в смысле [Апресян 1974: 61], ср. *ошибиться чем*) задается списком (носитель помнит, иностранец – заучивает). Сочетаемость же лексем типа *положить 5.1.* (*каши*) или *положить 2.3.* (*в больницу*) представляет собой промежуточный случай: она задается семантическими признаками, но вполне может быть задана и списком (больница, госпиталь, клиника, хоспис) – что, между прочим, нередко и делается в словарях.

Таким образом, чем "дальше" производное значение от исходного, тем беднее семантика самого глагола и тем больше роль существительного в интерпретации всей синтагмы, то есть в глаголе становится, так сказать, "все меньше глагола" и "все больше объекта". Если неметафорические значения в какой-то степени еще можно предсказать по исходному, то метафорические практически не поддаются ни предсказанию, ни интерпретации без указания объекта, ср., например: *сорвать 5.* (с сущ. "голос") 'Потерять голос, охрипнуть...'; *отбросить 4.* 'Создать, распространить (лучи, свет, тень и т.п.)'. Ясно, что смысл 'потерять' в толковании *сорвать* совершенно бесполезен без ограничения "голос" (потерять можно очень многое; к тому же голос

теряют совсем не так, как, скажем, кошелек); по толкованию 'создать, распространить', без приведенного в скобках ряда существительных, даже носителю языка, не говоря уже об иностранце, трудно будет догадаться, к каким ситуациям и объектам относится это значение; вообще, если формулировка 'создать, распространить' будет предъявлена без словарного "входа", то вряд ли кто-нибудь сможет понять, что это толкование именно глагола *отбросить* (хотя, казалось бы, в толковании должна реализовываться идея кроссворда: чтобы по значению можно было восстановить слово). Другой способ толкования, тоже очень распространенный, – через синонимы (ср. *сорвать голос* – 'охрипнуть') – мы сейчас не обсуждаем, поскольку это отдельная и очень большая тема.

С рассмотренным материалом связана еще одна проблема, активно обсуждающаяся в работах по когнитивной лингвистике: как человек удерживает в памяти десятки значений многозначных слов, что он запоминает, а что – конструирует (или реконструирует), ср. [Плунгян, Рахилина 1996]. Нельзя же, в самом деле, предположить, что носитель языка держит в памяти тысячи существительных, снабженных указаниями на то, с какими глаголами (и в каком значении!) они сочетаются. Скорее всего, он опирается на знание свойств прототипических ситуаций и объектов и по мере необходимости "извлекает" из них нужную информацию.

В самом деле, человеку вовсе не нужно знать, какие из сотен и тысяч имеющихся в языке существительных сочетаются с глаголом *поставить*. Он знает, что можно поставить стакан на стол, чемодан на пол, книгу на полку, потому что он их ставит. И когда возникает вопрос, можно ли "*поставить ковер на стену*" (ведь он будет расположен в каком-то смысле вертикально), оказывается, что важна не только вертикальность, но и опора снизу, – но если бы в русском языке не было глагола *висеть*, то ковры бы "*ставили*" или "*клали*" на стену – в зависимости от того, что важнее для говорящих: "вертикальность" или размещенность на плоскости; при решении вопроса, можно ли "*поставить пятак на ушибленное*" место, как горчичник, оказывается, что горчичник держится сам, а пятак нужно прижимать рукой, – значит, важна "прикрепленность", фиксированность; и т.д.

Теперь посмотрим, как лексическое значение глагола представлено в словаре.

КЛАСТЬ	***СТАВИТЬ***
2.1. помещать куда-л.	1.2. помещать куда-л., располагать где-л.
2.2. помещать на хранение	4.1. располагать, размещать
2.3. помещать, устраивать	
3. накладывать слой чего-л.; наносить	8.1. наносить на поверхность
5. накладывать	7.2. накладывать (!), прикладывать
4. ставить (!) знак	
6. строить, сооружать	9. строить, сооружать

Если мы возьмем толкования значений *класть* и *ставить* сами по себе, то есть без ограничений на актанты, то окажется, что многие из них, во-первых, имеют достаточно общие формулировки, а порой даже могут ввести в заблуждение (ср., например, обсуждавшуюся выше формулировку значения *класть 2.1.* "Помещать куда-л.", из которой следует, что значение 2.1. описывает ситуацию "помещать что угодно куда угодно"), во-вторых, совпадают (ср. *класть 2.1.* и *ставить 1.2.*; *класть 5.* и *ставить 7.2.*; *класть 6.* и *ставить 9.* – как если бы они описывали одну и ту же ситуацию). При этом значительная часть формулировок сводится, по существу, к идее 'каузировать находиться в месте / состоянии / положении'.

Однако словарные статьи содержат важную дополнительную информацию – характерные, так сказать, парадигматические для данной ситуации существительные, которые указаны либо при толковании самого значения (обычно в скобках), либо даже в примерах (банк; больница; краска, пудра; печать, штамп; пища, тарелка; кирпич;

мельница и т.п.; ср. ниже правую колонку):

КЛАСТЬ	
2.2. помещать на хранение, вносить	банк, сберкасса
2.3. помещать, устраивать	больница, госпиталь, клиника
3. накладывать слой чего-л. наносить	краска, пудра черты, штрихи
5. накладывать	пища
4. ставить (!) знак	штамп, штемпель, печать, клеймо
6. строить, сооружать	из камня, кирпича
СТАВИТЬ	
1.3. давать, подавать	кому-л.; предметы, посуда
4.1. располагать, размещать	на какой-л. позиции; войска
6.1. придавать какое-л. положение, располагать каким-л. образом;	ноги
7.2. накладывать, прикладывать	компресс, горчичники
8.1. наносить на поверхность	пятна, синяки
9. строить, сооружать	изба, мельница, завод

Именно по этим существительным (а не по формулировкам "помещать что куда", "накладывать", "располагать" и т.п.), можно составить представление, каким ситуациям соответствуют данные значения *класть* и *ставить*. То есть производные значения задаются не столько через толкования (которые, по существу, представляют собой лишь "отсылку" к семантической парадигме, – например, *класть* – это 'помещать', а не 'делить на части'), сколько через прототипические объекты, которые "наполняют" общую и достаточно абстрактную когнитивную схему специфичной информацией. Ведь хотя сочетаемость в производных значениях семантически мотивирована, но круг существительных, которые реально требуются человеку для "обслуживания" обиходных ситуаций, относительно небольшой, и, в принципе, экономнее (а часто и эффективнее) просто перечислить в словаре эти существительные (из которых "пользователь" сам сможет извлечь нужные семантические ограничения), чем формулировать сложные и громоздкие семантические правила сочетаемости. Несмотря на то, что этот принцип (определение значения через прототипические объекты) проводится в словарях непоследовательно, он чрезвычайно важен и имеет глубокий смысл, поскольку такой способ представления значений, по-видимому, в гораздо большей степени отражает реальные процессы использования языка человеком, чем семантические признаки типа "+ / – одушевленный", "+ / – дискретный" и под., которые были весьма популярны в структуралистских и вообще "формальных" описаниях лексической семантики.

Таким образом, словари более адекватно моделируют языковую способность человека, чем многие лингвистические описания, и составители словарей фактически реализуют когнитивный, а не "структурный" подход к представлению значений.

3) Связи между значениями и проблема инварианта. Как известно, многие выдающиеся лингвисты (такие, например, как Потебня и Щерба) не признавали полисемии и считали ее явлением по преимуществу диахроническим. А.А. Потебня считал, что связь производного значения с исходным (в виде внутренней формы) существует только на этапе образования производного значения, а затем внутренняя форма угасает и производное значение обособляется от своего источника, превращаясь в самостоятельную единицу – по существу, в омоним. Практика словарного представления значений многозначного слова как будто подтверждает эту теорию: словарные толкования разных значений полисемичного слова очень часто не имеют общих компонентов.

Против такого "антиполисемического" подхода есть целый ряд возражений – как формальных (на каком же основании эти значения объединяются в одну словарную

статью, а не подаются как омонимы?), так и содержательно-психологических: и говорящие, и, разумеется, лингвисты ясно ощущают семантическое единство слова, которое должно найти отражение как в лингвистической теории, так и в лексикографической практике. Противоположный подход, напротив, пытается свести все богатство значений слова к семантическому инварианту, который тем самым оказывается семантически бедным и эвристически малопродуктивным (ср. обсуждение этих проблем в [Падучева 1986; Плунгян, Рахилина 1996]).

Обычно невозможно и, по-видимому, не следует пытаться подвести под некоторый инвариант решительно все значения слова, поскольку система производных значений многозначного слова "неоднородна": она имеет сложную структуру, состоящую из нескольких подструктур и включающую значения разного происхождения и разных типов.

Основой семантического развития слова служит не только исходное, базовое значение, но и соответствующая прототипическая ситуация. Она является источником той когнитивной схемы, которая, по мере удаления от физической субстанции, постепенно "проступает" во все более общем и абстрактном виде в производных значениях, объединяя весьма разнородные ситуации с разнотипными объектами в единую группу и делая их реализациями некоторой "общей идеи". Но она же, прототипическая ситуация, является и источником многочисленных импликаций, которые в исходном значении не отмечаются (поскольку для толкования этого значения они не нужны), но на которых основаны многие неметафорические и, особенно, метафорические значения.

Вокруг исходного значения ("ядра") группируются неметафорические производные значения, соответствующие "специализированным" денотативным вариантам базовой схемы (например, *поднять чемодан*; *поднять руку*; *поднять шлагбаум*; *поднять вещи на лифте* – все это разновидности физического (неметафорического) перемещения объекта из более низкого положения в более высокое); аналогично – *положить в карман*; *положить в больницу*; *положить в банк*; и т.п. Одной из таких реализаций является, между прочим, и само исходное значение, которое в данный исторический период представляется составителям словарей основным, наиболее контекстно свободным ("первым").

Ясно, что эта группа значений, так сказать, по определению имеет инвариант, поскольку все они являются "контекстными" реализациями (денотативными вариантами) этого инварианта.

Дальше идут метонимические значения, которые, в силу природы метонимического переноса (переноса на денотативно смежную ситуацию), и денотативно и семантически более тесно связаны с исходной ситуацией и исходным значением, чем метафорические. Они не имеют инварианта с исходным значением, поскольку относятся к другой ситуации, но имеют с ним общую часть – причем очень важную часть, а именно: они, по существу, целиком включают исходное значение.

И наконец, самая дальняя периферия этой структуры – метафорические значения. Здесь можно различить, по крайней мере, два случая. Метафоры могут быть как бы "кальками" исходной ситуации (ср. *сбросить апатию*: метафорический объект мыслится как что-то находящееся на человеке и мешающее ему, что-то, от чего человек резким движением освобождается, подобно тому как он, например, сбрасывает пальто). Такие метафоры реализуют тот же инвариант, что и неметафорические значения, только в ином "пространстве".

С другой стороны, есть метафоры (и их очень много), которые связаны с исходным значением каким-либо достаточно случайным признаком; причем этот признак (импликация) извлекается носителями языка даже не из исходного значения, а из прототипической ситуации, ср. *сорвать цветок – сорвать переговоры*; *сорвать голос*. Метафора основана на смысле 'нарушить' (это следствие из прототипической ситуации: раз цветок сорван, 'отделен от корня', значит, нарушена его "органическая" связь с корнем и ему причинен "ущерб", ср. *сорвать голос*), который, конечно, никому

не придет в голову включать в толкование *сорвать* (*цветок*), пока у этого глагола не появится значение *сорвать переговоры* или *сорвать голос* (кроме того, в случае цветка речь идет о нарушении органической связи с корнем, а в случае переговоров – о нарушении хода процесса).

Наконец, есть метафоры (ср. *поставить вопрос*; *поставить кого в какое положение*), которые, эксплуатируя какую-нибудь импликацию прототипической ситуации ('на виду'; 'принудительно' и т.п.), одновременно реализуют общую идею ('каузировать стоять', 'каузировать находиться').

При этом инвариант может быть, по-видимому, разной степени абстрактности (ср.: 'каузировать стоять' и 'каузировать находиться').

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. 1974 – Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.

Апресян Ю.Д. 1980 – Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели "Смысл <=> Текст" // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 1. Wien, 1980.

Апресян Ю.Д. 1986 – Интегральное описание языка и толковый словарь // ВЯ. 1986. № 2.

Апресян Ю.Д. 1995 – Избранные труды в 2-х тт. М., 1995.

Арутюнова Н.Д. 1979 – Языковая метафора (синтаксис и лексика) // Лингвистика и поэтика. М., 1979.

Вежбицкая А. 1996 – Прототипы и инварианты // А. Вежбицкая. Язык. Культура. Познание. М., 1996.

Гак В.Г. 1972 – К проблеме общих семантических законов // Общее и романское языкознание. М., 1972.

Кибрик А.Е. 1992 – Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.

Кустова Г.И. 1996 – О коммуникативной структуре значения глаголов с событийным каузатором // Московский лингвистический журнал. 1996. № 2.

Кустова Г.И. 1997 – Модели семантической деривации: семантическая парадигма глаголов способа // Труды Международного семинара Диалог'97 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. М., 1997.

Кустова Г.И. 1999а – Семантические модели производных значений глаголов перемещения объекта // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1999. № 5.

Кустова Г.И. 1999б – Перцептивные события: участники, наблюдатели, локусы // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. М., 1999.

Падучева Е.В. 1986 – Семантика вида и точка отсчета // ИАН СЛЯ. Т. 45. 1986. № 5.

Плунгян В.А., Рахилина Е.В. 1996 – Полисемия служебных слов: предлоги *через* и *сквозь* // Русистика сегодня. 1996. № 3.

Рахилина Е.В. 1991а – Предметные имена и имена предикатов // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1991. № 5.

Рахилина Е.В. 1991б – Прилагательные сквозь призму существительных и vice versa // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1991. № 9.

Рахилина Е.В. 1998а – Когнитивная семантика: История. Персоналии. Идеи. Результаты // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998.

Рахилина Е.В. 1998б – Семантика русских "позиционных" предикатов: СТОЯТЬ, ЛЕЖАТЬ, СИДЕТЬ и ВИСЕТЬ // ВЯ. 1998. № 6.

Dirven R., Verspoor M. 1998 – Cognitive exsploration of language and linguistics. Amsterdam: Philadelphia, 1998.

Lakoff G., Johnson M. 1980 – Metaphors we live by. Chicago, 1980.

Rozina R. 1998 – Meaning definitions and grammatical properties of predicates: Russian verbs of possession // The structure of the lexicon in functional grammar / H. Olbertz, K. Hengeveld, J.S. Garcia (Eds.) Amsterdam; Philadelphia, 1998.

Ullmann S. 1963 – Semantic Universals // Universals of Language / Ed. by J. Greenberg. M. I. T. Cambridge (Mass.), 1963.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2000

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2000 г. О.А. РАДЧЕНКО

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО СООБЩЕСТВА В НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Интерес к лингвистическому и в особенности лингвофилософскому наследию уходящего столетия еще долго будет предопределять исследования отечественных и зарубежных историографов языкознания и лингвистов-теоретиков, и интерес этот связан не только с обширным перечнем фундаментальных вопросов, так и не получивших удовлетворительного освещения в научных публикациях двадцатого века. Эти вопросы, касающиеся, казалось бы, отвлеченных, идеальных сфер, будут продолжать оказывать самое серьезное влияние на материальные стороны человеческого бытия, оставаясь предметом острых дискуссий и затрагивая, в том числе, государственные интересы и политические конфликты новой эры.

Некоторые из таких проблем наследуются вторично: из лингвистики, философии и этнологии девятнадцатого столетия они перешли в науку следующего века, оставаясь длительное время маргинальными, с точки зрения представителей актуальной лингвистической парадигмы. Так, лишь с переносом основного интереса языковедения с индоевропеистики на исследование живых языков, их внешней и внутренней формы и социальной телеологии состоялось философское освещение языка как одно из основных предназначений языковедения [Степанов 1995; Радченко 1997]. Продолжая и дополняя фрагментарные экскурсы Й.Г. Гердера, Й.Г. Гаманна, В. фон Гумбольдта в область взаимосвязей языка и социума, языка и его носителя, европейские лингвофилософские школы прошлого века сформировали новое концептуальное наследие, средоточием которого являлись поиски доказательств в пользу особого статуса языка как естественной социальной основы человеческого бытия, не имеющей себе равных. Этот статус связывается с принципиальной способностью конкретного языка выступать в качестве общего фундамента коллектива его носителей – *языкового сообщества*. Именно языковое сообщество выступает как естественное, духовное единение людей, и оно отлично в этом качестве от государства и нации.

ПРОБЛЕМА ЭТНОГЕНЕЗА И ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ XIX ВЕКА

Поначалу суждения об особом этническом статусе каждого родного языка основывались на осмыслении того, способен ли язык как таковой самостоятельно, без опоры на другие факторы созидать человеческий коллектив. Иллюстрацией этих размышлений служат, на первый взгляд, противоречивые мысли основателя философии языка – В. фон Гумбольдта, то воспевавшего уникальную этногенную роль языка, то отводившего ему в своей этносозидающей парадигме место соратника биологических факторов. С одной стороны, В. фон Гумбольдт утверждает: "То, что языки распределены среди рода человеческого не в соответствии с расами и даже не в соответствии с нациями, и что по этой причине, исходя из единства языка, не обязательно можно

заявлять о единстве происхождения, само бросается в глаза. Исторические события могут передавать нациям различного происхождения одни и те же языки, и наоборот" [Humboldt 1827–1828: 196]. С другой стороны, Гумбольдт неоднократно упоминает происхождение как одну из важнейших сил формирования нации, наравне с языком, ссылаясь на единство человеческой природы: "Какими различными ни были бы люди по росту, цвету, физическому строению и чертам лица, духовные задатки их те же самые... Язык же целиком происходит из духовной природы человека. Даже разница в органах речи, на которую, впрочем, насколько мне известно, никогда не обращалось внимания в связи с различными расами, могла бы вызвать лишь несущественные своеобразия, ибо то, на чем основана артикуляция, также имеет совершенно интеллектуальную природу. Определенное национальное своеобразие готтентота находит отражение, конечно, и в его языке, и поскольку все в человеке взаимосвязано, то и всеобщая негритянская природа обладает своей, только не вычленимой конкретно, долей участия в этом. Если бы раса создавала необходимое основание для разделения языков, тогда языки народов одной расы должны были бы обязательно отличаться от языков народов другой расы общим своим строением, а это совершенно не так" [Humboldt 1827–1828: 196–197].

Взаимосвязь расы и нации для Гумбольдта заключается в наличии некого "национального габитуса", передающегося по происхождению и меняющегося при смешении с другими нациями. Этот габитус тесно связан с расовыми признаками, которые, правда, все же имеют очень нечеткий характер и позволяют говорить лишь о различных степенях физического родства всех наций на земле [Humboldt 1827–1828: 200].

В своих философских выводах, Гумбольдт отвергает взаимосвязь между языками и цветом кожи [Humboldt 1827–1828: 202] и признает гораздо большее влияние на язык со стороны течения времени, смены мест проживания и смешения народов [Humboldt 1827–1828: 292]. Более того, "язык обладает также способностью отчуждать и поглощать, и возвещает самим собою о национальном характере, даже в людях различного происхождения" [Humboldt 1830–1835: 171], ведь "интеллектуализуя человека вплоть до достижимой для него границы, язык все более вытесняет темную сферу неразвитого ощущения. Тем самым языки приобретают сами, будучи инструментами этого процесса, столь определенный характер, что характер нации можно лучше выявить на основе характера языка, чем из обычаев, привычек и поступков этой нации" [Humboldt 1830–1835: 171].

Очевидные параллели со взглядами Гумбольдта обнаруживаются при рассмотрении работ Й.Г. Фихте. В "Четвертой речи к немецкой нации" он предлагает анализ различных факторов, изменения которых существенно повлияли на судьбу древних германцев: "Из этих изменений первое, смена родины, совершенно неважно. Человек быстро приживается под любым небом, и народное своеобразие, вовсе не меняющееся под влиянием места проживания, наоборот, влияет на него и приспосабливает его к себе. И различия в воздействии природных условий невелики в тех краях, где обитали германцы. Так же мало следует обращать внимание на то обстоятельство, что в захваченных странах германское население смешалось с прежними жителями... так что ни одному из сложившихся на основе германских племен народов не было бы ныне легко доказать бóльшую чистоту своего происхождения перед другими народами. Но значительнее, и, как я полагаю, полной противоположностью меж германцами и прочими народами германского происхождения является второе изменение – языковое; при этом не важны... ни особенный характер сохраненного данным племенем языка, ни характер воспринятого от другого племени языка, но лишь то, что в одном случае было сохранено собственное, а другом – принято чужое; не важно и происхождение тех, которые продолжают говорить на исконном языке, но лишь то, что этот язык использовался беспрерывно, причем в гораздо большей степени люди формируются языком, чем язык людьми" [Fichte 1808: 314]. Как видим, фактор происхождения этноса для его характеристики Фихте безразличен.

Первый из гумбольдтианцев, Х. Штайнталь, совершенно так же, как и его духов-

ный предтеча, выражает свое отношение к взаимосвязи расы и языка: "То, что раса воздействует на язык как искусственное творение, исключено. Раса обладает только антропологическим, но не этнологическим значением. Язык (в общем смысле) и народ могут быть, напротив, взаимосвязаны; но народ в целом является доисторическим продуктом, в котором слились выявляемые лишь в редких случаях элементы. Народный характер, национальность, можно обнаружить в языке как действенный и как полученный в результате воздействий элемент" [Steinthal 1876: 49]. В этой связи Штайнталь отрицательно отвечает и на вопрос о том, сопоставимы ли языковое и расовое родство народов между собой и не образуют ли народы, языки которых произошли от одного языка-основы, одну общую расу. В качестве подтверждения он приводит расовое различие финнов и лапландцев, говорящих на языках одной семьи [Steinthal 1876: 50].

Из двух феноменов – языка и расы – наибольшей стабильностью обладает, по мнению Штайнталя, именно язык [Steinthal 1876: 51], в то время как "по новейшим данным вряд ли какой народ сформировался не путем смешения разнообразнейших элементов. Народ – это не просто разросшееся естественным путем вследствие избыточной рождаемости человеческое стадо, а в конечном итоге – результат многообразных связей, перемещений, делений и новых смешений. Поэтому трудно говорить об о д н о й расе одного народа" [Steinthal 1876: 52]. Весьма важен еще один вывод, которым завершает Штайнталь свои размышления: "Судя по опыту, расовые признаки исчезают или умеряются лишь в результате физического смешения; но отказ от собственного языка и принятие чужого языка, вероятно, совершались лишь в доисторические времена Бог знает сколько раз, из-за доминирования какого-либо народа, применения силы, по необходимости или согласию" [Steinthal 1876: 52].

РАСОВО-ЭТНИЧЕСКАЯ АПОЛОГЕТИКА И ЯЗЫК

Впрочем, в философии и лингвистике девятнадцатого века заложены не только основы лингвоцентрического подхода к проблеме этногенеза. Там же следует искать истоки расово-этнической апологетики, и это не удивительно, ведь сложная политическая судьба Германии не могла не сказаться на рассуждениях ее философов. Правда, даже в начале тридцатых гг. видный немецкий социолог Ф. Хертц отмечал значительный разброс мнений относительно расы как научного феномена, существовавший в Германии вплоть до принятия там официальной расовой доктрины: «Термин "раса" означает прежде всего сообщество, объединенное общим происхождением, решающие особенности которого передаются по наследству и которое образует подразделение "вида". Точного определения дать невозможно. К тому же мнения о количестве и разграничении человеческих рас существенно расходятся» [Hertz 1931: 458–459]. Но для социологии расовая теория вполне может приобрести особое значение, если предполагается, что физическим различиям соответствуют также различия эмоционально-духовного свойства. Теории, отстаивающие подобные идеи, конечно, могут иметь в той или иной степени научный экспликативный характер, но чаще они склонны приобретать черты оценочной апологетики, что и случилось в Германии, несмотря на ее философские традиции и особую, крайне критичную исследовательскую этику [Hertz 1931: 459].

Провозвестником этой апологетики можно считать Э.М. Арндта, борца против "бастардизации народов", утверждавшего, в частности: "Ни половодье сокровищ и богатств, ни опасности пышности и вожделений, проявляющиеся в нашем потомстве, не воздействуют столь смертельно на благородный народ, как слишком сильное смешение с чужими, из-за чего в конечном итоге все инстинкты и задатки этого народа становятся тщеславными, поверхностными, дикими и дисгармоничными, а все те глубинные силы и добродетели души, из коих изначально произрастают и только и могут произрастать все великое и божественное, а также политическое достоинство и божественная свобода, исчезают" [Arndt 1934: 114]. Вполне логично в этом свете его выступление против "Пан-Европы": "Господь противопоставил народы друг другу, с

тем чтобы каждый из них своим образом был великолепен и целостен и посредством формирования и развития своего своеобразия становился еще великолепнее и прочнее"; поэтому "тот, кто все народы Европы даже самыми мягкими и любезными средствами объединяет в одно государство под одним скипетром и одной конституцией и затем также смешивает и связует обычаи, языки и людей различных стран многообразнейшим и пестрейшим способом, тот вызывает низкопробный всемирный потоп на нашем континенте". Подобное смешение привело бы, по мысли Арндта, к появлению абсолютно аморального поколения без любви, умеренности и сердечности, со смятенным и беспокойным разумом, готового служить всем порокам и всем тиранам [Arndt 1934: 153].

Некоторые социологи обнаруживают ростки будущих дискуссий по проблеме "язык и раса" еще в рассуждениях Аристотеля о физической и духовной неполноценности "варваров" и оправданности рабства, а также в возражениях против этой идеи со стороны Платона [Hertz 1931: 459]. В известном смысле последователями Аристотеля стали Д. Юм, И. Кант и Й.Г. Гердер, которые восхваляли "врожденное своеобразие" народов, причем Гердер приводил в качестве обоснования его существования географические факторы [Hertz 1931: 459]. Однако первым автором, попытавшимся обосновать теорию духовного своеобразия рас (в частности, нордической расы) являлся граф Гобино, автор "Эссе о неравенстве рас" (1853). Сущность его концепции состоит в признании врожденных, глубоко коренящихся и стабильных физических и духовных различий между человеческими расами, обусловливающих "вражду и ненависть" между ними. Предпочитаемой расе, происходящей от особых предков (согласно принципу полигенизма, т.е. вероятного происхождения народов мира от нескольких этнических и расовых корней), приписываются выдающиеся творческие качества, в то время как прочим отказывают даже в способности перенимать чужую расовую культуру. Ассимиляция рассматривается такими теориями как путь к дегенерации и крушению культуры, а "ценные расы" видятся как продукт многовекового естественного отбора и суровой борьбы за существование. Для сохранения подобных рас признается необходимым "систематическое истребление" всех "неполноценных" ее представителей [Hertz 1931: 461–462]. Известным сторонником такого воззрения являлся зять композитора Р. Вагнера Х.С. Чемберлен, автор скандального памфлета "Основы девятнадцатого столетия", оказавшего большое влияние на националистические круги Германии и даже, судя по собственным воспоминаниям, на последнего германского императора Вильгельма II [Hertz 1931: 460]. В языкознании сторонником полигенизма и подобного оценочного отношения к связанным с конкретными расами языкам являлся автор "Lectures in the science of language" Макс Мюллер, признававший "нормой" индоевропейские языки и считавший прочие примитивом.

Эти идеи уже в начале 20-х гг. XX столетия получили развитие в европейской (прежде всего, германской) философии и лингвистике, когда определенными лингвистами была поставлена задача сопоставить социальную значимость языка и расы. Язык понимался этими лингвистами и философами как сущностный признак расы. К примеру, в брошюре М. Вундта «Что значит 'расово-этническое' (voelkisch)?» были сформулированы позднейшие положения национал-социалистического "языковедения": "Язык является действительно голосом крови, определяется в своем звучании и временном параметре кровью. Кровное сообщество созидает языковое сообщество" [Wundt 1924: 17]. Об этом же писали в начале 20-х гг. Э. Баур, Э. Фишер, Фр. Ленц, В. Шайдт.

Здесь следует привести ряд доводов, на которые опирались сторонники идеи "чистая раса – чистый язык". Так, О. Рехе отмечает, что взаимосвязь языка и расы в современном мире обнаруживает какие угодно модификации и вариации, однако в мире все же существуют народы, обладающие чистыми расовыми признаками и говорящие на исконных языках, например, скандинавские. Отсутствие чужого расового и языкового влияния на них в исторической перспективе позволяет заключить, что они являлись и создателями своего языка. Всякий народ, перенимая другой язык, обязательно

меняет его, причем, как в отношении выбора лексики, так и в фонетическом отношении в связи с особенностями его речевого аппарата. Следовательно, и о периоде создания исконного языка конкретной расово-гомогенной группой можно утверждать, что она приспосабливала его под свои особенности, как физические, так и духовные, в том числе – под эстетические представления, мыслительные способности, духовную подвижность, культурные потребности. Поскольку и сам процесс формирования конкретной расы возможен только в условиях географической и иной изоляции от других расовых элементов, то и язык этой расы будет ограждён от влияния других языков; в результате раса неизбежно создаст себе такой язык, который будет выражать ее самую сущность, соответствовать ее духу и телу. Таким образом, одна раса, по мысли Рехе, не может создать несколько языков, различных в типологическом отношении. Язык не является случайным продуктом, он органически выросшее целое, причем в условиях формировавшейся в изоляции гомогенной в расовом отношении группы с ее особыми задатками и процессами отбора, и тем самым он являлся "непосредственным плодом физической и духовной предрасположенности" конкретной расы. Значит, "изначально раса и язык совпадали безо всяких исключений". Поэтому, невзирая на последующие процессы смешения рас и языков, язык остается "выражением расовой души" [Reche 1927: 260–261]. Подобные рассуждения довольно ясно демонстрируют характер аргументации сторонников "расовой лингвистики". На этом фоне кажутся вполне типичными этюды Х. Гюнтера о конкретных расовых корнях второго передвижения согласных и мысль Х. Хардера о вытеснении переднеязычного *r* увулярным в немецком литературном языке под воздействием "динарской расы" [Harder 1934: 434].

"КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ" ВСТУПАЕТ В ПОЛЕМИКУ

К. Фосслер отмечает наличие в этот момент "общего мнения известных кругов", мнения, с его точки зрения, ненаучного и связанного с политическими целями и антисемитской пропагандой [Vossler 1925: 577]. Отрицательную оценку подобных публикаций содержат не только работы Фосслера (см., например [Hirt 1926]). Между тем, уже в начале 30-х гг. у серьезных исследователей расы в Германии не вызывало сомнения, что наследственность затрагивает лишь элементарные задатки, но никак не гениальность или талант [Hertz 1931: 464]. Один из крупнейших авторитетов в области немецкой социологии в 20-х гг., М.Х. Бём, отмечал, что "в Европе нет чистых в расовом отношении народов, но современные нации суть результаты смешений, которые во многом еще не завершились" [Boehm 1923: 24–25]. Бём противопоставляет расу, основанную на общем происхождении (что ему, как и известному немецкому философу того периода Ф. Маутнеру, представляется утопией), народу, который "на любом клочке земли объединяет различные расы" [Boehm 1932: 257–258]. Даже в 1934 г., уже после прихода к власти в Германии национал-социалистов, находятся ученые, заявляющие, что "ныне бесперспективно стремление выявить хоть какую-либо взаимосвязь между языковой семьей и расой" и что "пока невозможно с уверенностью приписать какой-либо широко распространенной расе определенный языковой тип"; более того, "распространение языковых особенностей по всей земле оставляет, правда, открытой возможность модифицирующего воздействия расового характера на языковой строй в некоторых отношениях, однако в общем и целом особенности языков определяются другими факторами" [Koppelmann 1934: 120]. Существование такого рода публикаций позволяет говорить о том, что национал-социалистам не сразу удалось уничтожить существовавшую в Германии традицию открытых научных дискуссий, тем более что она опиралась и на значительные научные школы как в антропологии, так и в философии языка.

Критичное отношение к попыткам определить "ментальный фундамент" расовой теории подкрепляется точкой зрения современных Бёму философов, не отравленных идеями нацизма. Известный философ К. Штафенхаген полагал, что именно невозможность присовокупить к каждому государству по отдельной расе привела к тому,

что разнообразные расовые элементы внутри одного народа стало принято характеризовать как "созидательные составляющие" [Stavenhagen 1929: 493]. Между тем, расовые признаки не являются признаками сообщества, а социология, построенная на биологических принципах, рискует пройти мимо важнейших феноменов социальной жизни, каковым является народ – чисто социальное образование [Stavenhagen 1929: 494]. Штафенхаген выдвигает в качестве собственно определяющего признака "тотального традиционного сообщества" скрывающуюся в языке передачу всех и всяческих ценностей и одинаковое эмоциональное отношение всех членов этого сообщества ко всем ценностями [Stavenhagen 1929: 511, 519], понимание своей целостности в этом воспринятом интенциональном мире ценностей.

Штафенхаген положительно отвечает на вопрос, "формирует ли традиция, т.е. историко-духовный фактор, своеобразие групп людей намного сильнее, чем общее происхождение; действует ли традиция как детерминирующий расу фактор?" [Stavenhagen 1929: 589]. Он приводит следующее примечательное наблюдение, сделанное им в ходе многочисленных зарубежных поездок: портье в гостиницах, лондонские брадобреи, рижские продавцы газет без единого слова опознавали немцев самого разнообразного происхождения. Но в то же время он заявляет, что "необходимо прежде ощутить себя сообществом общего происхождения либо членом тотального сообщества, чтобы смочь воспринять данный язык как родной" [Stavenhagen 1929: 593].

Напротив, философский подход к этой проблеме допускает наличие некой коллективной общности, основанной на общности происхождения, однако все же "общность духа перекрывает общность крови" [Hartmann 1933: 180]. Немецкие исследователи неоднократно вспоминали в этой связи слова П. Лагарде: "Немецкая сущность заключается не в крови (Gebluet), а в духе (Gemuet). Среди наших великих мужей Лейбниц и Лессинг, наверняка, являются славянами по своему происхождению, Гендель как сын солевара из Галле – кельт. Отец Канта был шотландцем, и все же кто будет порицать их как не-немцев? Кто станет порицать нас, если мы отнесем их к образцам немецкой сущности?" (см., например [Schmidt-Rohr 1932]).

В противовес расово-ориентированной этнологии в Германии постепенно формируется культурно-антропологически ориентированное направление, которое поддержали Ф. Гребнер, Б. Анкерманн, В. Фой, патер В. Шмидт. Именно последнему принадлежит тщательный анализ современных ему расовых теорий, приведший его к тому выводу, что эти теории фактически объявляют о своей неспособности описать процесс возникновения расы и те факторы, которые определяют такой процесс [Schmidt 1927: 8]. Шмидт как человек верующий глубоко убежден, что душа есть индивидуальное творение Господа, создаваемое им всякий раз заново и не имеющее никакого отношения к вариациям и наследственной массе. В этой связи он решительно отрицает существование "расовой души" [Schmidt 1927: 16]. Он также иронизирует над сторонниками "чистоты расы", для коих представляется нонсенсом нордическая душа в остическом теле, ибо они объявляют, что всякая духовность обусловлена кровью (расой), так что "такая нордическая душа просто повисла бы в воздухе и ей недоставало бы физической основы, которая несла бы ее в себе и с которой она могла бы вместе действовать" [Schmidt 1927: 26]. Расовую наследственность Шмидт ограничивает индивидуальной и семейной наследственностью и только физическими признаками [Schmidt 1927: 54]. Что же до нордической расы, то, по мысли Шмидта, имеющиеся данные позволяют считать, что эта раса – не самая древняя в мире и не единственная раса, на формировании которой сказалась наследственность "господствующих и ведущих за собой народов" [Schmidt 1927: 58].

Однако вред от расово-этнических "исследований" ощущается уже в середине двадцатых годов: «Некий университетский профессор, любивший приглашать студентов на "немецкие вечера", настойчиво советовал одному из них, имевшему несчастье родиться брюнетом, воспользоваться рекомендованной этим профессором краской для волос. Известные национальные круги были бы чрезвычайно заинтересованы ныне в средстве для окраски глаз в голубой цвет; изобретатель подобного средства сказочно

разбогател бы. С тем чтобы превратить свою жалкую "остическую" круглую голову в "настоящую нордическую" удлиненную голову, профессора отращивают волосы и отпускают бороды. На вечере памяти некоего известного ученого председатель собрания приветствовал присутствовавшего там племянника усопшего как образец настоящей нордической расы, с длинным лицом и такими носом и лбом, "коими могут похвалиться лишь немногие из нас", причем сидевшие в зале с любопытством и пристыженно – а, может, и с иронией – разглядывали этот образец» [Schmidt 1927: 12]. В тот момент влияние "нордической идеи" еще воспринимается как анекдот.

В рамках краткого лингвоисториографического очерка представляется невозможным подробнее разбирать несуразности "нордической идеи", тем более что они уже получили подробное, хотя и несколько пристрастное, освещение в аналитической литературе [Roemer 1985]. Остановимся лишь на ее влиянии на ситуацию в языкознании Германии.

В начале 30-х гг. среди лингвофилософов возникают разногласия по расовой проблеме. В процессе формирования фронтов в связи с понятием расы складываются три группы внутри философии языка – *национал-социалистическое, глоттоцентрическое* и *националистическое.*

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТСКОЕ "РАСОВОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ"

Примером рассуждений национал-социалистских "лингвистов" можно считать работы Б. фон Бацана, который отмечает: "Следует особо изучить языковое сообщество в каждом случае с точки зрения его соотношения с расовым, кровным сообществом", и хотя народ закрепляет в языке опыт своего тысячелетнего труда, но «не "всякий" человек способен пробудить в себе то исконное воспоминание (Urerinnerung) о рождении и развитии его языкового сообщества, но лишь тот, чье расовое наследие предков простирается до сотворивших язык отцов далекого прошлого» [Bazan 1933: 421]. И далее: "действительное растворение в другом языковом сообществе возможно лишь тогда, когда даны кровные предпосылки. Так это произошло в Германии с многочисленными гугенотами, чехами и поляками, чье кровное сопереживание, усиленное вскоре восприятием немецкого наследия предков, было основано на расовом родстве" [Bazan 1933: 424]. В этом свете Бацан рассматривает частный случай – немецкоязычных евреев – как "немецко-еврейское языковое лжесообщество" (Scheinsprachgemeinschaft), противопоставляя его "истинному языковому сообществу", в которое входят, однако, не все пользователи данного языка: "В то время как одни культивируют его как свое лучшее наследие, другие позаимствовали его на время, не будучи способными когда-либо стать правомочными собственниками" [Bazan 1933: 424]. Подобные взгляды приобретают к 1934 г. характер официальной доктрины.

Основная посылка другого заметного представителя официальной философии языка, Э. Глессера, – раса есть основная форма сообщества – лишь прокламируется им, но ни разу не находит какого-то подкрепления или иллюстрации, кроме постановки задачи "охватить понятие народа в углубленном смысле расовой идеи" [Glaesser 1939: 46]. В этом свете остается непонятным приложение этой идеи к расово-смешанным народным сообществам, Глессер указывает лишь на противопоставление "ассимилированного языкового гражданина" и "господствующего расового слоя индогерманского языкового духа" [Glaesser 1939: 51]. Народное сообщество зиждется, по мысли Глессера, не на языковом сообществе, а на расово-политических стихиях и силах [Glaesser 1939: 53]. Глессер не уточняет, какие народы индоевропейской языковой семьи подпадают под юрисдикцию "господствующего расового слоя". Язык же представляется Глессеру "замещающей формой расовой души". Свою версию соединения идеи расы и идеи языка Глессер именует "антропологическим определением языка", которое позволит перевести его из общечеловеческой и априорной плоскости в плоскость этническую.

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ИСТОРИЯ "БЛАГОСТНОГО КАТАРСИСА"

Часть лингвистов попыталась найти пути примирения прежней и новой точек зрения на соотношение языка, расы и этноса. Бесспорный лидер этого направления, Г. Шмидт-Рор, отвечая на вопрос, чем же являются немцы и в чем заключается их самобытность, еще в 1917 г. заявлял: "Как различия в физическом строении людей, без сомнения, объясняются, исходя из их расовых задатков, так в высшей степени вероятно, что и их душевное и духовное отличие сильно определяется унаследованной кровью. Однако же удобство этой объяснительной параллели приводит, пожалуй, слишком часто к переоценке расовых сил" [Schmidt-Rohr 1917: 27]. Как и национал-социалисты, он задает себе вопрос, учатся ли изучающие немецкий язык одновременно мыслить и чувствовать по-немецки, "насколько негры, говорящие по-немецки, являются немцами", и может ли портиться язык оттого, что он заимствуется другими народами и расами [Schmidt-Rohr 1917: 27]. Считая, что ментальные и эмоциональные характеристики народов обусловлены языком и расой одновременно (!), он поначалу отдает предпочтение языку как "более значимому и существенному фактору" [Schmidt-Rohr 1917: 27]. Негры, изучающие немецкий язык в германских колониях, коверкают этот язык, по его мнению, не больше, чем гамбургские портовики. Позднее он приводит всю гамму тех сил, которые обычно в разных сочетаниях используются в качестве объяснения этнической самобытности (язык, раса, обычай, культура, история), а затем отвергает расу как созидательный принцип применительно к немецкому сообществу. Шмидт-Рор, таким образом, трактует язык как силу, созидающую "коллективную душу" народа [Schmidt-Rohr 1932: 8], вызывающую в данном конкретном случае у данного конкретного народа чувство гордости. Но «эта гордость демонстрирует нам, к вящему смущению, что нельзя, с одной стороны, утверждать о духовном отцовстве языка, а с другой стороны, – одновременно определять сущность народа исходя из расы, и что далее нельзя говорить о "народе" как данной посредством языка групповой личности, если национальные цели видятся в рамках исторически возникшего государства» [Schmidt-Rohr 1932: 11].

Что же формирует народ как единство? С точки зрения Шмидт-Рора, "будучи языковым сообществом, группа людей является чем-то единым, невзирая на то, что различные расы принципиально способны участвовать в этом сообществе, с точки зрения единых формирующих дух и эмоции сил, которые воздействуют, способны воздействовать на всех разных по своей одаренности членов группы" [Schmidt-Rohr 1934: Sp. 411]. Расовые задатки оставляют, по мысли Шмидт-Рора, лишь некое довольно малое пространство для вариаций послеродового развития, хотя раса и обладает известной "пластичностью", объясняющей физическую разницу между народами, родственными по кровному происхождению. Но раса не представляет собой как таковая действительно "групповую личность" (присутствующую в языковом народе), "раса как таковая не является даже симбиозной группой, не говоря уже о том, чтобы она была сообществом" [Schmidt-Rohr 1932: 222–223]. Дело в том, что упомянутая групповая личность выявляется в мире культуры, общественной жизни, отношения к определенным ценностям, а вовсе не в "находящемся на ином сущностном уровне мире биологических законов" [Schmidt-Rohr 1932]. Что же до группового характера расы, то она "в лучшем случае представляет собой класс многих сообществ, способных вырасти на одной и той же расовой почве", "класс тех реальных личностей, которые развивались на ее почве как творения сообщества с его культурной жизнью, и среди этих творений языковые народы суть важнейшие с точки зрения формирования личности" [Schmidt-Rohr 1932: 242]. Другие сообщества, способные произрасти на одной и той же расовой почве, – не связанные с языком прочие культурные сообщества, территориально-климатические сообщества, государства, конфессиональные группы, классы – не играют, по взглядам Шмидт-Рора, столь решающей роли при формировании личности [Schmidt-Rohr 1932: 244–265].

Тем самым, Шмидт-Рор высказывается гораздо решительнее многих современ-

ников, когда разбирает взаимосвязи языка и расы. Он заявляет в 1932 году: «Мы отрицаем самым решительным образом справедливость того воззрения, что существуют языки, "соответствующие сути" рас (arteigene Sprachen), кровно связанных народов, соответствующие формам духовности предков. Это воззрение есть не что иное, как льстящее своим авторам произвольное изобретение, служащее определенным целям». К примеру, «из шотландцев и ирландцев, которые являются по своим внутренним языковым "задаткам" кельтами, могут выйти лучшие англичане, даже великие английские поэты» [Schmidt-Rohr 1932: 193].

Какие же цели преследует, по мнению Шмидт-Рора, национал-социалистическая идея языка как "эманации расы"? Следуя законам времени и жанра, Шмидт-Рор прямо заявляет: «Это учение о наследственном характере народа используют враги нашего народа... Добрых немецких этнических братьев, родителями которых были венгры или поляки, чехи или евреи, оно сделало бы немцами второго сорта, немцами, которые лишь "используют" свой родной язык, но не "выражают себя" в нем. В действительности же эти немцы несут в себе судьбу той же человеческой группы, что и мы, все прочие немцы» [Schmidt-Rohr 1932: 193]. В этой же связи он резко осуждает антисемитизм, считая его явлением, способным поставить под сомнение становление немецкой нации: "Нордические бредни, антисемитская клевета суть ныне те силы, которые в совершенно особой степени мешают тому, чтобы наш несчастный, окруженный тысячей серьезных опасностей народ осознал свою истинную беду и решительно, объединенными, направленными на одну цель усилиями приступил к спасительному труду. Нордические бредни и антисемитская клевета особенно мешают тому, чтобы из нашего спящего или раздираемого саморазрушительным безумием народа вышла единая, бодрая нация" [Schmidt-Rohr 1932: 303].

Вообще языки «путешествуют совершенно беззаботно по границам рас, следуя собственным законам своей культурной силы, они сплавляют в себе расы, они отдают части населения другим языкам в зависимости от культурно-политической силы народов, но не рас. "Чистые" расы с "адекватными их сущности языками" – даже если бы они когда-либо существовали – с неизбежностью раскололись бы на языки и диалекты по собственному закону в с я к о й языковой жизни» [Schmidt-Rohr 1932: 234]. Человеческие расы представляют собой «понятийные образования, возникшие благодаря человеческому произволу, имеющие, пожалуй, философско-экономическое значение, но ввергающие в опасное заблуждение, а) если при этом утверждается о прочной связи определенных эмоционально-духовных признаков ценностного характера с определенными физическими признаками как о правиле в собственном смысле слова, данном фактически, и б) если одна раса считается "чистой" и уже тем самым высококачественной, а другая – "смешанной" и тем самым неполноценной» [Schmidt-Rohr 1932: 242].

Шмидт-Рор формулирует принципиальный вывод о связи языка и расы следующим образом: "Каждому, кто готов отказаться от расхожих предрассудков, станет вполне ясно, что в б о л ь ш о м н а р о д е сливается воедино нечто в е с ь м а ч у ж д о е д р у г д р у г у и разное п о с в о е м у к р о в н о м у п р о и с х о ж д е н и ю и племенной принадлежности... Более того, с одной стороны, мы обнаруживаем т у ж е расу в различных народах и, с другой стороны, всякий е д и н ы й к а к т а к о в о й народ основан на нескольких, совершенно отличных друг от друга расах", так что «непредубежденному мыслителю придется осознать, что не являющийся в расовом отношении единым "н а р о д" есть социальное образование, иное по сути и по рангу, нежели "р а с а"» [Schmidt-Rohr 1932: 209]. Это различие он иллюстрирует, вводя понятия "физического отцовства" и "духовного отцовства" – двух миров, существующих по своим собственным законам и не совпадающих друг с другом; то же мнение, что "несоединимое возможно соединить", по его мысли, коренится в унаследованных предрассудках и эмоциях. Сомнения вызывает у Шмидт-Рора сам характер расы как коллективного образования, в особенности еще и потому, что к началу 30-х гг. никакого "серьезного учения о расовой душе с достоверными

результатами" еще не сложилось, а одна из задач главной книги Шмидт-Рора состояла как раз-таки в том, чтобы доказать, что "его и быть не может" [Schmidt-Rohr 1932: 211].

В этой связи Шмидт-Рор неустанно взывает к властям не дать "расовому бреду" одержать верх над рассуждениями о превалировании духовного, ибо этот расовый бред есть не что иное, как "биологический расовый национализм, раскалывающий этнос" [Schmidt-Rohr 1933: 150].

При этом некая взаимосвязь между языковым сообществом и физическими особенностями людей, входящих в него, кажется Шмидт-Рору реальной; он приводит в качестве примера исследования, которые пытались доказать, что разным диалектам одного и того же языка соответствуют разные черты лица, связанные с конкретными произносительными особенностями. Шмидт-Рор соглашается с тем, что «чужая кровь вносит особую окраску в немецкое мышление, но именно из этого выросло в нашем немецком народе столь богатое многообразие... Целые племена были переплавлены посредством чужого языка, несмотря на их кровное отличие, в чужом народе. "Германокровные" лангобарды стали итальянцами, а славяне на востоке и юго-востоке Германии и поныне становятся немцами» [Schmidt-Rohr 1934: Sp. 411]. На некоторые уступки расовой теории он, правда, идет, заявляя, что "выражающиеся в конкретном языке духовные и психические особенности сильно обусловлены расовой предрасположенностью группы людей, говорящих на этом языке", хотя "именно многообразие рас и расовых массивов сплачивается в наших европейских народах в единое целое и сообща трудится над формированием объективного культурного феномена, объективного этнического феномена языка" [Schmidt-Rohr 1933a: 85]. Именно это позволяет Шмидт-Рору в 1933 году (!) говорить о "братской этнической сплоченности со всеми другими немцами, в том числе и ненордическими" [Schmidt-Rohr 1933a: 85].

Однако между описанным нами радикальным Шмидт-Рором 1932–1933 гг. и Шмидт-Рором 1934 г. обнаруживаются уже некоторые расхождения. "Не только осознание нашей кровной связи и происхождения столь необходимо, но и осознание более духовных истоков нашей особой этнической сущности... Но как из конкретного человека по его предрасположенности получается принадлежащая к конкретному народу реальная личность, зависит весьма существенно еще и от послеродовых, этнических воздействий. К кровной предрасположенности добавляется еще и язык как сущностно формирующее условие. В нем из множества заложенных способностей возникает единство возможностей (Leistungen), единство духовных достояний, единство народа. Он одновременно является силой (Macht), передающей последующим поколениям достояния народа", – пишет Шмидт-Рор, совершенно отчетливо указывая теперь на "кровную предрасположенность" и язык как на два по меньшей мере равноправных фактора формирования народа [Schmidt-Rohr 1934: 409].

Последующий переход Шмидт-Рора на позиции расового детерминизма ошеломляет своей скоростью: "Без сомнения, особость нашего языка соопределяется в существенной мере расой. Язык не только созидатель, но и творение... Если мы посмотрим на народную целостность как нечто совокупное, то язык, во всяком случае, является намного более творением, сущность которого определяется расой. С точки зрения конкретного человека же, язык является в значительно большей степени творцом, ибо множество заложенных в нем духовных сил объединяющего многие расы народа мощнее, чем особая предрасположенность конкретного человека" [Schmidt-Rohr 1934: 409]. К примеру, "нордические нижнесаксонец и восточноэльбский немец видят мир при всех племенных различиях тем же этническим образом, они видят его в свете немецкого познания мира, в то время как столь же нордический англичанин судит о нем с точки зрения английского мировосприятия (Welterleben)" [Schmidt-Rohr 1934: 411]. Поэтому "нельзя ни при каких обстоятельствах за расой забывать о значении языка как обусловливающей единство народа, передающей единый дух народа силы", поскольку "немецкий народ все-таки состоит из представителей множества рас и расовых смешений, которых связывает лишь общий язык" [Schmidt-Rohr 1935: 218].

Метаморфоза Шмидт-Рора, однако, еще только начинается; в своих рассуждениях он еще не окончательно отошел от гумбольдтианства, ссылается на Гердера, Гумбольдта и Фихте и даже довольно неортодоксально отзывается о расовой предрасположенности человека: "Есть много условий, при которых мы осознаем, что только одна наша немецкая кровь, которую мы по-новому и глубоко полюбили, не достаточна для того, чтобы сделать нас немцами и оставить нас немцами" [Schmidt-Rohr 1934: 411]. Он даже призывает вообще отказаться от понятия "раса", заменив его понятием "кровь", поскольку "всякая попытка... определить превосходство или неполноценность, рассматривая внешние признаки или, что было бы еще показательнее, иноэтнические имена как признак этнической неполноценности всего человека, есть прегрешение перед нашим народом" [Schmidt-Rohr 1934a: 322]. Характерно, что такая позиция Шмидт-Рора совпадает с предостережениями ведомства по просвещению в области этнической политики и расовой гигиены против "ненормальных явлений типа расового высокомерия, семейственных умствований и белокурой мании" [Schmidt-Rohr 1934a: 322]! Годом позже он уже не будет испытывать ни малейшего сомнения в том, что "обладающие своеобразием, своей ценностью кровь, раса являются важнейшим изо всех условий особого развития конкретных народов. Слишком долго мы грешили против этого вывода" [Schmidt-Rohr 1935: 217].

Мнение Шмидт-Рора разделяет целый ряд лингвистов того времени, например, известный диалектолог Фр. Штро, который указывает: "Он (родной язык) обладает такой силой, чтобы реализовать сообщество на расовой основе, сделать людей, обладающих расовыми способностями к формированию сообщества, действительными членами сообщества" [Stroh 1931/1932: 229]. Подобный симбиоз расы и языка использует для своих конструктов и О. Дизель: "Исходя из рас, нельзя установить народ и его этнический состав, превалирование со-общественного столь же важно. Расы можно поставить только р я д о м с другими влияниями, р я д о м с духом, историей, ландшафтом, но не следовало бы при этом недооценивать расу; ведь без сомнения расовое наследие соучаствовало в народе и этническом составе, то явно, то неявно" [Diesel 1934: 17–18]. И такое соположение расы и языка при ясном признании первенства языкового фактора в формировании этноса для того периода не единично (см., например [Hüpgens 1934: 4]). Дизель же недвусмысленно определяет мощь этого фактора: "Язык как духовный феномен, как духовный процесс способен преобразовать один народ в другой. Язык обладает невероятнейшей властью над душевной жизнью человека. Если дети воспитываются на чужом языке, то они усваивают его способы выражения и мимику, его суждения и движущие силы индивидуальной психической жизни, так и их душа преобразуется" [Diesel 1934: 22].

Настроения в националистических кругах лингвофилософов продолжают окрашиваться в официальные цвета к 1939 г. В работе "Об общественной действенной силе языка" Шмидт-Рор отмечает уже, что "первый и основной уровень всякого сохранения расово-этнической (voelkisch) сути и этнического бытия есть кровь, второй – язык народа" [Schmidt-Rohr 1939: 7]. Статья, где он развивает свое новое положение о языке как *втором уровне сохранения народа*, предваряется хвалебным отзывом руководителя политико-расового ведомства НСДАП Гросса, что дает право думать о "реабилитации" Шмидт-Рора и в глазах правящей партии. Гросс пишет в своей преамбуле: "Автор нижеследующей статьи... – языковед и в течение многих лет... считался – особенно за рубежом – противником немецкой расовой идеи. Нижеследующие рассуждения показывают, что автор осознает ныне значение крови и расы столь же хорошо, сколь и ранговое соотношение, в котором находятся расовые и культурные ценности. Я приветствую публикацию статьи как доказательство того, что в духовном мире Германии все яснее выступает единое воззрение во всех областях и во все более значительной мере растворяются противоречия вчерашнего дня в единстве сознающего значение расы общего воззрения" [Schmidt-Rohr 1939a: 201]. Не вызывает никакого сомнения, что переход Шмидт-Рора на позиции национал-социалистического языкознания рассматривается Гроссом как большая победа последнего именно потому,

что вместе с Шмидт-Рором этот переход совершило целое крыло в прошлом умеренных лингвистов. Сам же Шмидт-Рор становится членом НСДАП.

Что же пишет теперь Шмидт-Рор? Он, в частности, утверждает, что "все, что высказывается о сущности языка, проистекает из расы как важнейшей среды порождающих язык сил" [Schmidt-Rohr 1939a: 265]. Поэтому, говоря о различных угрозах, которым подвергается в данный момент немецкий народ, он отмечает, наряду с падением рождаемости, "угрозу на уровне крови", ибо "не все равно, какая кровь формирует плоть народа. Немецкая этническая личность и присущие ей культурные возможности зависят как от здоровья и высоты возможностей немецкой крови, так и от ее особо личностно сформированного расового своеобразия" [Schmidt-Rohr 1939б: 201–202].

Однако гораздо большую опасность, по мысли Шмидт-Рора, представлет собой явление *реэтнизации* (Umvolkung), не имеющее непосредственного отношения к расовым процессам. Реэтнизация, или смена этнической принадлежности, происходит, как пишет Шмидт-Рор, к примеру, в результате брака с представителем другого народа, который может и не быть расово чуждым немецкому. Если такой брак заключается с представителем другого европейского народа, то такая реэтнизация не означает воздействия на расу потомства, поскольку "европейские народы, среди которых живет немецкий народ, содержат в себе те же расовые признаки, что и немцы, но в ином соотношении генов" [Scmidt-Rohr 1939б: 205]. Реэтнизация происходит, таким образом, в "физически не изменившихся людях", в которых все же "что-то меняется", а именно: "их духовное своеобразие (Artung), их этническая принадлежность", и это изменение наступает не где-нибудь, а на уровне языка: "Язык есть собственно тот уровень, на котором происходит реэтнизация. Он есть явная или тайная цель всех мер во всех сферах жизни" [Schmidt-Rohr 1939б: 205]. Здесь Шмидт-Рор делает важную оговорку, ограничивающую степень его возврата к прежним взглядам: "Этим фактом еще не сказано, что, к примеру, язык один только и является признаком этнической принадлежности, и подлинность немецкой крови (Deutschgültigkeit des Blutes) должна быть присоединена к нему. Далее, существуют, конечно, и такие группы населения, в которых этот основной случай не имеет место и где стремление к своей этнической принадлежности, без сомнения, следует оценивать выше, чем даже язык" [Schmidt-Rohr 1939б: 206]. Таким образом, Шмидт-Рор проводит решительную ревизию своего понимания языкового сообщества, отходя от опоры на язык как единственную характеристику народа.

Этот отход сопровождается окончательным отказом от прежней конфронтации с расовой идеей: "Раса есть, по сравнению с языком, более глубокая, более исконная сила. Тем самым охарактеризовано соотношение расы и языка друг к другу в его существеннейшей черте. Особая сущность, особая личность, особый характер языка самым тесным образом обусловлены прежде всего расовой особенностью создателей этого языка, унаследованными вместе с их кровью физическими и духовными способностями и задатками. Но обратное не имеет места. Язык не влияет никак на особые задатки и способности расы. Соотношение творца и творения здесь строго односторонне. Только раса является творцом, а язык есть лишь творение – с точки зрения расы. Раса – изначально более глубокий слой человеческого сущностного склада, нежели язык. Ведь все, что высказывается о сущности языка, проистекает в конечном итоге из расы как самой главной среди сил, созидающих язык" [Schmidt-Rohr 1939б: 205]. Язык выступает теперь как модификатор возможностей, предоставляемых расой, язык "предпринимает скачок из реальности, данной вместе с расовыми задатками возможностей духовного развития, в одну единственную, а именно одну определенную, этнически-историческую реальность (Wirklichkeit)" [Schmidt-Rohr 1939a: 267].

Для принадлежности к определенному народу, по мысли Шмидт-Рора, совершенно несущественна государственная принадлежность, поскольку «не являющиеся "живущими в рейхе немцами" граждане Словакии, Америки являются для нас немецкими

этническими "товарищами"» [Schmidt-Rohr 1939a: 269]. И все же в числе детерминантов этнической принадлежности в первую очередь он называет "данный в крови и расе склад способностей и задатков" и лишь затем "послеродовое наследие", когда "немец должен принять духовную форму немецкого мировидения (Weltschauweise)".

Последующее развитие взглядов Шмидт-Рора показывает еще более серьезный отход от первоначального проекта: в работе "О языковой идее в военное время" он добавляет к тезису о языке как втором уровне сохранения народа тезис о языке как *первом уровне этнического самоутверждения* для немцев, проживающих вне рейха и "охваченных чужими народами" [Schmidt-Rohr 1940: 145]. Говоря же о понятии народности (Volkstum), сформированном в эпоху Наполеона в период осознания этнической глубины языка, он окончательно порывает с Фихте, ибо тот "резко отвергал расу как силу, созидающую народ". В современный же Шмидт-Рору период односторонность понятия языкового народа, за которое так ратовал Фихте, односторонность государственного мышления времен Бисмарка "преодолены", так что "в естественном, осмысленном порядке на благо нашего народа ныне закреплено соотношение рангов расы, государства и языка между собой" [Schmidt-Rohr 1941: 15]. Формирование нового симбиоза языка и расы – gens loquens – было таким образом завершено.

ГЛОТТОЦЕНТРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ЛЕГИТИМАЦИОННАЯ ОППОЗИЦИЯ ИЛИ ВНУТРЕННЯЯ ДИВЕРСИЯ?

Некоторые совпадения с ранним Шмидт-Рором обнаруживаются у гораздо более умеренного философа Ф. Панцера в его ректорской речи, где он липает биологические предпосылки народного сообщества всякого значения, ибо поначалу детерминирующая сила народной традиции ослабляется коммуникациями и экономикой, "общая раса не реализована как естественная предпосылка ни в одном из крупных современных народов", а обычаи и жизнь в границах одного государства также утрачивают свое значение [Panzer 1926: 4]. Для Панцера единственной непреходящей основой всякого этнического единства является язык. Язык – "выражение и творение того народа, который является его носителем, зеркало его своеобразия и закрепление его картины мира", ибо "он живет, когда конкретные его носители умирают поколение за поколением; так он становится передатчиком этнического и естественным воспитателем его духа" [Panzer 1926: 8]. В этой связи Панцер приводит сравнения языков с фильтрами, пропускающими только определенные элементы из потока мировой сущности, а также с "очками определенной шлифовки и определенного цвета, через которые он рассматривает происходящее в мире" [Panzer 1926: 9].

Известный историк немецкого языка А. Бах пытается найти умеренное истолкование тезиса об "эманации расы": "Мы считаем недоказанным, даже невероятным, что звуковая эволюция немецкого языка должна увязываться с расовыми условиями... Другие языковые явления, напротив, по-видимому, связаны с ними. Вспомним заложенные в темпераменте и тем самым в расах народа звуковые факты, то есть темп и ритм речи, звуковое оформление предложения, затем лаконичность, скупость в выражении, с одной стороны, и словесный шквал, словоохотливость, с другой стороны, что, впрочем, переводит нас уже в сферу, лежащую за пределами чисто звукового. Прежде всего, значимой является, вероятно, о д а р е н н о с т ь преобладающей в этом народе и определяющей его в целом расы, с точки зрения его языка. Безусловно, умственно высокоодаренный и волевой народ заложит в своем языке иную по объему и глубине картину мира, чем народ, в бытии которого над разумными и волевыми началами превалируют чувственные" [Bach 1934: 286]. В качестве примера Бах называет француза, "при всей восторженности, всем задоре, всем чувстве внешнего блеска все же настроенного сильно и односторонне на логико-рациональное", поляка, "в свою очередь имеющего чувственную основу", и немца, в котором "рациональные и эмоциональные черты пришли в большее равновесие, чем в названных народах";

основания для подобных утверждений он находит в аналогичной разнице между картинами мира французского, польского и немецкого языков [Bach 1934: 287].

Наконец, лидер формирующегося в этот период глоттоцентрического направления Й.Л. Вайсгербер рассматривает этот вопрос не просто в версии, "как воздействуют племя, раса на язык", а в версии, "не обладает ли язык, в свою очередь, гораздо большим значением как условие этих взаимосвязей" [Weisgerber 1934, Tl. 2: 165]. Он категорически отвергает попытки вывести происхождение языка из биологических условий [Weisgerber 1934, Tl. 2: 166] либо вывести своеобразие племени и в особенности диалекта из наследственной передачи одинакового рода предрасположенности членов племени. "Напротив, оказалось, что передаваемые по наследству задатки, заложенные в жизненных условиях человеческих сообществ такого порядка, и общее духовное достояние неразделимо сливаются и взаимопроникаются" [Weisgerber 1934, Tl. 2: 169]. Что же касается духовного своеобразия биологически взаимосвязанных групп, то здесь Вайсгербер предпринимает следующий путь рассуждений: "Раса и язык в исторически фиксируемое время не совпадают... Языковые границы никогда не являются границами расы и наоборот... У нас нет никаких оснований, позволяющих нам проследить языковой тип во временном и пространственном отношении до времен предположительного формирования расового своеобразия этих населений" [Weisgerber 1934, Tl. 2: 171]. "Тем самым на наш вопрос, взаимосвязан ли мир конкретного языка с расовыми предпосылками, следует ответить отрицательно" [Weisgerber 1934, Tl. 2: 171]. Того же мнения придерживается Вайсгербер и в рассуждениях о судьбах индоевропейских языков и говорящих на них народов: «Помехой является здесь во многом привнесение расовых вопросов: индоевропейской расы, совершенно очевидно, еще не существовало в эпоху "разделения языков" и даже задолго до нее» [Weisgerber 1930: 573]; более того, в развитии и распространении народов, говорящих на индоевропейских языках, этим последним принадлежит бесспорная заслуга [Weisgerber 1930: 574].

Весьма примечательны рассуждения Вайсгербера о взаимосвязях духовных задатков расы и внутренней формы языка: "Биологические данности и законы формирования расы недостаточны, чтобы участвовать в качестве решающего фактора в формировании языка. Очевидное влияние расы на язык вообще еще не доказано. Во многих сферах влияние расы вообще исключено" [Weisgerber 1934, Tl. 2: 179]. Вместе с тем, Вайсгербер не желает отрицать всякой взаимосвязи между расой и языком, обращая внимание на "долю участия языка в создании расы", на законы развития языка, не совпадающие с законами расовых судеб, и особенно на многочисленные разновидности расовых фактов в исторической реальности. Область языка не подчиняется "простому и сплошному развитию естественнонаучной формы", в нем действует особый закон духа; этот закон "накладывает свой отпечаток на форму человеческой жизни, надстраивает и формирует те возможности, что заложены в данном духовно-физическом отрезке развития" [Weisgerber 1934, Tl. 2: 179]. Вывод, к которому приходит Вайсгербер накануне нацистского прихода к власти: человек не является творцом языка ни как конкретное существо, ни в его семейной совокупности, ни в его кровной взаимосвязи. Более того, "сведéние картины мира языка к задаткам биологически взаимосвязанной группы людей всегда будет разбиваться о тот факт, что я з ы к – не величина природного мира, а форма проявления духа. Как таковая он есть историческая величина и подлежит условиям, которые имеют важнейшее значение для развития и осуществления духа" [Weisgerber 1934, Tl. 2: 180]. Подобное отношение к проблеме расово обусловленных задатков у Вайсгербера вынужденно изменится после "взятия власти" национал-социалистами, когда он уже будет говорить о процессе изучения человеком родного языка и усвоения им языковой картины мира в связи с "развитием его способностей и наследственных задатков" [Weisgerber 1934a: 361]. Правда, и тогда он отдаст предпочтение духовным наследственным задаткам, передаваемым с родным языком [Weisgerber 1934a: 362].

Этот переход в область политики сближает Вайсгербера с Х. Фрайером, выдвинувшим в 1933 г. понятие "политического народа". Однако подобный переход означает

для Вайсгербера путешествие в слишком скользкую зону: народное сообщество определяется им как "сообщество, создаваемое тем же языком внутри области расово родственных людей" [Weisgerber 1934, Tl. 2: 228], хотя это понятие и не является ключевым в его теоретическом здании. В том же месте он отвергает наделение естественно-научного понятия расы элементами эмоционально-духовного порядка [Weisgerber 1934, Tl. 2: 229] и одновременно считает, что "и для языкового сообщества справедливо то, что его члены в общем подпадают под понятие расово родственных людей", но "все же это понятие не так однозначно, чтобы не возникало разницы во мнениях о его толковании, и здесь становится заметно, что идея расы по своей сути более преследует цель отсева и отбора, а идея языка выдвигает на передний план цель сообщества" [Weisgerber 1934, Tl. 2: 230]. В этой цепочке размышлений очевиден поиск основного различия между двумя конкурирующими концепциями, и выбор в пользу языка как духовного и соединяющего начала подкрепляется дальнейшим размышлением Вайсгербера о целесообразности внесения естественно-научного понятия расы в действительность исторического процесса, в результате чего ему видится лишь одно – "разрыв тех со-общественных образований, которые мы обнаруживаем и признаем в народах". Поэтому использование понятия расы должно быть ограничено, чтобы "не дать возобладать сомнительным последствиям идеи отбора" [Weisgerber 1934, Tl. 2: 231].

В качестве очевидного примера Вайсгербер привлекает проблему полноценного участия носителей языка в языковом сообществе. Такое участие, конечно же, невозможно во всех конкретных случаях в силу разницы в жизненном пути, опыте, задатках и пр. Однако среди всевозможных возражений наиболее примечательным кажется Вайсгерберу то, что языковое сообщество может включать людей, не входящих никоим образом в народное сообщество [Weisgerber 1934, Tl. 2: 232]. Возражение против этого тезиса, выдвигавшееся Б. фон Бацаном касательно евреев в Германии ("языковых попутчиков"), резко расходится с приведенным выше определением народного сообщества (я з ы к создает это сообщество из расово родственных людей), то есть, по мысли Вайсгербера, не может и быть таких членов языкового сообщества, которые не являлись бы членами народного сообщества. Если же какая-то группа людей, использующая данный язык, внутренне не принадлежит к языковому сообществу, потому что ей закрывают полный доступ к языку и к осуществлению языкового сообщества причины народного или расового характера, как о том заявляет Бацан, то следует назвать те совершенно особые условия, при которых подобная ситуация вообще возможна! Мнение же Вайсгербера на этот счет ясно – таких условий не может быть: "Даже те, кто сам себя исключает из народного сообщества, не желая взять на себя заложенные в языковом сообществе связи, обязанность участвовать в решении заложенных в языковом сообществе задач, все равно остаются во власти законов и целей языкового сообщества" [Weisgerber 1934, Tl. 2: 233].

С 1934 г. основным различием между народом и языковым сообществом Вайсгербер считает наличие в народе "более глубоких основ", как то: "кровной связанности, единообразия задатков и жизненного пространства". И все работы Вайсгербера 1933–34 гг. представляют собой скорее имплицитное продолжение научной дискуссии с национал-социализмом, и эта дискуссия не прерывалась именно благодаря избранной Вайсгербером тактике "идеологических заклинаний". Подобная позиция, конечно, ставит исследователя немецкого языкознания перед дилеммой: считать ли работы глоттоцентристов своего рода внутренней оппозицией режиму или полагать, что национал-социалисты разрешали подобные публикации, преследуя определенные внутриполитические цели.

Эта дилемма волновала и самих представителей глоттоцентризма. Анализируя уже гораздо позднее ситуацию середины 30-х гг., Вайсгербер определил в качестве сердцевины конфликта с расовыми фанатиками вопрос о членстве евреев в немецком языковом сообществе: и здесь обращается внимание расовых фанатиков на то, что их (направленные против евреев) аргументы разрушают почву для правового положения

(и немецких) меньшинств; им следовало бы подумать о том, есть ли такая формулировка (против евреев), которая не предавала бы одновременно миллионы (в том числе немецкоязычных) меньшинств чужому произволу. Это было сказано так ясно, как это было только возможно, и каждый мог это понять. То, что это было понято, показывали реакции из партийных кругов: к титулам "враждебная народу языковая философия" добавились другие, типа "ползучее языковедение" и т.п. (Weisgerber 1964: 7].

Приведем также мнение Х. Амманна, очевидно, также испытавшего в тот же временной период сильнейшее "нордическое искушение": "Несмотря на все трудности, мешающие применению расовых положений к истории языка, мы все же можем подтвердить еще раз ту основную точку зрения, что индогерманские языки суть нечто большее, чем просто случайное одеяние мышления и чувств детерминированных нордической расой народов. Ведь это не чуждый духовный мир раскрывается перед нами благодаря сравнительно-историческому языкознанию в качестве древнеиндогерманского, а наш собственный, только в образе ранней юности, и мы не чувствуем, прослеживая его историю в истории нашего языка, что при всех глубоких переменах где-то произошел решающий разрыв, который позволил бы нам осознать, что уже были достигнуты границы внутреннего, основанного на сохраненном сущностном единстве, понимания" [Ammann 1938: 117]. Но если индоевропейские языки – не случайное одеяние мысли и эмоций нордических народов, то какова же их связь? У Амманна нет сомнений в том, что единство расы и языка должно было когда-то существовать, "если вообще существовали когда-либо расово однородные группы людей (а без этой предпосылки речь о смешении рас потеряла бы всякий смысл)" [Ammann 1938: 108]. Если же исходить из существования некой прарасы или нескольких рас, развивавшихся на раздельных территориях в различных условиях отбора, то отсюда вытекает существование одинаковых языковых задатков внутри "физически и духовно однородных групп", а уже на основе этих задатков формируется общий языковой тип, который существует до тех пор, пока "не обрели силу воздействия извне" и даже "несмотря на возможность того, что состав языка при пространственном расчленении группы продолжает формироваться разными путями" [Ammann 1938: 109].

Но выстроив это, видимо, бесспорное здание, напоминающее конструкты "теории полигенизма", Амманн тотчас же его разрушает, считая его ценность чисто теоретической в отношении исторических форм языка: "Ведь огромные временные периоды отделяют эпоху формирования расы от древнейших памятников человеческого языка. А как только языки разного строя станут сосуществовать и вступят после преодоления или падения пространственных барьеров в отношения друг с другом, то появятся и первые возможности того, что один языковой тип расширится за счет другого, будь то путем подчинения исконно иноязычных племен, будь то посредством влияния культурного превосходства" [Ammann 1938: 109]. Таким образом, по мнению Амманна, существует возможность усвоения языка, отличного не только по своему составу, но и по всему своему строю от исконного языка, и единственный вопрос, который остается в этой связи неразрешенным, заключается в том, осуществляется ли это "усвоение" (Aneignung) таким путем, что унаследованные языковые задатки могут проявиться вновь или же они полностью перестают проявляться. Амманн склонен полагать, что данные истории языка не опровергают гипотезы о существовании языковых задатков и определенной взаимосвязи между расой и языком. И эта взаимосвязь носит глубинный характер: "Наследственность языковых задатков была бы для языкознания как духовной науки маловажным предположением, если бы оно ограничивалось устроением звуковой части, "артикуляционной базы", даже если бы в этом понятии учли динамические элементы речевого темпа, ритма, ударения, мелодию языка; наоборот, сами эти элементы следует понимать как выражение определенной, расово обусловленной, эмоционально-духовной – и тем самым непременно физической – основной позиции" [Ammann 1938: 116]. Для Амманна же язык "на самом деле есть нечто не просто вообще и исключительно человеческое, но и нечто

с у щ н о с т н о человеческое, и в этом смысле язык во всяком случае содержится a priori в понятии человеческого бытия" [Ammann 1940: 34].

В целом же сопоставление тех выводов, к которым пришли немецкие философы языка к концу войны, обнаруживает крах националистического крыла и переход его в основных вопросах на позиции национал-социализма, в то время как глоттоцентрическое крыло попыталось под покровом идеологических заклинаний сохранить идею превалирования языка над прочими признаками сохранения народа. Вайсгерберу удалось спасти свое направление от полного разгрома и даже привести его к успеху в послевоенное время в ходе создания обновленной концепции языкового сообщества.

После войны им подводится черта и под дискуссией с национал-социалистами: "Не следует выводить возможность, масштабы и законы бытия языковых сообществ ни из биологического, ни из географического начала; связь по общему происхождению и языковое сообщество не обнаруживают нигде совпадения, а естественно данные пространства обнаруживают лишь слабую связь с протяженностью языкового сообщества" [Weisgerber 1949: 18], эти сообщества членятся лишь во взаимодействии с созданными ими родными языками [Weisgerber 1952: 6]. Так что "нерушимое членение человечества на языковые сообщества имеет приоритет перед всеми вторичными и преходящими системами государственными, экономическими, правовыми в том смысле, что его необходимость должна быть обеспечена с очевидностью при всех обстоятельствах, дабы этот человеческий закон в конце концов не взорвал эти вторичные системы" [Weisgerber 1950: 200].

Дискуссия о соотношении языка и расы в процессе формирования этнического целого прошла, таким образом, две фазы: в 1933 г. расовая доктрина языка была возведена в ранг государственной политики вне рамок научной полемики и без ссылок на ее доказательность; в 1945 г. эта доктрина перестала существовать, не оставив после себя никаких доказательств своей правоты. Декретный характер разрешения научных споров в очередной раз продемонстрировал свою несостоятельность. Однако лингвисты Германии вновь оказались перед этносозидающим треугольником, на этот раз состоявшим из языка, этноса и государства. Удалось ли на сей раз избежать декретности в лингвофилософских и, одновременно, политических дебатах?

ЯЗЫК, ЭТНОС И ГОСУДАРСТВО

Одним из главных вопросов философии и социологии языка в Германии становится в 50-х гг. отношение между языковым сообществом и национальным государством. Потребность в этнической опоре диктовалась и политическим состоянием, в котором оказалась Европа после второй мировой войны, и изменениями в оценке предлагавшихся для этой роли факторов, в частности, расы. Анализ этих факторов, в том числе и их возможного пагубного влияния на единство формирующейся Европы, не мог не учитывать опыта предшествующих десятилетий, который нашел, к примеру, свое выражение в точке зрения М. Вебера: "Ныне, в век языковых конфликтов, прежде всего языковое сообщество признается нормальной основой нации... Значение языка с неизбежностью возрастает параллельно с демократизацией государства, общества и культуры. Ведь именно для масс язык играет уже чисто экономически более решающую роль, чем для имущих феодального или буржуазного пошиба, которые по крайней мере в языковых областях с однородной культурой как правило говорят на иностранном языке, в то время как мещанин и пролетарий в чужой языковой области несравненно больше зависит от взаимосвязи с языковыми товарищами (Gleichsprechenden). И вообще: язык, то есть основанная на нем литература, есть первое и поначалу единственное культурное явление, которое вообще доступно массам в процессе усиления их участия в культуре" [цит. по [Ziegler 1931: 42]). Разделявшие это мнение представители глоттоцентрического направления начали формирование неогумбольдтианской социологии языка, нового учения о языковом сообществе, уже лишенного каких-либо биологических компонентов.

Однако это не означало безусловного принятия всеми лингвофилософами глоттоцентрической позиции, тем более что рассмотрение условий глоттогенеза уже имело в немецкой социологии достаточно устойчивую традицию. Так, один из известных социологов начала века Э. Блохер указывал на случаи, когда *государственное сообщество* оказывается сильнее языкового (в современной Швейцарии) или когда более мощным этническим фактором оказывается *религиозное сообщество* (пример: обусловленное религиозными факторами разное отношение к Австро-Венгерской монархии со стороны сербов и хорватов). Поэтому Блохер ставит языковое сообщество в один ряд с государством и церковью [Blocher 1918: 259–260]. Одновременно он разбирает и вопрос о враждебном отношении к иноязычным народам: "То в известном смысле варварское недоверие к иноязычным, те неосознанные процессы... теряют свою силу у образованных народов и людей; но одновременно в силу их образованности растет количество мыслей, возникающих и распространяющихся внутри языкового сообщества; языковое сообщество становится мыслительным сообществом (Gedankengemeinschaft), даже жизненным сообществом. Поэтому сознание языкового сообщества становится тем живее, чем глубже в народы проникает образованность, поэтому в XIX столетии и появились повсюду языковые конфликты и этнические вопросы" [Blocher 1918: 263–264]. В 50-е гг. У. Шойнер поправляет Блохера, считая, что современные языковые сообщества являются в существенной мере следствием политических сообществ и поэтому не могут рассматриваться с ними в одном ряду.

Отстаивая особый статус языкового сообщества, Й.Л. Вайсгербер выдвигает в качестве основного требование признать "естественное право языкового сообщества на этническое сплочение", поскольку "именно в языковом сообществе даны предпосылки для общежития и сотрудничества множества людей, и поэтому сфера значимости (Geltungsbereich) языка является естественным пространством народа; все носители данного языка связаны друг с другом теснее, чем члены всех прочих сообществ, можно даже сказать, что они самой судьбой связаны друг с другом и с их языком" [Вайсгербер 1993: 115–116].

Это чувство взаимной связи проявляется наиболее явно в случае *языковых конфликтов*, причем "не только меньшинство держится всеми силами за свой родной язык, но и господствующий народ чаще всего чувствует, что он не способен растворить в себе иноязычное меньшинство, пока оно культивирует и сохраняет свой родной язык" [Вайсгербер 1993: 116].

Необходимо отметить, что и у этой точки зрения существовала своя традиция в немецкой философии языка. Еще в самом начале XIX века Гумбольдт указывал на ту странную и типичную для его времени ситуацию, когда "различные народные племена объединяются в одно государство", но при этом "до сих пор чаще думают о том, как устранить трудности, вызываемые различиями между ними, а не о том, как использовать то хорошее, что привносит с собой своеобразие" [Humboldt 1801: 14]. Гумбольдт высказывал следующее суждение, повторявшееся его последователями неоднократно: "Нация, которая осталась бы равнодушной перед судьбой любого человека, говорящего на ее родном языке, для которой имя родины потеряло бы свое значение, которая полагала бы, что она заплатила дорогую цену за свою независимость, а потеряв ее, не сопротивлялась бы вечно чужому игу, такая нация немного бы страдала, если бы просто перестала быть нацией; но она была бы неспособна также рождать действительно великих личностей" [Humboldt 1807: 77].

Еще более категорично высказывается по этому поводу Э.М. Арндт, имея в виду франко-немецкий конфликт из-за прирейнских территорий: "Немцы не должны так легкомысленно отказываться от своих братьев, которые столь охотно относят себя к ним, но не на жизнь, а на смерть бороться за их освобождение; французам необходимо позволить владеть тем, что является французским" [Arndt 1813: 35]. Тему защиты немецких языковых меньшинств можно считать главным лейтмотивом политических трудов Арндта и основным источником *учения о языковом империализме*.

Сходно с Арндтом мнение Й.Г. Гердера: "Невозможно причинить бóльший вред

нации, чем похитить ее национальный характер, своеобразие ее духа и ее языка; поразмысли только, и ты увидишь этот невосполнимый вред" [Herder 1766: 143].

Практически аналогичная идея высказывалась позднее К. Фосслером, полагавшим, что "тот, у кого похитили земную родину, обретает в родном языке душевную, которая всегда и везде имеет смысловое содержание и потому вновь может стать телесной и земной" [Vossler 1925a: 136]. Именно об ожесточенном характере конфликтов говорит К. Фосслер, утверждая, что "все транспортные пути, все потребности и целесообразности полицейских, государственных, церковных властей теряют свою силу, как только в каком-либо народе пробуждается национальное чувство и привлекается для защиты угрожаемого языка своей страны" [Vossler 1925a: 135]. Еще в своей работе 1918 г. Фосслер утверждал: "Национально-языковая терпимость – это более поздний и нежный цветок человеческой образованности; поэтому, когда уже приобретено понимание этой проблемы, нетерпимость именно в этом отношении является еще большей глупостью и подлостью... Если же я душу язык своего соседа, чтобы вдохнуть в него свой собственный, то кто бы мог привести тому иную причину, кроме голого и глупого тщеславия, кое не становится лучше от того, что это тщеславие национальное" [Vossler 1918: 13]. К сожалению, такие проблески идиоэтнических размышлений характерны лишь для "раннего" Фосслера и лишь в отношении его размышлений о языковом империализме. Но даже в первых работах Фосслер все же не идет дальше рассмотрения национальных языков как "чисто эмоционального выражения этнического своеобразия", имеющего эстетическую значимость и уступающего практическим потребностям государства [Vossler 1918: 14]. Весьма характерно, что Фосслер в то время полагал, что только крупные "наднациональные" государства, типа Римской Империи, способны обеспечить защиту языков малых народов от давления языков более крупных [Vossler 1918: 13].

Важность проблемы языковых конфликтов подчеркивал и Ф. Маутнер, приводивший в качестве примера антипатию баварца к пруссаку, основанную на нелюбви к верхненемецким диалектам. Конфликты между языковым большинством и меньшинством осложняются зачастую тем, что "это языковое большинство как-то всегда взаимосвязано с экономическим, политическим или религиозным, отсюда и ненависть попавшей в разряд меньшинства части населения к большинству в такой, казалось бы, уютной сфере, как язык" [Mauthner 1906: 97].

В конце 20-х гг. Х. Клосс выделил в отношениях между языковыми сообществами три основных случая: *языковое игнорирование* (laisser faire), *языковой фанатизм* (политика ассимиляции) и *сохранение статуса кво* в языковой ситуации [Kloss 1929: 10]. Именно языковой фанатизм привлекал особое внимание лингвосоциологов в силу его особенно трагических последствий для развития языковых меньшинств, однако чаще речь шла не столько о языковом *фанатизме* (явлении все же более психологическом, нежели политическом), сколько о языковом *империализме*. Так, Клосс разбирал особенности языкового империализма в отношениях между так называемыми "языками-соседями" (Nebensprachen), носители которых могут в принципе понимать друг друга, т.е. между языками одной подгруппы или группы конкретной семьи.

М.Х. Бём пытался установить отличие языкового империализма от языкового *национализма* и пришел к выводу, что языковой империализм не имеет мотивов ассимиляции, здесь одна нация стремится распространить знание ее родного языка за пределы своих собственных языковых граждан, дабы представители чужого народа увидели мир по крайней мере временно и отчасти ее глазами [Boehm 1932: 233].

Эта "уютная сфера языка", по мысли Й.Л. Вайсгербера, оказала самое неблагоприятное воздействие на межгосударственные отношения в Европе двадцатого столетия. Привлекая в качестве материала прекрасно известную ему ситуацию вокруг немецкоязычного населения в Эльзасе и Южном Тироле, Вайгербер пытается найти доказательства тезиса о языке как "самой прочной и самой основной опоре народного самоутверждения" [Вайсгербер 1993: 117]. Это позволяет ему сформулировать те идеи, которые остаются важнейшими для языкового сообщества и которые этни-

ческому мышлению не удалось осуществить в борьбе с государственным мышлением: языковые сообщества выполняют определенные задачи в масштабах всего человечества, для чего им необходим совместный гносеологический труд всех членов сообщества; перерыв в полном цикле развития сообщества с неизбежностью ведет к угасанию членов сообщества и самого сообщества в целом. Однако "мысль о том, что права языкового сообщества должны пониматься принципиально не с точки зрения государственно детерминированного "меньшинства", а с точки зрения целепредназначенности языкового сообщества в целом, все еще довольно чужда европейскому мышлению" [Weisgerber 1948: 139], хотя признание целесообразности подобных обязанностей языкового сообщества перед своими членами смогло бы стать "открытием, способным ныне помочь Европе" в языковой области. Между тем, многочисленные языковые конфликты уже к началу тридцатых годов нашего столетия приобрели весьма ожесточенный характер, прежде всего, на всем немецком языковом пространстве. Эти конфликты "дают достаточно поводов для раздумий о том, что же значит язык в жизни народа и почему этническая принадлежность населения этих районов неотрывно связана с сохранением исконного родного языка" [Weisgerber 1930a: 439].

Отстаивая необходимость приоритетного культивирования родного языка, Вайсгербер отмечает еще в 1932 г.: "Даже ребенку понятна... противоестественность того принуждения, которое испытывают многие наши языковые товарищи, когда они добавляют к своему наречию не естественное совершенствование в виде немецкого языка, а чужой язык (а именно не с целью знакомства с ним, как это бывает в школе с иностранными языками, а с претензией на то, чтобы пользоваться им постоянно, сделав его основой мышления и действий)" [Weisgerber 1932: 148]. Ведь "если обозреть судьбы немцев на их пути через страны и столетия, то одно становится очевидно: только те этнические товарищи, которые сохранили свою привязанность к их родному языку, остались немцами; все те, кто отказался от своего родного языка, подпали под чужие народы" [Weisgerber 1935: 46].

Обоснование этого особого характера принадлежности человека к языковому сообществу заключается прежде всего в том, что языковые сообщества изменяются по другим законам и другому ритму, чем государства и политические сообщества, языковые сообщества. Они суть "самые длительные носители исторической жизни как таковой, и универсальный закон языкового сообщества имеет, очевидно, тот смысл, чтобы обеспечить исторические взаимосвязи человеческой жизни", родные же языки выступают в роли "исполнителей" (Vollstrecker) этого закона [Weisgerber 1950: 295]. Отсюда возникает та напряженность, в которой коренятся все проблемы двуязычия и из которой можно найти лишь один выход, если в области языка и во всем, что от нее зависит, будут уважаться естественно данные законы жизни языкового сообщества: в перспективе они все равно проложат себе дорогу вопреки действию всех инородных сил. Нарушением естественных законов существования языкового сообщества является прежде всего "похищение родного языка", принуждение к двуязычию, которое означает "разрушение духовного своеобразия и угрозу культурной дееспособности на поколения вперед". Из этого неизбежно следует, по мысли Вайсгербера, что "двуязычная народная группа не сможет исполнить ни свое предназначение в рамках языкового сообщества, к которому оно стремится, ни свою задачу внутри того государства, к которому оно отнесено. Сотрудничество в дальнейшем развитии общего языка прерывается" [Weisgerber 1933: 429].

Языковые конфликты, вне всякого сомнения, – это культурная "антиуниверсалия", находящая свое проявление в различных насильственных действиях, направленных на ассимиляцию иноязычного меньшинства в государственных интересах. Вайсгербер достаточно категорично суммирует опыт XIX и XX веков в выводе о том, что "народы, считающие себя неспособными признать это право (на родной язык), должны ради своего и общего блага отказаться от сохранения языковых меньшинств в сфере своей власти; ибо в конечном итоге они разобьются о них" [Weisgerber 1948: 126]. Исторические примеры, позволяющие сделать подобный вывод, – распад Австро-

Венгрии и Версальский договор 1919 г., так и не решившие вопроса о самоопределении народов. Цепь конфликтов, берущая свое начало в непримиримости государства Нового времени к неассимилированному в нем языковому меньшинству, продолжающаяся в непримиримости языкового сообщества по отношению к государству, венчается усилением стремлений государства обезвредить языковые меньшинства: ассимилировать их, помешать им общаться с языковыми товарищами поверх границ, отождествлять этнические устремления с государственной изменой и пр. Ступени нагнетания этого конфликта начинаются, однако, еще раньше – от княжеского государства, в котором осуществлялся принцип cujus regio, ejus religio. С другой стороны, в Германии с начала XIII в. как минимум уже практиковалось право на родной язык: в известном средневековом судебнике "Саксонское зерцало", составленном ок. 1220 г. рыцарем Айке фон Репко, содержалась статья, особо оговаривавшая, что каждый человек имел право выслушать обвинение в суде на своем родном языке. В Европе Нового времени уже царила злосчастная практика cujus regio, ejus lingua. Известно, к примеру, постановление французского Конвента, запретившего в 1793 г. использование немецкого языка в Эльзасе и планировавшего, по данным Ф. Брюно, массовое переселение эльзасцев вглубь Франции. Впрочем, эта практика сопровождалась и насильственной унификацией самого французского языка: еще в 1790 г. Национальное собрание Франции приняло план истребления всех диалектов, жаргонов и приграничных говоров во имя единства нации [Vossler 1918: 8].

Одним из наиболее серьезных испытаний в прошлом, которое неоднократно анализирует Вайсгербер, является проблема Эльзаса. Соглашение Бриана–Штреземана предусматривало, в частности, что ни один пфенниг не поступит из бюджета Германской империи на нужды Эльзаса. Между тем эти нужды включали и чисто культурные и религиозные проблемы, например, закупку богослужебной литературы на немецком языке. Французская сторона, как известно, регулярно приобретала подобную литературу на французском языке, ибо "существовала точка зрения, что в связи с культивированием немецкоязычной религиозности вырастет поколение эльзасцев, которые в конце концов смогут представлять опасность для французского государства" [Weisgerber 1959: 127–128].

Максима cujus regio ejus lingua "явно или скрыто опирается на идею о том, что властные, в особенности политические, условия суть достаточное основание для того, чтобы с использованием государственной власти вмешиваться в языковые обстоятельства и взаимоотношения людей" [Weisgerber 1959: 8]. Именно "боязнь принять на себя связанную с иноязыким населением работу и ответственность привела к впадению в полное варварство: выселение и изгнание" [Weisgerber 1959: 81]. "Преодоление этого языкового принуждения есть не менее насущная и огромная задача, чем это было преодоление религиозного принуждения; ведь его последствия приобрели в языковых столкновениях такой вес, что обеспечение языкового мира стало одной из самых серьезных задач сегодняшнего дня" [Weisgerber 1950/1951: 193]. Поэтому тот, кто "без предрассудков изучает причины катастроф, разразившихся над нами, наталкивается неожиданно часто на случаи воздействия языковых противоречий" [Weisgerber 1950/1951: 193].

Еще одним доказательством того, что именно Новое Время привнесло языковые конфликты в политические страсти Европы, Вайсгербер считает то, что средневековая Священная Римская Империя германской нации еще не знала никакого языкового империализма; напротив, последний стал следствием смены средневековой латыни государственными языками и политического расширения обособившихся национальных государств. Европа новейшего времени стала ареной борьбы с языковыми меньшинствами, порожденными Версальским и Сен-Жерменским договорами. По данным Л. Теньера, в 1926 г. из 80 903 777 носителей немецкого языка только 61 814 233 проживали в Германии, 9 млн. составляли немецкие этнические меньшинства, а остальные проживали в Австрии, Швейцарии, Люксембурге и Данциге. Всего же в результате двух указанных договоров в Европе образовалась армия языковых мень-

шинств – 62 млн. человек! [Weisgerber 1934, Tl. 2: 205]. Освобожденные в результате заключения договоров в Сен-Жермене и Версале народы "слишком скоро превратились в новых тиранов: они не только почти не сопротивлялись искушению насилием присоединить к себе группы меньшинств, но и более того, все они проявили готовность всеми силами проводить внутри вновь созданных государств языковую ассимиляцию новых меньшинств" [Weisgerber 1950a: 255]. Поэтому и "великогерманское мышление было естественным ответом на расчленение, вызванное Версалем, Сен-Жерменом и пр." [Weisgerber 1950a: 273]. Но Вайсгербер, очевидно, осознает недостаточность одного только объяснения подобного исторического развития и спрашивает сам себя, почему впоследствии такие недуховные принципы, как кровь и земля, одержали верх над традиционной немецкой идеей народа и в особенности над идеей языкового сообщества.

По крайней мере, время между двумя мировыми войнами было столь сильно пронизано языковыми конфликтами, что их воздействия нельзя упускать из вида в комплексе причин второй мировой войны. Можно упомянуть некоторые из причин языковых конфликтов того периода: отказ удовлетворить требование меньшинств разрешить им преподавание в школах на родном языке, дискриминацию немецкого языка в спорных областях под предлогом того, что речь идет о диалекте, который должен уступить место зарекомендовавшему себя литературному языку (французскому), искусственный характер границ, проходивших в то время по взаимосвязанным языковым областям, неверную языковую политику в целом.

Другой не менее известный пример – присоединение Южного Тироля к Италии в 1919 г., повлекшее за собой картину жестокого языкового империализма при Муссолини: полное изгнание немецкого языка из общественной жизни, чисто итальянские школы, наказание за частные уроки немецкого языка, искажение исторической картины вследствие замены немецких географических названий и фамилий на итальянские (вплоть до уничтожения немецких фамилий на надгробьях), стимулирование переселения итальянцев в немецкоязычные области Тироля, введение экзамена по итальянскому языку и особых условий трудоустройства, исключающих участие этнических немцев в профессиональной деятельности, полная итализация общественного и делового общения в суде, органах управления, на транспорте и пр. Уступка Южного Тироля Италии была, тем не менее, подтверждена Гитлером в 1939 г. Так что "южнотирольцам не нужен был никакой Вайсгербер, чтобы понять, какое бесправие им причиняет фашистская языковая политика. Это достаточно ощутимо дал им понять Муссолини. Они не нуждались ни в каком совете, чтобы прийти к идее катакомбных школ, когда все языковые права были растоптаны государством. У них было достаточно опыта, чтобы после краха фашизма знать, какие языковые опасности они навсегда должны были предотвратить" [Weisgerber 1973: 21]. Из современных проблем, затрагивающих немецкоязычные меньшинства, можно отметить проблему немцев в восточной Бельгии и все тот же Южный Тироль.

Обострение ситуации вокруг языковых меньшинств имело среди причин и то, что «претензии обделенных языковых сообществ, "национальностей" и "меньшинств" слишком легко переходили рамки оправданного и осмысленно возможного», между тем как "языковые сообщества суть духовные образования", смысл коих исполняется в осуществлении духовных возможностей [Weisgerber 1948: 126–127]. Признавая многочисленные связующие нити между духовным, государственным и экономическим, Вайсгербер тем не менее призывает видеть рубежи между этими сферами и признавать их принципиальную независимость друг от друга, прежде чем прийти к долгосрочным и во всем полезным решениям.

Суть всякого языкового конфликта – *столкновение принципа духа и принципа власти*, что и объясняет тот факт, что языковые коллизии обнаруживаются прежде всего в форме конфликта между государством и языковым сообществом (меньшинством). Важно то, что для Вайсгербера ценности этнические настолько выше ценностей государственного, насколько принцип духа следует возвысить над принципом

власти. В связи с этим он формулирует и опасности, связанные с языковой идеей: «Формирование боевых позиций между языковыми сообществами и государствами, в том числе с выходом за рамки неизбежных переходных трений (будь то конкретные государства, которые путем насильственного вмешательства пытаются оградить себя от оправданных чаяний языковых сообществ; будь то языковые сообщества, выходящие в своих претензиях за предусмотренные их сущностью рамки); усиление языковых границ путем выпячивания особенностей; размывание источников истинных языковых возможностей в искусственном превращении "малых языков" в "культурные языки"; раздробление связанных дотоле тесным взаимодействием народов; недоверчивое наблюдение за состоянием языковой политики соседних государств» [Weisgerber 1948: 142].

Принципиально важно то, что языковое сообщество не должно опираться на властные средства и не должно быть отдано на произвол власти. Сфера языка и народа должна рассматриваться как существующая по своим законам наряду со сферой государства и власти. Мнение Вайсгербера сводится в конкретном случае к тому, что ни государства не имеют права вторгаться в этническое государственными средствами, ни народам не пристало осуществлять этнические цели государственным путем. Лишь после устранения этих опасностей, проистекающих из многообразия языков, "можно будет надеяться, что не только в рамках отдельных государств, но и в качестве основы общеевропейской жизни будет осуществлен смысл языкового различия в исчерпании самобытности" [Weisgerber 1948: 147].

Языковой конфликт – одно из самых странных явлений этнической жизни. Он возникает везде, где силой вмешиваются в существующие языковые обстоятельства, издавая распоряжения об использовании языка, чинят препятствия в развитии родного языка и понуждают к изучению и использованию чужого языка. Арснами конфликта являются прежде всего государства с разноязыким населением или зависимыми областями. Мотивы заключаются вполне в намерении путем распространения своего языка расширить собственное языковое сообщество и укрепить его. Ожесточенный характер языковых конфликтов вполне объясним, ведь в данном случае вследствие ущемления родного языка человек поражается в основе своего духовного бытия: подвергается угрозе духовная сфера, посредством которой человек ориентируется в своем жизненном круге. Более того, если языковое сообщество есть группа людей, которые связаны воедино базовой силой их человеческого бытия, даром языка, то угроза одному воспринимается как удар по всему сообществу, и неизбежно то, что отпор рассматривается как общее дело. Особую остроту придает этой проблеме и тот факт, что языковые меньшинства как правило проживают на границах государств, зачастую спорных как раз из-за этих групп, поэтому "государственное мышление полагало, что оно должно сделать все, чтобы перекрыть эти границы; этническая связь поверх государственных границ казалась ему своего рода укреплением потенциального военного противника" [Weisgerber 1959: 103].

Одной из основных сфер языковых конфликтов является, по мнению Вайсгербера, *сфера школы*. "Школьные конфликты" служили началом более широкомасштабных языковых конфликтов, либо были кульминационными точками последних. Государство языкового большинства наступало, вводя всеобщее обязательное школьное обучение с использованием государственного языка, с государственными учебными планами, пренебрегая решением вопросов школьного обучения детей из языковых меньшинств. Государство как правило отрицательно решало проблему, нужны ли школы для меньшинств с родным языком, сколько и для скольких детей, какие нужны меры поощрения знания родного языка и пр., распространяя таким образом государственный язык на общение в кругу семьи. Однако "в особенности там, где родной язык школьника не совпадает с господствующим государственным языком, закон человечества превалирует над мнимыми государственными интересами: воспитать детей с помощью чуждого им государственного языка – это то же самое, что причинить страшный вред их духовному развитию" [Weisgerber 1952: 14].

Другие возможные сферы языковых конфликтов – *государственное управление, право, военная служба, общественная и культурная жизнь, средства массовой информации и религия*. М.Х. Бём приводит в своей работе весьма любопытные примеры языкового империализма в царской России: в 1865 г. в Литве было запрещено книгопечатание на латинице и предприняты попытки перевести литовский язык на кириллицу; практически тогда же было запрещено книгопечатание на украинском языке, а в 1876 г. запрещен и ввоз литературы на нем из соседней Галиции; во время первой мировой войны в балтийском регионе было запрещено использование немецкого языка [Boehm 1923: 76, 82, 202].

Влияние мира языка на поведение конкретного человека как нельзя более явно прослеживается именно на примерах языковых конфликтов, когда и в цивилизованной стране носитель чужого языка вынужден оплачивать использование этого языка: «Мы отвлекаемся при этом от случаев действительной неспособности говорить. Но как быть с теми случаями, когда две старенькие кумушки шепчут что-то друг другу на ухо и при этом боязливо оглядываются по сторонам, не вызвали ли они неудовольствия своим языком? Или когда сказанное несмышленышем легко квалифицируется как провокация? Или когда высказанное на местном языке требование предъявить проездной билет остается "непонятым"? Как быть с теми случаями, когда пойти в местное учреждение означает то же, что оставить дома обычные языковые привычки? Всякий подобный повод, быть может, не важен и может быстро позабыться; но повторенный сотни и тысячи раз подобный опыт оставляет следы, ввиду которых их виновнику стоило бы срочно их загладить, если ему не хочется, чтобы в один прекрасный день вся атмосфера происходящего не стала внезапно невыносимой» [Weisgerber 1975: 21]. Причина подобного накаления обстановки заключается вовсе не в одних чувствах, но в гораздо большей степени – в особом характере языкового сообщества как естественной сферы действенности данного родного языка.

В 60-х гг. Вайсгербер называет новые формы языкового империализма: после варварской промежуточной ступени *переселения или изгнания целых этнических групп* основной упор делается теперь на *духовной диверсии* (geistige Unterwanderung). Существенные черты этой духовной диверсии таковы: избегать насильственного языкового конфликта, пробуждать видимость особого культивирования языка меньшинства, сочетая его с духовным выхолащиванием унаследованного меньшинством языкового мира, наполняя сохраняемую таким образом форму желаемым духовным политическим и мировоззренческим содержанием. Эта духовная диверсия культивировалась в "сфере большевистского господства", т.е. в Восточной Европе в 1945–1991 гг., где не последним препятствием для созидания новой Европы было дробление когда-то целостных сообществ. Наиболее ярким примером такого дробления является для Вайсгербера разделение Германии: "Деление оставшейся Германии на два государства ничего не имеет общего с волей языкового сообщества. Оно есть коррелят того факта, что в Центральной Европе сходятся сферы власти и интересов тех групп, каждая из которых с позиции немцев ожидает или опасается решения в пользу преобладания одной или другой стороны. Это в истории Германии не является чем-то небывалым, и немцы уже превозмогали многие испытания на прочность такого рода. И ныне большинство считается с тем, что и данное испытание мы выдержим, что условия, противящиеся стремлению немцев к объединению, исчезнут и что после их исчезновения вновь будут осознаны цели самостоятельного совместного действия" [Weisgerber 1950a: 291–292]. Одно следует подчеркнуть особенно: члены языкового сообщества в повседневной жизни не ощущают себя объединенными узами родного языка в какое-то духовное целое. Лишь нарушения в обычной совместной духовной жизни внутри родного языка заставляют их осмыслить это особо; всякое же, воспринимаемое как необоснованное, осложнение внутри языкового сообщества обязательно пробуждает усиленную волю к его устранению.

Для создания этих осложнений использовался, помимо прочего, метод создания "языковой стены": запрет на ввоз печатной продукции в ГДР из ФРГ, глушение ра-

диостанций, запрет на поездки в ФРГ. В результате насаждения "советского немецкого языка" уже к 70-м гг. возникает опасность тотальной омонимии, которая способна сделать невозможным взаимопонимание и общение западных и восточных немцев. Все это преследует цель "языковой мумификации" восточной Германии, чему особенно способствует смена поколения, знавшего общегерманское языковое сообщество, поколением, языковая юность которого проходила в "тени языковой стены".

Таким образом, основные формы нарушения закона языкового сообщества (языковой империализм) преследуют цель *осложнить или расстроить процесс врастания людей в свой родной язык, навязать двуязычие*, иначе говоря, привносит "все те способы поведения, в которых человек не исчерпывает своей языковой способности и впадает при небрежении или даже злоупотреблении заложенными в языке духовно детерминирующими возможностями в примитивные формы поведения, в которых насилие и произвол применяются вопреки смыслу и рассудку" [Weisgerber 1950/1951: 196]. Всем формам подобного рода присуща одна общая черта – они связаны с базовыми условиями человеческого бытия и поэтому они весьма скоро приобретают характер "бесчеловечного" и приводят к тяжким последствиям для жизни отдельного человека, народа и человечества в целом.

Частотность подобных форм настолько поражает воображение, что Вайсгербер вопрошает, уж не является ли чистой утопией Европа без языковых конфликтов, и все же, по его мнению, "в этом столько же утопии, сколько и в идее Европы как таковой и в идеале определяемой духовностью жизни вообще, которая тем самым становится достойной человека" [Weisgerber 1950/1951: 204]. Однако в любом случае языковая ситуация в Европе на протяжении всего двадцатого столетия оставалась такой, что из нее и поныне произрастает опасность для единства Европы.

Считать ли наивностью уверенность Вайсгербера в важной роли языкознания, которому должно удаться настолько прояснить причины и воздействия языковых конфликтов, что ответственные за Европу лица будут сотрудничать в тушении этого тлеющего очага конфликтов? В какой-то мере он сам понимал, что "устранить анахронизмы такого рода, признавая право на самоопределение, оказывается в отдаленных частях света более осуществимым, чем в тесной Европе с ее историческим наследием. Но и это переменится. Во всяком случае до тех пор сохранится требование внутренней справедливости" [Weisgerber 1959: 81–82].

Тем не менее, Вайсгербер находит примеры успешного разрешения языковых конфликтов и в Новое время. Таким примером он считает в прошлом Австро-Венгрию, где в результате длительного общения с чужими народами выработалась практика многоязычной государственности, которая выполняла важные предпосылки языкового права, а в современном мире – Швейцарию. В чем же состоит образцовое языковое право Швейцарии? Очевидно, прежде всего, в том, как полагает Т. Шидер, что оно не существует, поскольку в швейцарской конституции есть одна лишь статья, в которой говорится о праве на родной язык. Лишь конституции швейцарских кантонов занимаются этой проблемой. Главным же принципом швейцарского языкового права является территориальная автономия, а вовсе не полная юридическая свобода индивидуума по отношению к языку. Так, "невозможно обратиться в кантоне Тессин к властям на немецком языке", поскольку "территориальная автономия здесь осуществлена вплоть до мелочей" [Weisgerber 1959: 120]. В Конституции 1848 г. (статья 109) отмечалось, что "три основных языка Швейцарии, немецкий, французский и итальянский, являются национальными языками федерации". Та же формулировка содержится в статье 116 Конституции 1874 г. В 1938 г. был предпринят частичный пересмотр этих формулировок, при котором к национальным языкам Швейцарии был отнесен и ретороманский, не получивший, правда, статуса официального наряду с тремя основными языками.

Рассуждая на эту тему на дискуссии с Вайсгербером, Т. Шидер делится своими сомнениями, применим ли такой принцип с учетом европейских языковых границ, хотя "правовые предпосылки для защиты исконного языкового ландшафта в настоящее

время заслуживают серьезного внимания перед лицом страшных упрощений, предпринятых именно в связи с изгнанием целых этнических групп и частей народа" [Weisgerber 1959: 120]. Для Вайсгербера же основным представляется швейцарский *принцип сплоченности территорий* (Geschlossenheit der Territorien), который заключается в том, что "для языкового мира оказывается решающим обеспечение языковых территорий, то есть состояния пространственного владения в его внешнем отграничении и его внутренней сплоченности" [Weisgerber 1959: 85]. Для сравнения Вайсгербер отмечает, что французская и нидерландская конституции не содержат никаких норм относительно языка. Вместе с тем, языковое деление территории по типу швейцарского ставит довольно острую проблему взаимоотношений между групповым и индивидуальным правом, поскольку при этом может иметь место сомнительное вторжение в права личности, которое обнаруживает себя самое позднее в школьном возрасте.

Но тогда возникает вопрос: если уж из всех возможных "естественных границ" государств языковые границы скорее всего можно рассматривать как исконные, то не будет ли логичным рассматривать их как образец для государственных границ? Возникающие в этой связи сомнения возможно суммировать в нескольких положениях.

1. Действительно ли удастся решать проблемы и в государственной, и в языковой областях наиболее оптимально, если государство и языковое сообщество совпадут? Вайсгербер, к примеру, считает, что на это нельзя дать общепринятый ответ; ведь решающим всегда останется то, каково соотношение обеих величин и каким образом обеспечена самостоятельность каждой из них.

2. Если ответить на этот вопрос положительно, то можно ли, исходя из основанных исключительно на принципе власти государственных образований, реализовывать потребности этносов, основанных на принципах духа, т.е. на языковых сообществах. В этой связи Вайсгербер опровергает тезис о том, что немецкие языковеды и философы в эпоху романтизма создали учение о том, что группы говорящих на одном языке людей образуют nation и должны в принципе образовывать одно государство: "Размышления в отношении этнического вовсе не всегда непосредственно касаются в той же мере государственного, и выделение самостоятельности народа вовсе не обязательно включает требование самостоятельного государства. Во всяком случае, не в том заключалось мнение основателей этой народной идеи, что языковое сообщество принципиально должно образовывать и одно государство, такой вывод, правда, неоднократно делался в 19/20 веке, прежде всего в отношении ненемецких языковых сообществ" [Weisgerber 1953: 10]. Одновременно «насильственное политическое "воссоединение" с иначе ориентированными в своей государственной принадлежности противоречит этому основному закону» [Weisgerber 1953: 12]. Ту же опасность таит в себе и запрет на воссоединение с другими частями языкового сообщества. Один из примеров тому – запрет на объединение Австро-Венгрии с Германией и возникновение немецких этнических меньшинств общей численностью 8 млн. чел. в 1919 году со всеми политическими последствиями, которые для Вайсгербера вполне сопоставимы с последствиями планов Гитлера. Поэтому "именно тот, кто осуждает безумие решений Гитлера, тот должен столь же явно осудить безумие отцов Версаля и Сен-Жермена, которые проложили ему дорогу" [Weisgerber 1953: 17].

Решение проблемы языковых меньшинств, предлагаемое Вайсгербером, заключается в принятии колоссальной ответственности конкретным государством по поводу того, сможет ли оно «без проволочек решиться на то, чтобы создать для отдельных языковых групп условия, при которых они смогли бы "радоваться" своему родному языку»; в случае отрицательного ответа подобному государству "было бы лучше отказаться от господства над такими группами, ведь не существует такого мнимого преимущества, которое было бы способно оправдать ущерб, с неизбежностью возникающий из государственного безразличия к правам языковых меньшинств, для самого этого государства, для данной группы и для всеобщего мира" [Weisgerber 1959: 39]. Одно из естественных следствий такой ситуации – то, что "языковые группы все сильнее подталкиваются к политическим решениям, поскольку государства оказались

неспособными мыслить этническими категориями, поскольку они в языковых вопросах вмешивались средствами политического насилия и тем самым вызвали политический отпор" [Weisgerber 1959: 43].

Воистину, те рецепты, которые предлагались Вайсгербером и его сторонниками, нуждаются в существенном ограничении, с точки зрения их действенности, поскольку они продиктованы конкретными случаями проявления языкового империализма (по отношению к немецким языковым меньшинствам). Следует непременно заметить, что пропагандируемый ими принцип сплоченности территорий носит конкретно-географический характер и не может претендовать на универсальность, в частности, он совершенно неприменим к территориям, где языковые сообщества проживают на "чересполосице": на Кавказе, в Африке проведение в жизнь такого принципа потребовало бы грандиозного переселения народов, связанного с невероятным насилием, сравнимым только с изгнанием немцев из восточной Европы после окончания второй мировой войны.

Однако постановка самой проблемы соотношения языкового сообщества и государства и поиски решений для нее, без сомнения, станут и в новом веке предметом дискуссий, в том числе в связи с формированием новой единой Европы и необходимостью языковой унификации, по меньшей мере, в официальной сфере, для которой все чаще предлагаются искусственные языки (например, эсперанто).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Смыслом размышлений немецких философов языка над судьбами языковых сообществ в XX в. в целом можно считать то, что «из пересечений политического и языкового сообществ могут возникнуть многочисленные трения, с которыми необходимо бороться, но не в духе лозунга "Домой, в рейх!" или подобным образом, а путем раскрытия того источника, из которого проистекают эти трения, а затем мы сможем решить, что было бы возможно или верно для устранения этого опасного очага» [Weisgerber 1959: 133]. Все эти элементы складываются постепенно в общую *картину языкового закона человечества*, который указывает путь, которым люди могут прийти к бытию, определяемому духом и протекающему в культурно-историческом русле. Именно это обстоятельство подкрепляет особое призвание языкового сообщества: оно не может служить второстепенным целям человечества, в нем должны быть заложены особые духовные ценности, обеспечение и раскрытие которых требуют от языкового сообщества величайших усилий.

Превалирование духовных ценностей в жизни человека, из которых главным является его родной язык, – эта идея представляется основным итогом исканий немецкой философии языка в XX веке. Идеализм и романтизм этого наследия уходящего столетия не могут не уступить места в новом веке прагматизму и логике конкретно-языковых доказательств, однако и они не смогут изменить аксиоматичности статуса языка прежде всего как "приступающего к объективной действительности человека" (В. фон Гумбольдт).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Вайсгербер Й.Л. 1993 – Родной язык и формирование духа. М., 1993.

Радченко О.А. 1997 – Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. I–II. М., 1997.

Степанов Ю.С. 1995 – Изменчивый "образ языка" в науке XX века // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.

Ammann H. 1938 – Rasse und Sprache // Beiträge zur Runenkunde und nordischen Sprachwissenschaft. Leipzig, 1938.

Ammann H. 1940 – Zeitschrift für Mundartenforschung 16, 1940. – Rec.: E. Glaesser. Einführung in die rassenkundliche Sprachforschung.

Arndt E.M. 1913 – Der Rhein, Teutschlands Strom, aber nicht Teutschlands Grenze. Leipzig, 1913.

Arndt E.M. 1934 – Deutsche Volkwerdung. Breslau, 1934.
Bach A. 1934 – Deutsche Mundartforschung. Berlin, 1934.
Bazan H. 1933 – Grenzen der Sprachgemeinschaft // Muttersprache 1933, 48.
Blocher E. 1918 – Die gemeinschaftliche Kraft der Sprache // Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, 5. Reihe, Braunschweig, 1918.
Boehm M.H. 1923 – Europa irredenta. Berlin, 1923.
Boehm M.H. 1932 – Das eigenständige Volk. Goettingen, 1932.
Diesel E. 1934 – Vom Verhängnis der Völker. Stuttgart, 1934.
Fichte J.G. 1808 – Reden an die deutsche Nation // Sämtliche Werke, Bd. VII, Berlin, 1808.
Glaesser E. 1939 – Einführung in die rassenkundliche Sprachforschung. Heidelberg, 1939.
Harder H. 1934 – Rasse und Sprache // Die Sonne 1934, 11.
Hartmann N. 1933 – Das Problem des geistigen Seins. Leipzig; Berlin, 1933.
Herder J.G. 1766 – Fragmente über die neuere deutsche Literatur // Sprachphilosophische Schriften / Hrsg. von E. Heintel. Hamburg, 1960.
Hertz F. 1931 – Rasse // Vierkandt A. (Hrsg.) Handwörterbuch der Soziologie. Stuttgart, 1931.
Hirt S. 1926 – Sprache, Rasse und Abstammung // Münchner Post, N. 140, vom 22.6.1926.
Humboldt W. von 1920 – Die Vasken (1801) // Werke / Hrsg. von A. Leitzmann, Bd. 13, Berlin, 1920.
Humboldt W. von 1807 – Geschichte des Verfalls und des Unterganges der griechischen Freistaaten // Werke in 5 Bd. Darmstadt, 1961: Bd. 2.
Humboldt W. von 1827–1829 – Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues (1827–1829) // Werke / Hrsg. von A. Leitzmann, Bd. 6, Berlin, 1906.
Humboldt W. von 1907 – Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechtes (1830–1835) // Werke / Hrsg. von. A. Leitzmann, Bd. 7 (1), Berlin, 1907.
Hüpgens Th. 1934 – Volk und Sprache. Betrachtungen für Deutsche. Berlin, 1934.
Kloss H. 1929 – Nebensprachen. Wien, Leipzig, 1929.
Koppelmann H.L. 1934 – Rasse und Sprache // Internationales Archiv für Etnographie 32, 1934.
Mauthner Fr. 1906 – Die Sprache // Literarische Anstalt Rütten und Löning, Frankfurt-am-Main, 1906.
Panzer Fr. 1926 – Volkstum und Sprache. Heidelberg, 1926.
Reche O. 1927 – Rasse und Sprache // Süddeutsche Monatshefte 24, 1927.
Roemer R. 1985 – Sprachwissenschaft und Rassenideologie in Deutschland. Muenchen, 1985.
Schmidt W. 1927 – Rasse und Volk. München, 1927.
Schmidt-Rohr G. 1917 – Unsere Muttersprache als Waffe und Werkzeug des deutschen Gedankens. Jena, 1917.
Schmidt-Rohr G. 1932 – Die Sprache als Bildnerin der Völker. Jena, 1932.
Schmidt-Rohr G. 1933 – Sprache oder Volkstum? – Sprache und Volkstum! // Deutsche Rundschau 59, 1933.
Schmidt-Rohr G. 1933a – Rasse – Sprache – Volkstum // Nordische Stimmen 3, 1933.
Scmidt-Rohr G. 1934 – Volkstumserhaltung durch Spracherhaltung // Muttersprache 49, 1934.
Schmidt-Rohr G. 1934a – Rasse und Sprache. Eine Entgegnung // Zeitschrift für Deutschkunde 48, 1934.
Schmidt-Rohr G. 1935 – Schule und Muttersprache // Deutsche Erziehung im neuen Staat / Hrsg. von V.F. Hiller. Berlin; Leipzig, 1935.
Schmidt-Rohr G. 1939 – Von der gesellschaftlichen Wirkekraft und der Weltläufigkeit der deutschen Sprache // Muttersprache 54, 1939.
Schmidt-Rohr G. 1939a – Rasse und Sprache // Muttersprache 54, 1939.
Schmidt-Rohr G. 1939b – Die zweite Ebene der Volkserhaltung // Muttersprache 54, 1939.
Schmidt-Rohr G. 1940 – Vom Sprachgedanken in Kriegszeiten // Muttersprache 55, 1940.
Schmidt-Rohr G. 1941 – Die Stellung der Sprache im nationalen Bewusstsein der Deutschen // Jahrbuch der deutschen Sprache 1, 1941.
Stavenhagen K. 1929 – Volk und Muttersprache // Nation und Staat 3, 1929/1930.
Steinthal H. 1876 – Dialekt, Sprache, Volk, Staat, Rasse // Festschrift für A. Bastian. Berlin, 1876.
Stroh Fr. 1931/1932 – Sprache und Volk // Hessische Blaetter für Volkskunde 30–31, 1931/1932.
Vossler K. 1918 – Verhältnis von Sprache und Nationalgefühl // Die neueren Sprachen 26, 1918.
Vossler K. 1925 – Reine Sprache – reine Rasse // Der Morgen 1, 1925.

Vossler K. 1925a – Geist und Kultur in der Sprache. Heidelberg, 1925.
Weisgerber J.L. 1930 – Indogermanen // Sachwörterbuch für Sachkunde / Hrsg. von W. Hoffstätter, U. Peters. Bd. 1. Leipzig; Berlin, 1930.
Weisgerber J.L. 1930a – Vom Sinn des Unterrichts in fremden Sprachen // Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung 7, 1930.
Weisgerber J.L. 1932 – Muttersprachliche Bildung // Handbuch der Erziehungswissenschaft. Tl. IV, Bd. 2. München, 1932.
Weisgerber J.L. 1933 – Zweisprachigkeit // Schaffen und Schauen 9, 1932/1933.
Weisgerber J.L. 1934 – Die Stellung der Sprache im Aufbau der Gesamtkultur. Heidelberg, 1934.
Weisgerber J.L. 1934a – Die Sendung der deutschen Sprache für die Volksgemeinschaft // Die deutsche Schule. 1934, 38.
Weisgerber J.L. 1935 – Deutsches Volk und deutsche Sprache. Frankfurt-am-Main, 1935.
Weisgerber J.L. 1948 – Die Entdeckung der Muttersprache im europäischen Denken. Lüneburg, 1948.
Weisgerber J.L. 1949 – Die Sprache unter den Kräften des menschlichen Daseins. Düsseldorf, 1949.
Weisgerber J.L. 1950 – Die Muttersprache im Aufbau unserer Kultur. Düsseldorf, 1950.
Weisgerber J.L. 1950a – Die geschichtliche Kraft der deutschen Sprache. Dässeldorf, 1950.
Weisgerber J.L. 1950/1951 – Die Grundlagen des Sprachfriedens // Wirkendes Wort 1, 1950/1951.
Weisgerber J.L. 1952 – Muttersprache als Schicksal und Aufgabe // Rheinischer Heimatbund, 1952.
Weisgerber J.L. 1953 – Die sprachliche Zukunft Europas. Lüneburg, 1953.
Weisgerber J.L. 1959 – Sprachenrecht und europäische Einheit. Koeln; Opladen, 1959.
Weisgerber J.L. 1964 – Hier fälschte und verleumdete W. Boehlich zum anderen Mal. Essen, 1964.
Weisgerber J.L. 1973 – Gefärbte Brillen // Sprachen der Gegenwart 23. Festschrift Paul Grebe, Tl. 1. Düsseldorf, 1973.
Weisgerber J.L. 1975 – Sprachenkampf – Sprachenrecht – Sprachfrieden // Muttersprache – kein Recht mehr? Bernhausen, 1975.
Wundt M. 1924 – Was heisst völkisch? Langensalza, 1924.
Ziegler H. 1931 – Die moderne Nation. Tübingen, 1931.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2000

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Typology of verbal categories: Papers presented to Vladimir Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday / Ed. by L. Kulikov and H. Vater. Tübingen: Niemeyer, 1998. – VII + 310 p.

Рецензируемая книга является тематическим сборником по типологии глагольных категорий, включающим 22 статьи на английском, немецком и французском языках. Статьи написаны авторами из разных стран (особенно много участников из России, Германии и Франции), и "внешним" поводом для того, чтобы собрать их под одной обложкой, является дань признательности Владимиру Петровичу Недялкову, одному из ведущих отечественных типологов и одному из наиболее ярких представителей так называемой "Петербургской типологической школы". Помимо этого чисто внешнего фактора, статьи объединены тематически: большинство из них действительно посвящены проблемам грамматической семантики глагола, хотя, как это почти всегда бывает в сборниках такого рода, не все статьи абсолютно строго вписываются в эту тематику.

Следует сказать, что слова "типология глагольных категорий", стоящие на обложке книги, звучат – особенно в англоязычном контексте – не так уж тривиально. В современной типологии сравнительно мало работ, в которых бы затрагивалась несинтаксическая проблематика, а работ, посвященных типологии значений (пусть даже и грамматических) – еще меньше. В первую очередь это связано, конечно, с тем, что для обсуждения значений в типологическом плане нужно располагать хотя бы предварительным метаязыком для их описания (можно даже сказать слабее: располагать удобным способом говорить о значениях грамматических элементов в разных языках), но для решения этой задачи типологи пока очень робко используют то, что может предложить современная семантическая теория. Практически единственным исключением является, конечно, Анна Вежбицкая, но она применяет в типологических исследованиях тот метаязык, который сама же много лет и разрабатывает, а это ситуация несколько иного рода – когда теоретик и типолог, так сказать, пытаются соединиться в одном лице; ситуация, имеющая как свои преимущества, так и свои недостатки. Если говорить не о теоретиках, просто использующих типологию как полигон для проверки своих концепций, а о лингвистах, ориентирующихся в первую очередь на задачу описания материала разных языков с целью индуктивного поиска теоретических обобщений, то грамматическая семантика остается практически невостребованной областью, хотя в последние годы положение и начинает медленно меняться.

Примечательно, что на этом фоне "российская нота" в сборнике звучит особенно отчетливо, и это означает, что тема сборника выбрана его составителями удачно. С одной стороны, для российской типологии интерес к грамматическим проблемам традиционен. С другой стороны, эта тема отражает научные приоритеты и достижения самого В.П. Недялкова, основные труды которого посвящены именно типологии глагольных категорий. Конечно – и это вполне естественно – не все глагольные категории интересовали В.П. Недялкова в одинаковой степени, и на первом месте в ряду его интересов стоят синтаксические глагольные категории, в особенности те, которые связаны с преобразованием актантной структуры глагола, т.е. каузатив, рефлексив, пассив, антипассив и результатив. (Это направление, заданное в свое время А.А. Холодовичем, характерно и для Петербургской школы в целом.) Но именно этим категориям посвящено, пожалуй, наибольшее количество статей в сборнике.

Сборник открывается кратким предисловием редакторов – московского лингвиста

Л.И. Куликова, в настоящее время работающего в Лейдене (Нидерланды), и немецкого лингвиста Х. Фатера (Кёльн); в предисловии, в частности, охарактеризованы основные научные интересы В.П. Недялкова (с представительной библиографией работ последнего). Статьи сборника распределены (достаточно условно) по четырем разделам: I. Эргативность и переходность; II. Залог, каузатив и валентная структура; III. Время и наклонение; IV. Глагольные категории и языковые универсалии.

Не ставя задачу детально передать содержание всех статей сборника, остановимся прежде всего на тех работах, которые, с нашей точки зрения, могут быть наиболее интересны для типолога.

Статьи первого раздела отчетливо делятся на очень общие теоретические работы и "локальные" исследования конкретно-языковых явлений. К числу теоретических, безусловно, относится открывающая сборник статья Ж.-П. Декле и З. Генчевой (Париж) "Каузальность, каузативность, переходность". Как явствует из заглавия, авторы – с характерным для французской традиции вниманием к форме терминов – предлагают строго различать все три понятия, особенно настаивая на том, что каузативность не обязательно связана с каузальностью (т.е. существованием причинно-следственной связи между двумя ситуациями); в связи с этим, подчеркивается важность известного противопоставления между фактитивной и пермиссивной каузацией, с одной стороны, и транзитивацией, с другой. Для их различения особую роль играют семантические признаки 'контроль' и 'воздействие'. Особенно существенны данные тех языков, которые обладают "некаузальными каузативами" (т.е., в терминологии авторов, транзитиваторами); таковыми, по мнению авторов (которые ссылаются на недавние исследования А.А. Кибрика), могут являться, в частности, атапаскские языки.

Проблема переходности, далее, обсуждается в статье Я.Г. Тестельца (Москва) "О двух параметрах переходности". Центральной идеей этой работы является замена бинарного противопоставления переходных/непереходных глаголов на шкалу свойств переходности (содержащую восемь семантико-синтаксических классов глаголов); в отличие от идеологически во многом близкого подхода Хоппера–Томпсон, классификация, предложенная в данной работе, претендует на полноту, так как основана лишь на двух "параметрах" ('контроль' и 'affectedness', т.е. 'затронутость ситуацией') и содержит все их возможные комбинации. Соответственно, из числа двухвалентных глаголов наиболее переходными оказываются те, у которых ситуацию контролирует только первый актант, а затронут ситуацией – только второй (*писать*); наименее переходными глаголами являются те, у которых либо оба актанта контролируют ситуацию (*беседовать с*), либо оба актанта ею затронуты (*прилипнуть к*). Как всякая попытка "окончательного решения", статья вызывает множество вопросов, на которые, в силу ее краткости, не всегда удается найти ответ в тексте. Основным вопросом, по-видимому, все же должен быть вопрос о лингвистической содержательности выделенных классов, но он может быть удовлетворительно решен только в результате исчерпывающего анализа очень большого лексического материала разных языков; то, что в результате такого анализа выводы автора подтвердятся, по меньшей мере неочевидно. Другое возражение может быть связано с крайней расплывчатостью самих исходных "параметров": если уж отвергать традиционную дихотомию, то имеет смысл делать это ради чего-то гораздо более осязаемого. С нашей точки зрения, бесхитростный индуктивный анализ, выделяющий "прототипические транзитивы" и далее сопоставляющий с ними в отношении формального маркирования все остальные глаголы данного языка, гораздо жизнеспособней по крайней мере по отношению к дескриптивным задачам (как хорошо показано у Ж. Лазара [Lazard 1998a; 1998b]); но не случайно и такие теоретики, как А. Вежбицкая, в последнее время оказывают этому подходу явное предпочтение.

Глаголы, способные (в одной и той же форме) выступать одновременно в переходной и непереходной конструкциях (так называемые "лабильные"), являются предметом анализа в статье В. Дроссарда (Кёльн). Автор предлагает различать два типа "ориентации" в лабильных конструкциях: со сменой семантической роли актанта (ср. англ. *break* 'ломать' и 'ломаться') и с ее сохранением (ср. русск. *он пьет*). Его основной тезис сводится к тому, что в эргативных языках лабильные конструкции не предполагают смены ориентации; этот вывод сразу помещает нас в центр не смолкающих много лет дискуссий о соотношении семантических и синтаксических ролей аргументов в эргативных языках.

К более узким и конкретным по тематике в данном разделе относятся статьи А.Ю. Айхенвальд (Канберра) о показателях

увеличения числа глагольных валентностей в языке тариана (практически исчезнувший аравакский язык Бразилии, находящийся под сильным ареальным влиянием языков тукано), К. де Гроота (Амстердам) о конструкциях типа *намазать хлеб маслом / масло на хлеб* в нидерландском и венгерском (автор уже посвятил этому предмету несколько публикаций), Т. Байнон (Лондон) о выражении эргативности и инверсивности в системе субъектно-объектных показателей глагола тибето-бирманского языка думи и К.И. Казенина (Москва) о коммуникативной функции антипассива в лакском языке (сводящейся, как это и принято считать, к понижению статуса пациенса). Из названных работ исследование Т. Байнон привлекает сложностью анализируемого материала; впрочем, специфика этой работы состоит в том, что автор лишь предлагает новую интерпретацию данных, содержащихся в недавно опубликованной грамматике думи Ж. ван Дрима [van Driem 1993].

Из статей второго раздела выделяется широтой проблематики работа М. Сибатани (Кобэ) "Параметры залога", которая – в духе идей, высказывавшихся японским лингвистом и раньше – опирается на "функциональное" понимание пассива, ориентированное не столько на синтаксический (как известные определения Мельчука–Холодовича или Перлмуттера), сколько на прагматический компонент высказывания; тем самым, залог оказывается полноправной семантической грамматической категорией, наиболее близкой к глагольным *категориям фокуса и контрастивности*. Особенностью данной статьи является то, что в ней предметом исследования является так называемый имперсональный пассив (этот несколько тяжеловесный и не слишком "прозрачный" термин здесь обозначает пассив от одноместных и/или непереходных глаголов, т.е. формы типа лат. *curritur* 'кто-то бежит, (люди) бегут'). Автор отмечает, что не все типы подлежащих способны участвовать в таких конструкциях, и предлагает импликативную иерархию свойств, которые в разных языках определяют эту способность ('1 лицо' > 'личность' > 'агентивность' > 'одушевленность', и т.п.). Так, материал языка непали обнаруживает наиболее строгие ограничения (только 1 лицо), а материал литовского языка – как будто бы наиболее слабые ограничения на эту конструкцию.

На широком типологическом материале написана и очень интересная, но, к сожалению, не слишком пространная заметка Ю.П. Князева (Новгород) "К типологии грамматической полисемии: рефлексив как показатель реципрока". В этой работе представлен, как кажется, исчерпывающий перечень различных случаев выражения с помощью рефлексивных показателей взаимного значения: от полного совпадения до "включения" рефлексива в состав взаимного показателя; любопытно, что реципрок во всех случаях оказывается морфологически сложнее рефлексива. По постановке задачи (особый интерес к феномену "совмещенных значений"), способу исполнения (индуктивная таксономическая классификация обширного и тщательно подобранного материала) и даже по стилю изложения (своего рода "застенчивый лаконизм", не лишенный своеобразного обаяния и скрытого чувства собственного достоинства) эта статья является превосходной иллюстрацией того, что может быть названо "школой Недялкова" в современной типологии, однако в целом она воспринимается скорее как конспект будущего исследования. С нашей точки зрения, работа бы значительно выиграла, если бы автор включил в рассмотрение – хотя бы в качестве фона – и другие случаи полисемии показателей реципрока (ср. одну из ранних интересных попыток в [Lichtenberk 1985]), т.к. всякое ограничение материала при такого рода анализе создает ощущение искусственности (если не произвольности).

Кратко охарактеризуем более частные статьи данного раздела. Работа Л.И. Куликова (Лейден) о связи пассива и антикаузатива с классификацией глаголов (на ведийском материале) содержит попытку применить понятие энтропии для объяснения лексико-семантических ограничений на образование антикаузативов: антикаузативные (или, в другой терминологии, декаузативные) производные наиболее вероятны у глаголов, обозначающих "увеличение энтропии" (типа *разрушаться, теряться* и т.п.); это объяснение может быть релевантно не только для ведийского. Статья Х. Вернера (Бонн) "К типологии пассивных конструкций в енисейских языках" несколько у́же своего названия: это типичная работа в рамках так называемой "частной лингвистической традиции" (в данном случае, сибирской школы кетологии), изобилующая сложным морфологическим материалом, понять который "с ходу" способны разве что еще два-три специалиста, принадлежащие к той же школе. В начале статьи как будто бы подвергается сомнению наличие собственно пассивного значения у енисейского традиционного "пассива", но и после прочтения статьи у автора этих строк

(безусловно, в силу его слабого знакомства с кетологией) так и не возникло ответа на вопрос, существует ли в кетском языке пассив, а если нет, то как назвать соответствующий класс форм (результатив? декаузатив? потенциальный пассив?). Отчасти сходное (хотя, может быть, и не столь драматическое) впечатление производит статья Х. Морено Кабреры (Мадрид) о связи аллокутивности (≈ различение пола адресата речевого акта в сказуемом предложения) и залога в баскском языке; она написана более эксплицитно, но все же для проверки основного утверждения автора (о том, что аллокутивные формы выражают особую диатезу, не образующую залога) требуется отнюдь не рядовая эрудированность в проблематике баскского глагола, выходящая за рамки представленных в статье данных. Заметим, что традиционно аллокутивные формы сближают скорее с семантической зоной вежливости, чем с залогом, поскольку участники речевого акта обычно не рассматриваются в качестве участников описываемой ситуации; не вполне ясно, насколько баскские данные заставляют пересмотреть это положение. В краткой статье А.К. Оглоблина (Санкт-Петербург) рассматривается история каузативного показателя в малайском и мадурском языках, который восходит к показателю "инертива" (неконтролируемая причина состояния); этот материал оказывается своеобразной репликой к статье Декле и Генчевой в первом разделе. Наконец, заметка С. ван де Керке (Лейден) представляет собой материал полевых исследований показателей актантной деривации в исчезающем языке-изоляте леко (Боливия). Отмечается высокая степень влияния на леко глагольной системы кечуа – вплоть до появления аналогичного кечуа "смещенного" (в терминологии работы [Мельчук 1998]) суффикса реципрока, который может присоединяться как к модифицируемому глаголу, так и к его синтаксическому хозяину (как если бы по-русски можно было сказать не только *они хотят обнять-ся*, но и **они хотят-ся обнять*). Подобные явления свидетельствуют о том, что аффикс может сохранять остатки синтаксической самостоятельности, которые, по-видимому, были ему свойственны на том этапе, когда он был еще не аффиксом, а клитикой; нетипичная синтаксическая свобода аффиксов считается особенно характерной для агглютинативных языков. Данный пример, таким образом, несмотря на его парадоксальность, достаточно характерен для языков определенного типа (с "недавней агглютинацией").

Третий раздел включает четыре небольших статьи. Две из них посвящены обсуждению формального аппарата для описания категорий времени: это статья Я. Паневовой и П. Сгалла (Прага), написанная на чешском материале, и статья В. Клейна (Неймеген) и Х. Фатера (Кёльн), написанная на материале английского и немецкого "перфекта" (мы используем кавычки, потому что общим у соответствующих глагольных форм в двух языках является – если не считать происхождения – разве только название). В очень краткой заметке Е.Е. Корди (Санкт-Петербург) обосновывается существование у французского глагола полной парадигмы императива (включающей и формы 1-го лица).

Типологически наиболее интересной в этом разделе является, с нашей точки зрения, статья Ж. Лазара (Париж) "Выражение ирреализа: опыт типологии", продолжающая многолетний цикл исследований этого автора о грамматической семантике глагола (первоначально, в персидском языке). Под "ирреализом" автор имеет в виду то, что чаще называется "контрфактическим значением" (а тому, что в типологических работах называется ирреализом, в системе Лазара соответствует скорее термин *virtuel*). Иными словами, "ирреалис" Лазара – это особый подкласс ирреальных (= "виртуальных") ситуаций, относящихся к прошлому и выступающих в контексте аподосиса (главной части) условных предложений (ср., например, выделенную часть предложения *если бы машинист заснул*, ***поезд сошел бы с рельсов***). Работа написана с отчетливых позиций типологического "здравого смысла" и направлена, в частности, против попыток выделять абстрактные "общие значения" грамматических категорий: для типолога всякая граммема конкретного языка является кластером универсально-типологических значений, независимо от возможности увидеть в элементах этого кластера общую часть (ср. во многом противоположный подход у Клейна и Фатера, которые при описании перфекта, по-видимому, следуют идеологии влиятельной работы [McCoard 1978]). Как показано у Лазара, чаще всего контрфактическое значение выражается сочетанием показателя прошедшего времени с каким-либо из показателей "виртуальности", т.е. в широком смысле нереальной ситуации (будущей, желаемой, возможной, узуальной и т.п.); тем самым, показатель прошедшего времени может присоединяться

к показателю будущего, дезидератива, потенциалиса, конъюнктива и т.п., а также к показателю хабитуалиса (как в турецком или классическом персидском). Можно задать вопрос, в какой степени правомерно отнесение хабитуалиса к ирреальным (="виртуальным") формам. В доказательство ирреальной природы хабитуалиса Лазар ссылается на тот факт, что хабитуальные формы во многих языках имеют также значение будущего времени, и даже предлагает говорить в этом случае об особой категории "эвентуальности" (т.е., так сказать, "неактуальности"). Однако нельзя не отметить в этом анализе известного методологического противоречия: если Лазар выступает против попыток выделять "общее значение" у таких граммем, как, например, прошедшее время, то почему же он считает это допустимым по отношению к грамме хабитуалиса? Действительно, совмещение показателей хабитуальности и будущего времени очень распространено, но семантическая близость этих показателей далеко не столь очевидна, как это пытается представить Лазар (и многие другие авторы, писавшие об "ирреальном" характере хабитуальных ситуаций, как, например, М. Митун). Более многообещающим представляется здесь подход М. Хаспельмата, который в недавней работе [Haspelmath 1998] показал, что подобная полисемия обычно восходит к старым формам презенса, утратившим исходное презентное значение, но сохранившим производные значения хабитуалиса, будущего, а часто также конъюнктива. Таким образом, "эвентуальность" Лазара – типичный конкретно-языковой кластер с утерянным исходным звеном, и между его оставшимися элементами совершенно не обязательно искать общую часть (скорее всего, ее и не существует). С учетом этой поправки, типологические наблюдения Лазара важны и значимы, и затрагивают почти не исследованную область.

Последний раздел сборника самый разнородный и явным образом сформирован по "остаточному принципу", но это, впрочем, не означает, что четыре статьи, в него входящие, не интересны. Статья В. Бизанга (Майнц) посвящена сериальным глагольным конструкциям в языках йоруба, йабем (австронезийский язык Новой Гвинеи), китайском и кхмерском, причем основное внимание автор уделяет такому практически не исследованному вопросу, как взаимное расположение сериальных глаголов разных семантических классов относительно друг друга и относительно основного глагола. Разобранный материал как будто бы свидетельствует, что наиболее периферийную позицию занимают аспектуально-модальные показатели, тогда как показатели других семантических классов (выражающие директивные и "падежные" функции) располагаются ближе к глаголу (но в разных языках в разном порядке). Интересным (хотя и не вполне неожиданным) образом, это напоминает принцип линейного расположения грамматических морфем в глагольной словоформе, в свое время ставший объектом детального исследования Дж. Байби (ср. известную работу [Bybee 1985] и др.). Как всегда в отношении работ такого рода, основное возражение может быть связано с принципами семантической классификации показателей (которые не обсуждаются в статье эксплицитно): не для всякого показателя его принадлежность к одному из трех указанных классов самоочевидна; более того, значительное число показателей совмещают несколько указанных функций (например, директивные показатели часто выражают аспектуальные и/или падежные значения, как это отмечает и сам автор для языка йабем). Статья И. ван дер Ауверы (Антверпен) посвящена определению английского термина *converb*, который в последнее время – не без влияния работ В.П. Недялкова – стал употребляться как эквивалент русского термина "деепричастие". Однако, как показано в статье со свойственным ван дер Аувере вкусом к поискам исторических прецедентов и аналогий, это далеко не единственный (и, может быть, даже не самый распространенный) смысл этого термина – ситуация в лингвистике, как известно, не единичная. Маленькая статья Б. Комри (Лейпциг) представляет собой изящную заметку о проблеме перевода того места из Гомеровской "Одиссеи", где Полифем, в ответ на просьбу сообщить, кто причина его несчастья, отвечает, попадая в лингвистическую ловушку Одиссея, "Никто". Возможность более или менее буквально передать эту греческую игру слов прежде всего зависит, конечно, от синтаксиса частного отрицания в конкретном языке: так, она невелика в русском с его "двойным отрицанием", и поэтому заставляет русского переводчика "Одиссеи" прибегать к дополнительным трансформациям оригинала; еще меньшей она оказывается в некоторых языках Новой Гвинеи, не имеющих специальных отрицательных местоимений. В качестве вывода Комри отвергает переводимость как критерий поиска лингвистических универсалий (не все можно перевести, поскольку необходимость перевести семантический элемент 'X' может

сделать невозможным перевод семантического элемента 'Y'), но, не желая крайностей, оставляет за переводом безусловную эвристическую полезность. Наконец, статья Р. Лёцша (Берлин) посвящена классификации различных способов выражения фразового отрицания в немецком и русском, в том числе и таких, которые редко (и, возможно, справедливо) оказываются объектом изучения грамматики – например, конструкции типа "выйти из-под контроля"; данная статья попадает скорее по ведомству контрастивной лексикологии, но, впрочем, стремление автора к расширению границ грамматики сегодня может найти много сторонников. Странно, однако, что при этом вне поля зрения автора оказываются работы таких исследователей, как Л. Карттунен, Е.В. Падучева и мн. др., достаточно давно обративших внимание на "встроенность" отрицательного компонента в значение многих лексем и связанные с этим семантические эффекты.

Оценивая сборник в целом, следует сказать, что перед нами не просто удачное в целом собрание типологических статей, посвященных далеко не достаточно исследованной области[1]. Данный сборник представляет собой один из очень немногих успешных примеров интеграции российской и западноевропейской типологических традиций (к чему, кстати, всегда стремится и В.П. Недялков); следует отметить массовое участие в сборнике российских типологов и высокий уровень их работ. Все это, безусловно, заслуга редакторов сборника, и прежде всего Л.И. Куликова, который, хотя и является с начала 90-х гг. сотрудником Лейденского университета, как можно видеть, принимает в отечественной лингвистической жизни самое активное участие

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Мельчук И.А. 1998 – Курс общей морфологии. Том II. М.; Вена, 1998.

Bybee J. 1985 – Morphology. Amsterdam, 1985.

Driem G. van 1993 – A grammar of Dumi. Berlin, 1993.

Haspelmath M. 1998 – The semantic development of old present: new futures and subjunctives without grammaticalization // Diachronica 15, № 1. 1998.

Lazard G. 1998a – Actancy. Berlin, 1998.

Lazard G. 1998b – Définition des actants dans les langues européennes // J. Feuillet (Éd.), Actance et valence dans les langues de l'Europe. Berlin, 1998.

Lichtenberk F. 1985 – Multiple uses of reciprocal constructions // Australian journal of linguistics 5, № 1. 1985.

McCoard R.W. 1978 – The English perfect: tense-choice and pragmatic inferences. Amsterdam, 1978.

TSEL 1994–1995 – Tense systems in European languages / Ed. by R. Thieroff, J. Ballweg. Tübingen, 1994–1995.

В.А. Плунгян

G. Isaac. **The verb in the Book of Aneirin. Studies in syntax, morphology and etymology.** Tübingen. Max Niemeyer Verlag. 1996. 483 S.

Книга Г. Айзака посвящена анализу глагола в одном из наисложнейших произведений раннего валлийского поэтического творчества – так называемом "Гододине". Известный прежде всего по рукописи, датируемой на основании палеографических критериев серединой XIII века, этот текст находится в центре внимания лингвистов, литературоведов и историков. Причина кроется, в первую очередь, в идее о древности этого произведения, предтекст которого, согласно очень распространенной гипотезе, мог быть создан около 600 г. Уходящее корнями к началу XIX века, представление о "Гододине" как реальном произведении (А)нейрина, (упомянутого в "Истории Бриттов" так называемого Ненния среди других бриттских бардов VI века), в котором рассказывается о битве при Катраете, в значительной мере отражено в классическом издании этого текста "Canu Aneirin" И. Уильямса [Williams I. 1938] (ниже ссылки на текст "Гододина" даются по этому изданию, сокращенно CA).

В рукописи, известной также под названием "Книга Анейрина", текст представлен в

[1] Отметим, кстати, что это уже по крайней мере вторая удачная попытка такого рода издательства «Niemeyer» (публикующего в основном работы по германистике). Предыдущей значительной типологической публикацией этого издательства был двухтомник [TSEL 1994–1995].

двух версиях. Версия А – самая полная – содержит значительное количество архаизмов, но все же ее язык не выходит за рамки средневаллийского. Более краткая версия В, напротив, орфографически ближе памятникам древневаллийского (до-средневаллийского) языка. Разумеется, что прямое соотношение этих текстов с до-древневаллийской эпохой неуместно, ср. в этой связи сам факт реконструкции прототекста фрагментов "Гододина", предложенной Дж. Т. Куком [Koch 1997], неоднозначность которой должна стать объектом специального разбора. Пока же, вслед за Айзаком, можно отметить, что в ряде случаев "реконструкции" Дж. Т. Кука опускают собственно валлийские идиомы, и подобные процедуры не приводят к лучшему пониманию (прото)текста, а, скорее, искажают его (с. 197–198). Несмотря на то что, как установил Г. Айзак в одной из своих более ранних работ, версия В уже сама по себе содержит два варианта текста, ни один из них не выходит за рамки древневаллийского периода, а более точная датировка данной версии в этих хронологических рамках невозможна. Сам текст произведения негомогенен – он состоит из 130 небольших стихов и четырех более объемных фрагментов. В работе Г. Айзака "Гододин" впервые рассматривается как единое однородное произведение, записанное в средневаллийскую эпоху, но имеющее предысторию.

Как понятно по подзаголовку к этой книге, автор поставил перед собой цель проанализировать синтаксис, морфологию и этимологию глаголов, встречающихся в "Гододине". Анализ Г. Айзака, в первую очередь, позволяет во многом по-новому прочитать этот труднейший текст и, безусловно, является весьма значительным вкладом в изучение раннего валлийского поэтического творчества. При этом неоднократно текстуально оспаривается обоснованность реконструкции прототекста "Гододина" на уровне фонетики до-древневаллийского периода, что дает возможность предложить иной подход к истории этого шедевра. Приведенный в книге алфавитный список валлийских глаголов с текстологическими и этимологическими пометами имеет самостоятельное значение. Автор, анализируя синтаксис этого произведения, решает (или пытается решить) многие спорные вопросы организации предложения в валлийском языке – это касается ключевых понятий, прежде всего порядка слов в предложении, возникновения так называемого "аномального порядка" (термин традиционен), при котором субъект занимает начальную позицию в предложении и за которым после частицы следует форма глагола, и т.п. Несомненно, однако, что эта книга представляет интерес не только для специалистов по истории валлийского языка и литературы. Очень часто автор выходит за рамки собственно валлистики – и не только в части, посвященной этимологии. Поэтому в этой рецензии мне хотелось бы избежать формального анализа глав книги Г. Айзака и сконцентрировать внимание на значимости авторских построений для общебриттской, кельтской и индоевропейской реконструкции.

Вполне понятно, что одно из центральных мест исследования (Раздел I, с. 21–147; Раздел II, с. 148–295; ряд подглав в комментариях, с. 393 и след.) занимают вопросы синтаксиса. Камнем преткновения сравнительно-исторического изучения синтаксиса кельтских языков, как известно, является порядок слов, в частности начальное положение глагола в островных кельтских языках, см. [Калыгин, Королев 1989: 18–21; Калыгин 1986: 103–118]. Анализ языка ранних валлийских поэтических произведений, и прежде всего "Гододина", позволил первому исследователю этой проблематики на собственно валлийском материале – Г. Льюису – прийти к выводу, что инициальное положение глагола (как и в галльском) не является единственно возможным и что для этого периода необходимо постулировать относительно свободный порядок слов. Однако, как отмечает Г. Айзак (с. 15), для того, чтобы использовать данные "Гододина", необходимо прежде всего исследовать сам этот текст, чтобы представить калькулюс синтаксических структур и систему их взаимоотношений, и лишь потом использовать результат этого анализа для обобщений и более глубинных построений. Полная выборка глаголов (кроме глагола-связки) привела к составлению достаточно показательного корпуса из 603 примеров, каждый из которых был самым внимательным образом проанализирован. Вывод Айзака: базисный порядок слов в "Гододине" представлен как V-инициальный, а случаи постановки другого элемента в начало предложения объясняются прагматическими особенностями того или иного примера. Достаточно скудный материал древневаллийских памятников указывает, что V(S)O является базисным порядком слов и для этого периода. Таким образом, анализ Г. Айзака содержит убедительные доводы того, что идея о (хотя бы) относительно свободном порядке слов в ранних памятниках валлийского языка практически ничем

не подкреплена. Однако Айзак не остается и в этой части своего исследования в хронологических рамках истории собственно валлийского языка – он пытается представить и предысторию валлийского синтаксиса. Как известно, от общебриттского состояния (а валлийский, как и бретонский, корнский и кумбрийский, восходит к общебриттскому языку) не осталось синтаксических свидетельств, поэтому для исторической перспективы в первую очередь используются данные самого близкого к бриттскому (или почти ему идентичному) континентального кельтского языка – галльского.

Имеющийся материал, на первый взгляд, может указывать на базисный порядок SVO (см. [Koch 1983: 169–215] и ср. [Калыгин, Королев 1989: 94–95]). Однако при этом нельзя забывать о характере большинства галльских текстов и стоящей за ними прагматике. Г. Айзак, на мой взгляд, удачно показал, что за порядком слов с начальным субъектом или объектом как в кратких надписях, так и в более пространных текстах, может скрываться базисный порядок V(S)O. С одной стороны, нельзя не согласиться с автором (с. 115–116) в том, что постановка субъекта в инициальную позицию в галльских эпитафиях и посвятительных надписях может быть, по крайней мере, прагматически обусловлена. С другой стороны, предложенная интерпретация кратких надписей позволяет во многом пересмотреть сложившиеся представления. Так, часто цитируемое *neddamon delgu linda* (Банассак) 'Proximorum teneo potus' рассматривается как случай топикализации генитива; однако типологически сходные ирландские огамические надписи указывают также на возможность интерпретации этого фрагмента и как "(Чаша) соседей. Содержу напитки" (с. 117–119). Кроме того, Г. Айзак пытается показать, что и в более объемных текстах структуры с не-начальным положением глагола могут быть рассмотрены как производные. В качестве иллюстрации этого, безусловно революционного, решения приведу анализ Айзаком (с. 116–117) фрагмента таблички из Шамальера *andedíon uediíumí diíiuion risu naritu mapon arueriíatin*.

Оставив в стороне перевод этого предложения, вызвавшего, как и многие другие галльские тексты, значительные расхождения в интерпретации (ср., например, несовместимые попытки перевода этого фрагмента Л. Флерио и П.-И. Ламбера), отметим, что один из четырех (?) аккузативов – *andedíon* – предшествует глаголу *uediíumí*. Кроме того, отделение этой формы от других объектов глагола (или эпитетов одного объекта), не может, как отмечает Айзак, не быть стилистически немаркированным. Тогда, прагматически нейтральными вариантами этого предложения могли бы быть **uediíumí andedíon diíiuion mapon arueriíatin risu naritu* или **uediíumí risu naritu andedíon diíiuion mapon arueriíatin*, то есть VO. С этим положением трудно не согласиться, принимая во внимание, в том числе, и особенности языка/стиля этого фрагмента [Meid 1989: 37]. Примеры с начальным субъектом типа *meion ... buet id ollon* (Шамальер, в переводе В. Майда "was minderwertig ist ... soll vollwertig sein") рассматриваются Айзаком как случаи с оборотом nominativus pendens – важнейшего понятия и инструмента для изучения так называемого "аномального" порядка слов валлийского предложения, который, в свою очередь, вопреки Г. Льюису и Дж. Т. Куку, является, похоже, достаточно поздним, см. [Russell 1995: 300]. В последние десятилетия вопрос о роли оборота nominativus pendens в истории кельтского синтаксиса активно разрабатывается П. Мак Каной (см., напр., [Mac Cana 1991: 45–80] с библиографией) и находит дальнейшее развитие в настоящей книге.

Таким образом, единственным из древних кельтских языков, имеющим базисный порядок SOV, остается кельтиберский (ср. [Калыгин, Королев 1989: 66]). Ранний валлийский представляет собой сугубо V-начальный. Галльский же, по мнению Г. Айзака (с. 147), если и не сходен в этом отношении с валлийским, то, по крайней мере, является языком переходного типа; ср. осторожный подход при анализе этого вопроса в [Russell 1995: 286].

В книге Г. Айзака затрагиваются и другие актуальные вопросы сравнительно-исторической грамматики кельтских языков. Так, получают освещение вопросы функционирования в "Гододине" абсолютных конъюнктных форм глагола (об этом см. [Калыгин, Королев 1989: 139–141]). Как показал Айзак (с. 354–358), для форм настоящего времени распределение абсолютных и конъюнктных окончаний соотносимо с ситуацией в ирландском языке; в претерите же во многих случаях вместо ожидаемой конъюнктной формы оказывается абсолютная. С точки зрения автора, причина этого заключается не только в разрушении системы противопоставления между названными двумя типами, но и в инновационном характере абсолютных окончаний в претерите. Объясняя необходимость их появле-

ния системными соображениями, автор датирует эту инновацию (в отличие от К. Мак Кона) уже постобщебриттской эпохой. Интересны и замечания автора по истории развития и.-е. *s*-аориста в валлийском, в частности его соображения о роли формы 3 л. ед.ч. при становлении всей парадигмы в целом или нежелание соотносить средневаллийское (чисто орфографическое) *-ss-* с реконструкцией фонетической реалии, как это делал Турнайзен (с. 358–368). Валлийские формы настоящего времени (но со значением будущего) на *-(h)awt (-(h)awr)* < **-sw-āti* сопоставляются (с. 368–371) с ирландским будущим на *-f-*, тем самым находится еще одно соответствие между бриттской и гойдельской глагольной парадигмой (ср. [Калыгин, Королев 1989: 206], однако см. другое мнение в [Schumacher 1995: 54-72]).

Замечательна и попытка Г. Айзака решить проблему видимого отсутствия инфинитива – как известно, глагольное имя в кельтских языках представляет собой имя с семантикой действия и именным управлением (см., например [Russell 1995: 258–277; Falileyev 1994: 203–212]). Опираясь на кельтиберский материал, сохранивший не только лексические и морфологические, но и синтаксические архаизмы, автор выдвигает достаточно смелую гипотезу о том, что кельтский развил категорию инфинитива, конструкции с которыми (из-за синтаксических изменений на уровне предложения – ?) были позже вытеснены конструкциями с глагольными именами (с. 428–436). Интерпретация синтаксиса форм *[u]erTaunei, Taunei* (первая табличка из Ботторриты, *TriCanTam PerCuneTaCam ... [u]erTaunei:* причем Айзак достаточно разумно оставляет многие аспекты лексической интерпретации этой фразы открытыми, включая и собственно эти формы, которые даны в его разборе без перевода) как инфинитивного (управление вин. падежом) представляется многообещающим, ср. теперь [Villar 1997: 932, 940], где, между прочим, предложен несколько иной подход к анализу кельтиберских инфинитивов. Примечательно, что Г. Айзак предлагает видеть рудименты инфинитивного синтаксиса и в одном из относительных предложений "Гододина" (CA: 616).

Комментарии Г. Айзака ко многим фрагментам "Гододина" также весьма часто выходят за пределы собственно валлистики и могут представлять значительный интерес для разработок по и.-е. поэтическому языку. Так, анализируя хрестоматийную строку *beird byt barnant wyr o gallon* (CA: 285), традиционно "poets of the world judge men of heart/valour", где, вероятнее всего, содержится и.-е. figura etymologica **g*^{w}*r(H)-d*^{h}*h*$_{1}$*-ó-g*^{w}*r-n-H-ónti* (впрочем, не столь прозрачная уже в бриттском, где можно ожидать **bardī barnonti*), автор рассматривает *byt* 'мир' как составную часть этой максимы, предлагая видеть в этом слове локатив **bitu* 'в мире' > 'всегда', т.е. "устанавливающие хвалу всегда хвалят" (с. 393–394). Эта интерпретация, между прочим, находит подтверждение и в ирландском материале, где родственное *bith* может иметь значение 'вечный' (см. [Калыгин 1996: 55]); с другой стороны предложенный анализ, с точки зрения автора, позволяет рассматривать валл. *byth* 'всегда/никогда' не как заимствование из ирландского, а как автохтонное развитие, спирантизация в таком случае может быть объяснена экспрессивной геминацией. Согласно И. Уильямсу, *wyr* рукописи стоит читать как форму единственного числа *(g)wr* 'человек, муж' [Williams I. 1938: 147]. Г. Айзак считает это исправление необоснованным и рассматривает *wyr* в этом фрагменте как рефлекс аккузатива множественного числа (**ǵirūs*). В таком случае мы имеем дело с целой фразой поэтического текста, своеобразным максимумом, который может восходить и к до-бриттской эпохе (если следовать порядку слов, представленному в "Гододине", в и.-е. нотации – **g*^{w}*r(H)-d*^{h}*h*$_{1}$*-ó-g*^{w}*itu g*^{w}*r-n-H-ónti ǵirūs*.

Выход на уровень реконструкции и.-е. поэтического праязыка показателен и при анализе сложного выражения *dienhyt y bob llawr llanwet e hual amhaual afneuet* (CA : 1055–6), которому в версии B соответствует *dihenyd y bop llaur llanwet y haual amhal afneuet* (CA : 1078–9) (с. 413–418). В своем комментарии к этим строкам И. Уильямс отметил лексические и синтаксические трудности их интерпретации и привел несколько вариантов чтения, не отдавая, впрочем, предпочтения ни одному из них [Williams I. 1938: 316–317].

Виднейший специалист по средневековой валлийской литературе А.О.Х. Джарман перевел этот фрагмент как "a death to every champion, his chain was filled to capacity"; при этом он исходил из одного из предложенных Уильямсом вариантов чтения [Jarman 1990: 56]. С точки зрения Г. Айзака, в данном случае версия A более точно отражает Urtext; он переводит эти строки как "[going] unrespiting to every battle-ground, his chain was filled around the equal of sufficiency". При такой интерпретации, продолжает он, стоит

обратить внимание и на предыдущее стихотворение, которое начинается со слов *diannot e glot* "unimpeded, unrespiting his fame" (CA : 1047), что является своеобразной параллелью известному и.-е. поэтическому обороту, представленному, например, в др.-инд. *śrávaḥ ákṣitam*. Исходя из принципа параллелизма, характерного для организации поэтического произведения (см. соответствующие разделы [Калыгин 1986]), Г. Айзак связывает (судя по рифме, уже типично валлийской) *diannot* (e glot) с *dienhyt*, которое возводится им к (*di-*) **andito-* < и.-е. **n̥-dʰgʷʰi-to-* 'нетленный' (с интенсифицирующим префиксом *di-*), тем самым по-новому интерпретируя строчку 1055, и, между прочим, указывая на возможность существования рефлекса этой и.-е. поэтической формулы в до-валлийском.

Весьма интересны в этой связи и комментарии Г. Айзака к одному из глаголов, часто встречающемуся в тексте – *gwanu* 'ударить, убить' < и.-е. **gʷʰen-* (с. 399–413). Как известно, соответствующие глаголы используются в различных ранних и.-е. традициях при описании единоборства верховного божества со своим противником (скр. *áhann áhim*, и т.д.); Г. Айзак добавляет к списку этих традиций и валлийскую, приводя фрагмент из так называемой "Книги Талиесина" *gweint mil mawrem* "I slew a great-skinned monster". В своем анализе автор прежде всего опирается на известную работу К. Уоткинса [Watkins 1987]; к сожалению, при этом не учитываются основополагающие исследования В.Н. Топорова и Вяч. Вс. Иванова (как и многие другие важные для и.-е. части работы публикации, напечатанные по-русски). Опираясь на значимость этого глагола в поэтической традиции, автор предлагает достаточно неожиданную интерпретацию его валлийской формы *gwant* (*t*-претерит) как восходящей к и.-е. атематическому имперфекту, ср., впрочем, [Koch 1991b: 116].

Несомненный интерес представляют предложенные Г. Айзаком этимологии. Не имея возможности прокомментировать все то новое, что есть на страницах этой книги, остановлюсь только на нескольких примерах. Так, форма имперфекта 3 л. ед. ч. глагола *oedd* 'быть' имеет различные объяснения – из и.-е. оптатива **h₁s-yéh₁-t* (ср. ст.-лат. *siet*, Моррис Джоунз и Файф), из "итало-кельтского" **esāt* (ср. лат. *erat*, Педерсен и Хэмп) или как полностью аналогическая форма (К. Мак Кон). Автор достаточно подробно (с. 371–380) показывает трудности и натяжки этих интерпретаций; его предложение – видеть в этой форме продолжение и.-е. субъюнктива **h₁és-e-t(i)*, как в скр. *ásat(i)*, лат. *erit*. Валл. *adaw* 'оставить, покинуть' анализируется (с. 305) как сочетание рефлекса и.-е. глагола 'ходить' **h₁ei-* с предлогом **h₂eiuh₁* - 'herab, weg von' вместо реконструированного у Покорного **at-* (негативный префикс – ?) + **au-* 'gern haben' [Pokorny 1959: 77]. Сопоставление проблематичного *tratrigant* (CA: 1237), которое обычно сопоставляется с числительным 'триста', с кельтиберским (Боторрита) *TiriCanTam* (и, далее, с лат. *trifinium*, т.е. 'место, где встречаются три границы', о чем см. известные работы Хила и Майда) не только позволяет понять непосредственно эту строчку "Гододина", но и дает возможность по-новому прочитать многие другие фрагменты ранней валлийской поэзии, в том числе и весьма проблематичные строки "Книги Талиесина" (с. 407).

Любопытны и замечания Г. Айзака по поводу отдельных, в целом достаточно надежных, реконструкций. Так, валл. *eisted* 'сидеть' вполне естественно связывается с и.-е. *√sed-*; автор уточняет путь фонетического развития этой формы (**eχs-dī-sed* > **eisti-heδ-* > **eist-heδ-*) и предлагает семантическую интерпретацию использования двуприставочного глагола для обозначения этого достаточно базисного понятия, ср. англ. 'sit out of the game' (с. 327–328). Валл. *gwerth* 'цена', вопреки предложению Покорного [Pokorny 1959: 1157], вряд ли является заимствованием из др.-англ. *weorþ* – Г. Айзак приводит дополнительные свидетельства для семантического развития из и.-е. **u̯er-t* 'drehen, wenden'. Валл. *darmerth* 'подготавливать' выводится (с. 321) из кельтск. **to-are-smer-t-*, с и.-е. корнем **(s)mer-* 'gedenken' [Pokorny 1959: 969], а не **bher-*, как это было принято считать ранее. Ср.-валл. *ces(s)euin* 'foremost' восходит к и.-е. **kentu-stamīno-*, *√steh₂-* 'stehen' [Pokorny 1959: 1008], а не к **kintu-samīno-*, которое дало бы ***cyntefin*, и, с точки зрения автора, представляет собой петрифицированную героическую метафору, ср. греч. σταμῖνες (с. 408–413).

Некоторые представленные в книге этимологии, вероятно, будут пересмотрены и/или уточнены. Так, валл. *(dy)kyrchu* 'атаковать', которое автор предлагает рассматривать как заимствование из лат. *circo* (с. 319), все-таки сложно отделить от ирл. *crech* 'plunder, booty, plundering expedition'. К

этимологии архаичного наречия *moch* 'рано' (с. 167), резонно сопоставляемого с ирл. *mó-*, лат. *mox* (и возводимого к и.-е. **moks* с временным значением), см. предложенную недавно Н.Н. Казанским возможность дальнейшей связи этих слов с греч. ἄχρι(ς), μέχρι(ς), арм. *merj* [Казанский 1996: 10]. К этимологии валл. *erw* 'поле, размер поля' (с. 188) ср. балтийские данные, в частности лит. *érdve* 'пространство' в увязке с арм. *erkir* 'земля' [Сараджаева 1993: 155–156] (несмотря на сомнения Айзака, опирающегося на мнение Шмитта). Валл. *cychwyn* 'начинать, отправляться' (с. 353–354) может быть возведено к и.-е. **skei-* [Фалилеев 1994: 23–4], а не к **skend-*. В связи с анализом валл. *anant* (с. 210), см. посвященную этому слову специальную работу Дж. Е. Каервина Уильямса [Williams J.E.C. 1970: 44–50], которая отвечает на многие вопросы, задаваемые автором.

И, наконец, последнее замечание. В работе Г. Айзака учтена практически вся литература – библиографический список занимает более 20 страниц (с. 444–466). К сожалению, в нем имеется ряд неточностей. Так, ссылаясь в тексте работы на книгу Г. Льюиса 1931 г., автор имеет в виду скорее его Datblygiad yr iaith Gymraeg, а не Hen Gerddi Crefyddol согласно библиографическому списку. Статья Э. Поппе о порядке слов в Cyfranc Lludd a Llefelys напечатана не в Ball et al. 1991, а в [Fife, Poppe, eds. 1991].

Конечно, многое из предложенного автором вызовет дискуссию – прежде всего, на концептуальном уровне, ведь традиционный подход к "Гододину" как к произведению додревневаллийской эпохи диктует другое отношение к материалу (см. [Koch 1988; 1991a; 1991b; 1997]). Однако, как отметил сам Г. Айзак (с. 15), эту книгу можно рассматривать как "an interim report on work in progress". Дальнейшая работа автора в выбранном направлении несомненно приведет к новым достижениям, в конечном итоге – к новому изданию "Гододина", с одной стороны, и написанию целых фрагментов сравнительно-исторической грамматики кельтских языков, с другой. Раздел «Глагол в "Гододине"» уже практически написан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Казанский Н.Н. 1996 – К вопросу об этимологических связях др.-ирл. mos-, mó // Язык и культура кельтов. Материалы V коллоквиума. СПб., 1996.

Калыгин В.П. 1986 – Язык древнейшей ирландской поэзии. М., 1986.

Калыгин В.П. 1996 – Выражение понятия 'мир' в кельтских языках // ИАН СЛЯ. Т. 55. 1996. № 2.

Калыгин В.П., Королев А.А. 1989 – Введение в кельтскую филологию. М., 1989.

Сараджаева Л.А. 1993 – Этимологические заметки // Этимология. 1988–1990. М., 1993.

Фалилеев А.И. 1994 – Валл. *erchwyn, cychwyn* // Язык и культура кельтов. Материалы III коллоквиума. СПб., 1994.

Falileyev A. 1994 – Notes on the syntax of Middle Welsh verbal noun // Zeitschrift für celtische Philologie. V. 46. 1994.

Fife J., Poppe E., eds. 1991 – Studies in Brythonic word order. Amsterdam; Philadelphia, 1991.

Jarman A.O.H. 1990 – Aneirin: Y. Gododdin. Britain's oldest heroic poem. Llandysul, 1990.

Koch J.T. 1983 – The sentence in Gaulish // Proceedings of the Harvard Celtic colloquium. 3. 1983.

Koch J.T. 1988 – The Cynfeirdd poetry and the language of the Sixth century // Early Welsh poetry. Aberystwyth, 1988.

Koch J.T. 1991a – On the prehistory of Brittonic syntax // Studies in Brythonic word order. Amsterdam; Philadelphia, 1991.

Koch J.T. 1991b – Gleaning from the *Gododdin* and other early Welsh texts // BBCS. V. 38. 1991.

Koch J.T. 1997 – The Gododdin of Aneirin. Cardiff, 1997.

Mac Cana P. 1991 – Further notes on constituent order in Welsh // Studies in Brythonic word order. Amsterdam; Philadelphia, 1991.

Meid W. 1989 – Zur Lesung und Deutung gallischer Inschriften. Innsbruck, 1989.

Pokorny J. 1959 – Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.

Russell P. 1995 – An introduction to the Celtic languages. London, 1995.

Schumacher S. 1995 – The Middle Welsh absolute endings *-(h)yt, (h)it* and *-(h)awt* and the question of a 'future' in Old and early Middle Welsh // Die Sprache. V. 37. 1995.

Villar F. 1997 – The Celtiberian language // Zeitschrift für celtische Philologie. V. 49–50. 1997.

Watkins C. 1987 – How to kill a dragon in Indo-European // Studies in memory of Warren Cowgill. Berlin; New York, 1987.

Williams I. 1938 – Canu Aneirin. Caerdydd, 1938.

Williams J.E.C. 1970 – *'anant'* // BBCS. V. 24. 1970.

А.И. Фалилеев

ЛИ ЦИНЬ. **Категория не-/определенности в русском языке: языковые средства и их функции в речи.** Шанхай. Шанхай вайюй цзяоюй чубаньшэ. 1998, 178 с. (на китайском языке).

Для Китая можно считать традиционным глубокий интерес к русской культуре, литературе, языку. Китайские русисты плодотворно работают в области изучения различных языковых явлений, связанных с фонетикой, грамматикой, лексикологией, стилистикой, семантикой русского языка. Достаточно назвать две фундаментальные работы, появившиеся в последние годы: У Ии "Основы функциональной грамматики русского языка" (Пекин, 1991 г.) и Ни Бо, Гу Байлинь "Семантика русского языка" (Шанхай, 1995 г.).

В 1998 г. была опубликована рецензируемая монография декана Факультета русского языка Шанхайского Университета иностранных языков проф. Ли Циня. Ли Цинь учился в Москве; на начальных этапах его исследование выполнялось в МГУ под руководством В.А. Белошапковой. Темой своего исследования он избрал сложную проблему – языковые средства выражения категории неопределенности/определенности и ее функциональные разновидности. Нестандартное оформление названия книги отражает ее пафос: именно ***Не***определенность, по мысли автора, является точкой отсчета, исходной семантической областью для моделирования категориального пространства в целом. Поскольку в русском языке эта категория (в ее широком понимании), не оформлена в совершенную и четкую грамматическую систему, то в традиционной грамматике, где главное внимание уделялось форме (в ее узком понимании), соответствующие явления не получали достаточно полного освещения. Разработка данной проблемы стала особенно актуальной по мере развития в языкознании функционального и семантического подходов, коммуникативной лингвистики, прагматики, лингвистики текста [Арутюнова 1976; Белошапкова (Ред.) 1997; Ревзин 1978].

Свою задачу автор видит в том, чтобы систематизировать научные достижения предшественников, и постараться по-новому взглянуть на данную категорию, которая в русском языке, при отсутствии в нем артикля, охватывает особенно широкий круг разнообразных языковых и речевых явлений. В этой связи Ли Цинь считает необходимым использовать для ее разработки основные теоретические принципы функциональной грамматики, идеи семантики и прагматики, что позволяет расширить поле исследования от уровня отдельного предложения до уровня связного текста. Благодаря этому становится возможным новое "прочтение" семантической структуры и формальных особенностей данной категории, всестороннее описание и систематическая классификация языковых средств ее выражения, а также механизма осуществления коммуникации в реальном дискурсе. Особо подчеркивается практическое значение данной категории для процесса преподавания русского языка как иностранного, прежде всего в китайской аудитории, поскольку китайский язык по своей грамматической структуре и способам выражения понятий резко отличается от русского. Категория неопределенности/определенности в китайском языке имеет свою специфику, связанную, в частности, с наличием такого грамматического средства, как классификаторы, присоединяющиеся к существительным. Они находятся в препозиции к ним, выбор классификатора зависит от семантического класса, к которому относится то или иное существительное (кроме того, имеется и универсальный классификатор, который может заменять все остальные *-гэ* "штука"). Данное обстоятельство затрудняет изучение русского языка китайскими студентами.

Книга состоит из трех глав. В п е р в о й рассматриваются некоторые методологические вопросы, языковые средства выражения, характер и структура категории определенности/неопределенности, дается ее семантический анализ. В этой главе автор останавливается также на связи данной категории с другими грамматическими категориями, а также, что очень важно, показывает ее место в функциональной грамматике. В т о р а я глава посвящена лексическим средствам выражения категории неопределенности/определенности. Вначале автор дает их общее описание, а затем анализирует черты каждого из них: функцию и смысл местоимения вообще, особенности неопределенных и указательных местоимений, а также связанные с семантической расплывчатостью (размытостью) различия в степени неопределенности и дизъюнктивные различия, и наконец, механизмы употребления числительного *один*. В т р е т ь е й главе рассматриваются грамматические средства выражения данной категории в русском языке. Здесь речь идет о падежных формах, о конструкциях с

числительными, о структурных схемах предложений, в частности об определительном сложноподчиненном предложении, связанных с этой категорией механизмах текстообразования, наконец, о выраженной в анафоре семантической неоднозначности и ее разрешении.

Русский язык относится к безартиклевым языкам, в нем отсутствует жесткая система специальных формальных средств выражения неопределенности/определенности, которая могла бы образовать грамматическую категорию в строгом смысле на одном и том же морфологическом уровне. Однако это отнюдь не означает, что в русском языке отсутствуют языковые средства для выражения данной категории. Вообще говоря, в традиционной формально-описательной грамматике изучение "семантики неопределенности" привлекало должное внимание ученых. В качестве солидных прецедентов можно упомянуть описание неопределенных местоимений и неопределенно-личных предложений. К тому же, русский язык обладает целым рядом весьма развитых и многообразных по форме семантических средств выражения категории неопределенности/определенности. Для них характерна дистрибуция по различным уровням, которую можно подразделить на три больших группы явлений: фонетические, лексические и грамматические. Их межуровневость и многообразие определили то обстоятельство, что данная категория русского языка выходит за рамки обычных грамматических категорий, но является по своей природе функционально-семантическим полем (в понимании, например, А.В. Бондарко [Бондарко 1978; 1984]), т.е. она принадлежит к категориям функциональной грамматики.

Специфика категории неопределенности/определенности в русском языке проявляется прежде всего в полицентрической структуре, структуре ее поля, т.е. она не берет в качестве основы лишь одно категориальное значение, а наоборот, присущие ей качественно различные формальные средства выражения по своей смыслу выражающей функции равноправны. В то же время два семантических компонента – "неопределенность" и "определенность" весьма неравноправны в распределении средств выражения. Именно поэтому, пишет автор, исследователи уже обращали внимание на то, что результатом подобного неравноправия являлось преимущественное внимание лишь к семантическому компоненту "неопределенности" и отсутствие достаточного внимания к рассмотрению его вместе с компонентом "определенности" как единого категориального целого.

Автор отмечает, что исследования данной категории велись по нескольким направлениям, что было предопределено многообразием и многоуровневостью ее средств выражения и полицентризмом ее структуры. Однако он подчеркивает, что их можно свести к двум основным направлениям – изучение, во-первых, средств выражения семантики неопределенности и, во-вторых, использование для этой цели метода аналогии. В сущности, оба эти направления основываются на семантическом подходе. По мнению Ли Циня, этого недостаточно. Для выяснения смысла данной категории классический семантический подход необходимо соединить с прагматическим анализом. Здесь надо учитывать, пишет он, три фактора: незнание/знание, индивидуальность предмета, адресант/адресат. Только на такой основе может быть достигнуто адекватное понимание категории неопределенности/определенности: она показывает, как отражается в коммуникации незнание/знание по отношению к обозначенному в речи индивидуальному предмету со стороны адресанта/адресата. В прошлом большинство исследований не учитывало точку зрения прагматики, в результате чего смысл неопределенности/определенности и знание адресанта/адресата отрывались друг от друга. Более глубинный фактор незнания/знания рассматривается как прагматико-семантический механизм и сводится к взаимодействию расплывчатости и нерасплывчатости языкового знака по отношению к референции индивидуального предмета. Автор называет их "неопределенной референцией" и "определенной референцией". Основа неопределенной референции состоит в том, что языковой (речевой) знак одновременно связан и с денотативным (референциальным) значением и с сигнификативным значением, которые им выражаются, т.е. он возникает в процессе понятийного насыщения референции по отношению к некоему индивиду. Основой определенной референции является ко-референция некоего языкового знака с другими языковыми знаками или невербальными средствами.

Автор подчеркивает, что категория неопределенности/определенности – не изолированная категория, она связана с целым рядом других категорий, как собственно содержательных (тема, рема, анафора, посессивность, модальность и т.д.), так и формально-грамматических (падеж, лицо, число и т.д.). Это означает, что данная кате-

гория требует, безусловно, всестороннего изучения с учетом ее аспектов. И здесь автор делает важный вывод: «Мы считаем, что категория неопределенности/определенности должна полностью, а не только какой-то ее частью, входить в систему функциональной грамматики, говоря сравнительно, можно утверждать, что категория неопределенности/определенности принадлежит к функциональной грамматике. Однако исследование ее нельзя ограничивать лишь методом "от значения к форме", а необходимо объединять его с методом "от формы к значению", причем одновременно необходимо использовать индуктивно-экспериментальный метод для углубленного анализа различий между формальными механизмами языка и тонкостями семантики» (с. 166).

Хотя в русском языке отсутствуют артикли для выражения понятий неопределенности/определенности, в нем есть другие достаточно богатые средства их выражения. К ним относятся, в частности, неопределенные, указательные, определительные местоимения, похожее на артикль слово *один*, некоторые прилагательные, наречия и др. На некоторых из них автор останавливается подробно.

Как известно, основные функции местоимений сводятся к двум: дейксису и анафоре. Только с точки зрения речевых функций местоимений можно глубоко изучить их семантические особенности. Автор указывает на необыкновенно богатую языковую вариативность, которой обладают в русском языке неопределенные местоимения. Она заключается в том, что адресант неясно указывает на индивидуальный предмет, а затем на основе фактора "знание/незнание" адресанта происходит выделение отдельных значений ("не знаю", "не считаю необходимым указывать" и т.д.). Автор пишет, что изучение семантики неопределенных местоимений нельзя ограничивать лишь анализом степени неопределенности. Важно также осуществлять ее дизъюнктивный анализ, и только путем объединения этих аспектов можно получить достаточно полное знание этих местоимений. Автор подразделяет их на три уровня по степени неопределенности. Схематически это выглядит так (с. 39):

высшая степень неопределенности	средняя степень неопределенности	низшая степень неопределенности
+	0	–
-нибудь (-либо)	*-то*	*кое-*

Неопределенное местоимение с аффиксом *-то*, кроме указания на известную всем семантическую неопределенность средней степени, в связном тексте выполняет неопределенную интродуктивную функцию. Именно в процессе текстообразования с семантикой местоимения происходят определенные изменения: адресант в действительности располагает знанием о референте, но не торопится указать на описываемый индивид (это и есть предугадывание новой информации). Неопределенные местоимения с аффиксом *-нибудь (-либо)* выражают семантическую неопределенность самого высшего уровня. Их использование связано с определенными синтаксическими условиями: с вопросительными, повелительными, сослагательными, сопоставительными предложениями, а также с предложениями со значением будущего времени. Эти предложения указывают на ирреальные или потенциально возможные модальности. Однако эти неопределенные местоимения могут также употребляться в предложениях, выражающих однократно реализованную ситуацию. В таком случае они выражают модальность вероятности или альтернативности. Неопределенные местоимения с аффиксом *кое-* выражают семантическую неопределенность низшей степени. Однако их употребление достаточно ограничено, а количество речевых значений сравнительно невелико.

С дизъюнктивной точки зрения неопределенные местоимения с аффиксом *-нибудь (-либо)* выражают дистрибуцию разных индивидов однородного класса индивидов (предметов) в разное время. Что касается неопределенных местоимений с аффиксом *-кое* и *-то*, то они выражают дистрибуцию разных индивидов в разной пространственной локализации. С точки зрения своего дизъюнктивного значения, они противоположны неопределенным местоимениям с аффиксом *-то*, выражающим недизъюнктивное значение. Здесь автор на с. 42 своей книги приводит следующую схему (см. с. 153).

Что касается указательных местоимений, то и они представляют сложный комплекс, в котором взаимодействуют семантика и прагматика. Этот комплекс имеет определенную семантическую сторону – по отношению к адресанту, а также неопределенную сторону – по отношению к адресату. Поэтому только в сопровождении невербальных средств или только в ходе осуществления, вместе с другими языковыми единицами – анафорой или катафорой – указательное местоимение может получить

		-*нибудь* (-*либо*) дизъюнктивность во времени	
высшая степень неопределенности	средняя степень неопределенности		низшая степень неопределенности
+		0	–
-*нибудь* (-*либо*)		-*то*	*кое-*
		недизъюнктивность	
		кое- дизъюнктивность в пространстве	

в процессе коммуникации совершенно точный речевой смысл (подлинную семантическую определенность). В дискурсивном высказывании указательное местоимение может играть роль референциальной отсылки, которую, в соответствии с ее направленностью, следуя классификации К. Бюлера [Бюлер 1933], можно разделить на анафору, направленную вперед, и катафору, направленную назад. В первом случае это будет местоимение *этот*, во втором случае – местоимение *тот*. Роль указательных местоимений в текстообразовании сводится к определенной распространительной функции. Анализ употреблений указательного местоимения *этот* показывает, что они не могут быть произвольными, а определяются рядом лексических и синтаксических условий. Подобное артиклю слово *один*, которое автор называет "квазиартиклем", может выражать семантическую неопределенность двух уровней – низшего и среднего. Как и указательное местоимение с аффиксом *-то* оно также выполняет текстообразующие функции.

Большой интерес представляет рассмотрение определенности/ неопределенности в главе III. К таким средствам относится, в частности, управление глагола той или иной падежной формой существительного, ср.: *Он ждал жену свою* (И. Тургенев); *Сидел и девы ждал прекрасной* (А. Пушкин); *Я сижу в кабинете, звонка жду* (В. Шукшин). В передаче значения определенности или неопределенности участвует также форма глагола во фразах, где подлежащим является конструкция "числительное + существительное": *Пять больных выздоровело/выздоровели*. Важнейший круг средств образуют модели неопределенно-личных предложений. Развивая исследования российских лингвистов, автор подчеркивает, что недостаточно выделять здесь лишь две модели для выражения семантики неопределенности. В рассмотрение следует включать разнообразные вариативные средства, в частности, фразеологические (идиоматические) конструкции. Если говорить об основных классах неопределенно-личных предложений, то с интересующей автора точки зрения первую классическую модель образуют конструкции типа *В дверь стучат*; другая модель – *В школе готовы помочь*; третья – *Дома были в отчаянии*; наконец, четвертая – *Есть с кем поговорить*. С точки зрения семантики неопределенности эти модели имеют явные различия. Неопределенно-личные конструкции могут также участвовать в текстообразовании и выполнять своеобразную неопределенную интродуктивную функцию.

Особый раздел посвящен анализу сложных предложений с определительными придаточными. Благодаря амбивалентной природе указательного местоимения *тот*, способного выражать семантическую определенность/неопределенность, можно увидеть, что конструктивной основой сложноподчиненного предложения *Я встретил того человека, которого ждал всю жизнь* является семантическая неопределенность опорного слова главного предложения. Оно предсказывает наличие придаточного предложения и союзного слова. В результате все сложное предложение получает значение неопределенности. В различных видах сложноподчиненных конструкций опорные слова могут выполнять в текстообразовании интродуктивную и распространительную функции как в плане определенности, так и в плане неопределенности.

Значительное внимание автор уделяет вопросам коммуникативной организации смысла (тема/рема, данное/новое). Предметом специального рассмотрения здесь становится повествовательный текст. Особо подчеркивается то обстоятельство, что без учета фактора адресанта/адресата объяснительная сила теории весьма невелика. При тщательном изучении начального предложения повествовательного текста обнаруживается, что в таком предложении обыч-

ное существительное может выполнять не только неопределенную интродуктивную функцию, но также и определенную интродуктивную функцию. Поэтому важную смысловыражающую роль играет позиция существительного в составе предложения. Определенная интродуктивность строится на основе анафоры некоего слова, выраженного существительным по отношению к теме, или общего знания и интерактивного эксперимента собеседников в процессе общения. Путь к получению точной семантической определенности обычного существительного в тексте лежит не только через анафору языковых единиц. Он может быть также связан с контекстом. Иногда и в условиях анафоры языковые единицы могут порождать семантическую неопределенность. Анализ подобных явлений и связанной с ними неоднозначности показывает, что для преодоления семантической неопределенности в случае анафоры и возникающей двойственности значения фраз, необходимо следовать некоторым прагматическим правилам. Самым важным фактором при этом является сфера текстового или нетекстового знания, возникающего из опыта повседневной жизни обоих собеседников в процессе коммуникации, или из контекста. Ряд конкретных прагматических наблюдений автора посвящен личным и притяжательным местоимениям (*себя/его, свой/его*).

Переходя к общим выводам, Ли Цинь подчеркивает, что неопределенность/определенность является прежде всего категорией функциональной семантики, при этом ее функции выходят далеко за рамки предложения. Только в условиях широкого коммуникативного контекста можно получить достаточно глубокое понимание данной категории, овладеть механизмом ее реализации, и в результате этого обнаружить ее внутренние связи с процессом текстообразования, а также тонкие семантические изменения некоторых языковых единиц. Одновременно нельзя также замыкаться в рамках классического семантического анализа данной категории. Необходимо подходить к ней с позиции прагматики, с точки зрения знания обоих участников коммуникативного взаимодействия. Именно на этой основе следует анализировать семантическую структуру языковых единиц, механизмы актуализации семантики в процессе общения. Заключая свое исследование, автор пишет: "Категория неопределенности/определенности не может быть полностью охвачена системой функциональной грамматики, она уже вошла в состав лингвистики текста и прагматики. Более того, в системе функциональной грамматики категория неопределенности/определенности также не может рассматриваться как простой ее компонент, равноправный с другими категориями. По своей функции текстообразования и своей коммуникативной ценности она стала уже суперкатегорией" (с. 170), интегрирующей прагматику, семантику, грамматику и фонетику.

Хочется специально отметить такие аспекты авторской концепции, которые имеют проспективное значение и дают импульс к дальнейшим изысканиям. Прежде всего это доказательство принципиальной **биполярности** рассматриваемой категории. Здесь мы сразу же сталкиваемся с ограниченностью (и, следовательно, с неадекватностью) жесткой традиционной концепции "маркированности/немаркированности" членов категориальной оппозиции. Более правдоподобен взгляд, согласно которому разные типы категорий базируются на разных типах логик. При этом немаловажно, в частности, использовать соответствующие разновидности логики нечетких множеств. Иначе говоря, нельзя все категории подгонять под единый шаблон, а надо учитывать их когнитивную специфику. Именно на этих принципах автор моделирует движение от ***НЕ***определенности к определенности.

Из наблюдений и суждений Ли Циня следует и еще более сильная гипотеза: а не задает ли сама "НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ" (как особая семантическая область) свою отдельную категорию со своими категориальными значениями? (Заметим, что неопределенность вскрывается даже в "определенных местоимениях".) Можно считать, что именно в этом русле автором осуществлено структурирование значения неопределенности в парадигматическом (глава II) и в синтагматическом (глава III) аспектах. Перспективен и примененный в книге метод анализа подобного круга явлений: он основан на комплексном понимании семантики, на логико-когнитивно-прагматическом инструментарии, на подлинно коммуникативной интерпретации речевых функций – с точки зрения механизмов развертывания дискурса в ходе интерактивного процесса.

Наконец, монография Ли Циня органично соединяет теоретический и прикладной аспекты: когнитивный подход уверенно внедряется в практику преподавания языка (а ведь именно эта область приложений лингвистики всегда являлась и будет являться главным полигоном испытания научных гипотез).

По-видимому в силу объективных причин – сужение возможностей получения научной литературы из России – в рецензируемой монографии неполно представлены работы российских ученых последнего десятилетия. Тем не менее она убедительно свидетельствует о плодотворных поисках китайских лингвистов, занимающихся актуальными проблемами современного русского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арутюнова Н.Д. 1976 – Предложение и его смысл. М., 1976.

Белошапкова В.А. (Ред.) 1997 – Современный русский язык. М., 1997.

Бондарко А.В. 1978 – Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.

Бондарко А.В. 1984 – Функциональная грамматика. Л., 1984.

Бюлер К. 1993 – Теория языка. Репрезентативная функция языка. М., 1993.

Ревзин И.И. 1978 – Структура языка как моделирующей системы. М., 1978.

В.Г. Буров, Б.Ю. Городецкий, А.Л. Семенас

Patrick Sériot. **Structure et totalité. Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale.** Paris, Presses Universitaires de France, 1999. 353 p.

Новая книга известного французского историка лингвистики Патрика Серио (сейчас работает в Лозаннском университете в Швейцарии) посвящена теоретическим и методологическим основам лингвистических концепций двух крупнейших ученых XX века – Николая Трубецкого и Романа Якобсона (в отношении последнего речь в основном идет о 20–30-х гг., когда Р. Якобсон жил в Чехословакии и находился в тесном научном контакте с Н. Трубецким).

Данная проблематика безусловно очень важна для истории науки и в то же время до сих пор мало изучена, несмотря на широкую известность имен обоих ученых. О лингвистической деятельности Н. Трубецкого написано много. Его историософские, евразийские труды до недавнего времени по различным причинам почти не были известны ни у нас, ни на Западе; но за последнее десятилетие они изданы и в России, и в переводах на английский и французский языки (французское издание [Troubetzkoy 1996] целиком подготовлено П. Серио) и вызывают, особенно у нас, все больший интерес. Однако две части наследия ученого очень редко связываются между собой. Вопрос о том, как евразийская концепция влияла на Н. Трубецкого-лингвиста, изучен недостаточно (впрочем, П. Серио указывает здесь в качестве своего предшественника на Б. Гаспарова [Gasparov 1987]). Еще меньше обращается внимание на евразийские истоки идей Р. Якобсона, который не выступал как теоретик евразийства, но в чехословацкий период своей деятельности испытал влияние этого учения. Помимо этого П. Серио обращает особое внимание на также нашедшие отражение в лингвистике идеи Петра Савицкого, одного из двух, наряду с Н. Трубецким, главных теоретиков евразийства.

Книга "Структура и целостность" состоит из четырех частей. Изучены разные компоненты евразийской концепции, которые затем сопоставляются с лингвистическими идеями Н. Трубецкого и Р. Якобсона. Автор наряду с опубликованными трудами евразийцев использует известное издание переписки Н. Трубецкого с Р. Якобсоном, [Troubetzkoy 1975], а также воспоминания современников.

Один из важных вопросов, затрагиваемых в книге, – генезис идей евразийства. П. Серио вполне справедливо отмечает внешне парадоксальный факт: при антизападной направленности этой доктрины основные источники ее идей находились на Западе (с. 308). В целом евразийство больше было связано, однако, не с современными ему западными идейными течениями, а с философией и наукой первой трети XIX в. Безусловно важны идеи немецкой класси-

ческой философии, особенно натурфилософии Ф. Шеллинга. Как подчеркивает П. Серио, если во Франции традиции немецкой идеалистической философии потеряли популярность после появления позитивизма, то в России они всегда оставались значимыми вплоть до времен, когда формировалось евразийство (с. 264). Отмечается и использование идей географического детерминизма, выдвинутых видным немецким ученым первой половины XIX в. К. Риттером, и даже интерес Р. Якобсона к идеям французского консервативного мыслителя Ж. де Местра. В целом, по мнению П. Серио, в новых исторических условиях евразийцы, выступая против рационализма Запада, опирались на западные же по происхождению (хотя развивавшиеся и на русской почве, например у П.Я. Чаадаева) романтические и антипросветительские концепции (с. 308–309).

В то же время указывается и на обращение Н. Трубецкого и Р. Якобсона к идеям современных им ученых разных специальностей, в которых они могли находить что-то близкое себе. Целая глава книги (с. 193–211) посвящена использованию ими биологических идей ученых–антидарвинистов. Прежде всего речь идет о концепции номогенеза известного советского ученого Л.С. Берга [Берг 1922]. Согласно его положениям, живым существам изначально присуща целесообразность реакций на внешние воздействия, а развитие биологических видов обусловлено не столько расхождением признаков (дивергенцией), сколько их вторичным схождением (конвергенцией); концепция номогенеза активно обсуждалась в нашей стране в 20-е гг., но не была принята большинством биологов. Об этой концепции Р. Якобсон действительно сочувственно высказывался в публикациях тех лет [Якобсон 1985: 93]. По мнению П. Серио, идеи номогенеза нашли отражение как в признании Н. Трубецким и Р. Якобсоном телеологического принципа развития языков, так и в их представлениях о конвергенциях и дивергенциях в языковой истории. Упоминаются и другие ученые–естественники, в частности русские и советские (В.В. Докучаев, В.В. Алехин), на чьи исследования опирались евразийцы.

Разбирая идеи евразийцев, П. Серио прослеживает их влияние на те или иные подходы их к языку. Любопытно, что из данных книги следует, что в большей степени такое влияние очевидно в отношении Р. Якобсона, нежели Н. Трубецкого. Например, основателем учения о языковых союзах единодушно признается Н. Трубецкой, однако эта идея у него упоминается лишь вскользь, тогда как Р. Якобсон занимался ею весьма активно.

Безусловно, самый очевидный пример такого влияния – концепция языковых союзов, выдвинутая как одно из обоснований априорной по своему происхождению идеи евразийской культурно-исторической общности. П. Серио подробно разбирает как немногочисленные высказывания Н. Трубецкого на этот счет, так и более развернутые построения Р. Якобсона, связывавшего евразийский союз с наличием в языках противопоставления твердых и мягких согласных и отсутствием политонического ударения (с. 79–110). В другом месте книги (с. 233–243) показано, как эти построения были связаны с географическими представлениями евразийцев, с их представлениями о географических зонах, о центре и периферии того или иного ареала, об осях симметрии.

Другой достаточно несомненный пример – выдвижение Н. Трубецким и Р. Якобсоном принципа телеологичности, целенаправленности как главного свойства языка. Этот принцип выдвигался ими и в синхронии (ведущее для пражцев в целом понятие функции), и в диахронии (целенаправленность изменений) [Якобсон 1985: 130]. П. Серио в основном рассматривает его диахроническую сторону, тесно связанную с евразийскими идеями о саморазвитии культуры. Подчеркивается и связь с упомянутой выше концепцией номогенеза и другими антидарвинистскими концепциями. По мнению П. Серио, хотя Р. Якобсон неоднократно подчеркивал социальный характер языка и критиковал дарвинистский биологизм А. Шлейхера, он не в меньшей степени, чем А. Шлейхер, уподоблял в работах 20–30-х гг. язык организму и опирался на биологические концепции, но не дарвинистские, а антидарвинистские. С таким подходом автор рецензируемой книги связывает и идеи известной статьи Н. Трубецкого "Мысли об индоевропейской проблеме", где шлейхеровской модели "родословного древа", признающей лишь дивергенции, противопоставляется во многом противоположная модель, основанная на конвергенциях, вторичных схождениях языков; эта модель хорошо согласуется с евразийскими идеями о культурных ареалах, в которые входят народы, не восходящие к общему предку, но приобретшие общие свойства.

В книге П. Серио много говорится и о попытках евразийцев прямо сопоставить данные, относящиеся к разным предметным областям, выявляя схождения и параллели

без выдвижения гипотез о каких-либо причинно-следственных связях; например, для русского языка Р. Якобсон под влиянием П. Савицкого указывал на совпадение изотерм с изоглоссами (с. 221–222). В этом проявлялось как стремление евразийцев рассматривать культурные ареалы в их целостности, так и их попытки создания единой синтетической науки; последнему *вопросу посвящена вся четвертая часть* книги (с. 255–305).

Влияние евразийских историософских и культурологических идей П. Серио находит и в ряде других концепций, свойственных двум исследуемым ученым, а во многом и Пражской школе в целом, например концепции центра и периферии в языке (с. 243–249). Наконец, это влияние усматривается и в общем понимании того, что такое язык. Здесь, по мнению П. Серио, взгляды двух выдающихся уроженцев России во многом были противоположны идеям Ф. де Соссюра.

П. Серио считает, что Ф. де Соссюр, а вслед за ним большинство западных структуралистов исходили из следующей посылки: "Точка зрения создает объект (лингвистики. – *В.А.*). Объект, о котором идет речь, не существует заранее как таковой, он конструируется теорией" (с. 298–299). В то же время для Н. Трубецкого и Р. Якобсона язык "имеет онтологическое существование" (с. 300), т.е. существует независимо от исследователя. Если для Ф. де Соссюра язык – структура, то для этих двух ученых (хотя они и пользовались термином "структура") язык – прежде всего "целостность" (totalité), так же как целостна Евразия.

Такое противопоставление во многом верно, хотя, на наш взгляд, позиция Ф. де Соссюра здесь не столь последовательна, как это получается у П. Серио. В период чтения швейцарским ученым своих лекций она находилась еще в стадии становления и так и не получила законченного вида (из-за чего Ф. де Соссюр не хотел ее публиковать). Его высказывания о том, что язык – "система чистых значимостей" и что "в языке нет ничего, кроме различий", безусловно, шаг в сторону представления о языке как чистом конструкте, позже последовательно высказанного Л. Ельмслевом и др. Но в других местах "Курса", особенно в его начале, говорится и о существовании языка до исследователя и независимо от исследователя: "Языковые знаки... – не абстракции; ассоциации, скрепленные коллективным согласием и в своей совокупности составляющие язык, суть реальности, локализующиеся в мозгу" [Соссюр 1977: 53]. Такие идеи нашли в какой-то степени продолжение у пражцев, хотя они отказались от психологизма.

Но в связи с отмеченными у П. Серио различиями между исходными позициями теории Н. Трубецкого и Р. Якобсона и других европейских структуралистов возникает еще один, более важный вопрос: почему взгляды этих ученых были восприняты на Западе как структуралистские, а многие их идеи и методы восприняли лингвисты, ничего не знавшие о евразийстве и воспитанные совершенно в иных традициях? Приведенные в книге данные о евразийском "подтексте" идей языкового союза, конвергенции или центра и периферии сами по себе вполне убедительны, однако насколько эта связь, важная для самих евразийцев, объективно была необходимой?

Здесь нельзя не отметить, например, что ряд идей, близких к идеям Н. Трубецкого и раннего Р. Якобсона, в том числе о языковых союзах, в те же годы и даже несколько раньше высказывал Е.Д. Поливанов. Об этом уже писали [Иванов 1985: 16–17]; говорит об этом и П. Серио, хотя имя Е.Д. *Поливанова упомянуто в книге* лишь вскользь. Однако Е.Д. Поливанова никак нельзя причислить к евразийцам, внелингвистические истоки его идей совсем другие.

В связи с этим нам все же представляется, что евразийские истоки ряда лингвистических идей Н. Трубецкого и Р. Якобсона нельзя игнорировать, но не стоит и переоценивать. В их лингвистической деятельности они играли, на наш взгляд, примерно ту же роль, что марксизм в деятельности Е.Д. Поливанова и других советских лингвистов той эпохи [Алпатов 1999]. Они стимулировали выбор той или иной точки зрения, тех или иных решений, нередко самого объекта рассмотрения, но из этого не следует, что существовала какая-то особая евразийская (как и марксистская) лингвистика, принципиально отличная от иной лингвистики. Взгляды всех этих ученых имели свои особенности, генезис которых может быть связан с их философскими, политическими и др. взглядами, но поиски ученых шли в общем русле развития мировой науки о языке первой половины XX в. (а Р. Якобсон продолжал их до 80-х гг.); так или иначе, прямо или косвенно они развивали подход, ведущий начало от Н.В. Крушевского, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра.

В заключение остановимся на главе книги (с. 139–167), несколько отходящей в сторону от ее основной проблематики, но

весьма интересной. В ней идеи Н. Трубецкого и Р. Якобсона сопоставляются с "новым учением о языке" Н.Я. Марра. П. Серио, разумеется, не разделяя положения этого учения, старается подойти к нему объективно, без эмоций, в отличие от большинства историков марризма. Отметим в связи с этим, что мы не можем согласиться с оценкой нашей книги на эту тему [Алпатов 1991], в которой П. Серио видит лишь взгляд на Н.Я. Марра как на "психопата–мегаломана" (с. 141) без попыток рассмотреть его идеи в историческом контексте. Однако во многом в нашей книге говорится то же самое, что и у П. Серио: учение Н.Я. Марра было попыткой преодолеть кризис сравнительно-исторического языкознания, наметившийся к началу XX в.; оно соответствовало духу времени и потому ни его появление, ни его популярность не были случайными.

П. Серио отмечает некоторые черты сходства между марризмом и "евразизмом" в лингвистике. Оба направления возникли в результате поисков выхода из кризиса в лингвистике, которая до начала XX в. основывалась на концепции "родословного древа". И Н.Я. Марр, и лингвисты-евразийцы отказались от этой концепции и предложили во многом противоположную, хотя и с разной степенью радикальности: Н.Я. Марр вразрез с очевидными фактами вообще отвергал дивергенцию языков, а Н. Трубецкой допускал конвергенцию и дивергенцию. Есть и кое-что другое. В соответствии с духом времени оба крайне резко относились к современной им западной науке и призывали создать качественно новую науку: Н.Я. Марр – "пролетарскую", Н. Трубецкой – "русскую" (в отличие от Марра Трубецкой никогда не писал об этом в лингвистических работах). Добавим и сходство, прямо не упомянутое у П. Серио: его тезис о том, что у евразийцев многое воспринято от западных мыслителей первой трети XIX в., вполне подходит и к Н.Я. Марру. Кстати, стадиальные идеи последнего вовсе не обязательно возводить к дарвинизму: у Н.Я. Марра они скорее взяты не у дарвиниста А. Шлейхера, а у В. фон Гумбольдта и других основателей типологии. П. Серио отмечает и различия двух подходов: учение Н.Я. Марра – эволюционистское, основанное на стадиальности, чего нет у Н. Трубецкого, концепцию которого П. Серио называет "диффузионизмом".

Не отрицая правомерности сопоставления двух этих коцепций, современных друг другу и связанных с общим духом времени, мы не можем не упомянуть две особенности стиля работы Н.Я. Марра, отличающие его от Н. Трубецкого. Это недостаточный профессионализм, в том числе слабое владение компаративной методикой (при замечательной интуиции), и нежелание считаться с фактами, подгонка их под схемы. Впрочем, последнюю черту можно найти и в евразийских публикациях Н. Трубецкого, однако она не свойственна его трудам по лингвистике. Именно это (наряду с известными экстранаучными причинами) обусловило в итоге разное место двух этих талантливых людей в истории лингвистики.

В целом книга П. Серио "Структура и целостность" при дискуссионности ряда положений заполняет явный пробел в истории науки о языке XX века и обогащает наши знания о Н. Трубецком и Р. Якобсоне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алпатов В.М. 1991 – История одного мифа. М., 1991.

Алпатов В.М. 1999 – Что такое марксизм в языкознании? // Общее и восточное языкознание. Сборник научных трудов, посвященный 70-летию члена-корреспондента РАН В.М. Солнцева. М., 1999.

Берг Л.С. 1992 – Номогенез. Пг., 1922.

Иванов В.В. 1985 – Лингвистический путь Романа Якобсона // Р. Якобсон. Избранные работы. М., 1985.

Соссюр Ф. де 1977 – Труды по языкознанию. М., 1977.

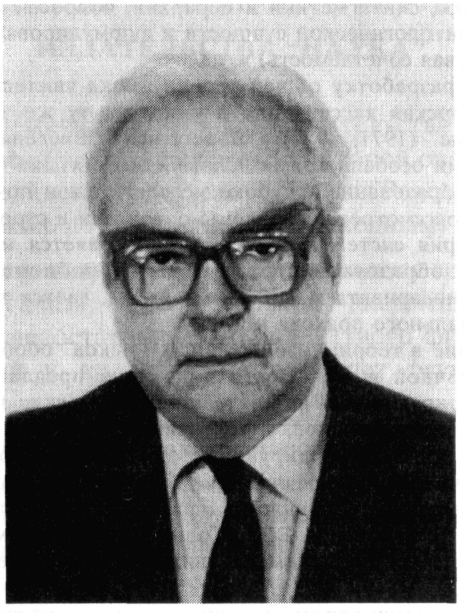
Якобсон Р. 1985 – Избранные работы. М., 1985.

Gasparov B. 1987 – The ideological principles of Prague School phonology // Language, poetry and poetics: The generation of the 1890s: Jakobson, Trubetskoy, Majakovskij: Proceedings of the First Jakobson Coll. Berlin; New York, 1987.

Troubetzkoy N. 1975 – Letters and notes. Berlin; New York; Amsterdam, 1975.

Troubetzkoy N. 1996 – L'Europe et l'humanité/ Trad., notes et présentation par P. Sériot. Liège, 1996.

В.М. Алпатов



ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ СОЛНЦЕВ

(1928–2000)

Российская наука понесла невосполнимую утрату. 19 апреля 2000 г. в возрасте 72 лет скончался выдающийся ученый-лингвист, член-корреспондент Российской академии наук, академик Российской академии естественных наук, лауреат Государственной премии, профессор, директор Института языкознания РАН, главный редактор журнала "Вопросы филологии", член редколлегий журналов "Вопросы языкознания" и "Известия академии наук. Серия литературы и языка" Вадим Михайлович Солнцев.

Видный языковед широкого профиля, крупный специалист по общему и восточному языкознанию, выдающийся типолог и грамматист, более 50 лет посвятил В.М. Солнцев исследованию языков Восточной, Юго-Восточной и Центральной Азии.

В.М. Солнцев прошел большой и плодотворный творческий путь. Он родился 28 марта 1928 г. в г. Ногинске Московской области. Окончил Московский институт востоковедения (1949) и аспирантуру (1953), защитил кандидатскую диссертацию "Проблемы слова и корня в современном китайском языке" (1953); в течение девяти лет преподавал китайский язык в Московском институте востоковедения (1949–1954) и в Московском институте международных отношений МИД СССР (1954–1958). Более 40 лет В.М. Солнцев вел научно-исследовательскую работу в стенах Академии наук. В 1970 г. защитил докторскую диссертацию "Язык как системно-структурное образование", в 1971 г. ему присвоено ученое звание профессора, в 1984 г. избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1992 г. – академиком РАЕН, в 1995 г. присвоено звание лауреата Государственной премии Российской Федерации. 29 лет сотрудничал В.М. Солнцев с журналом "Вопросы языкознания" в качестве заместителя главного редактора (1971–1988), затем (до последних дней) – члена редколлегии.

Диапазон научных интересов В.М. Солнцева необычайно широк. Его научные идеи, изложенные более чем в 350 публикациях и докладах, получили широкую известность в нашей стране и за рубежом; многие работы переведены на восточные и европейские языки. В исследованиях В.М. Солнцева выделяется несколько основных направлений: разработка проблем общей теории и философских основ языкознания, исследование восточных языков, прежде всего китайского, вьетнамского, монгольского, алтайских, разработка общей теории изолирующих языков и типологии языковых союзов. В общелингвистических трудах исследуется широкий круг важнейших общетеоретических онтологических проблем языкознания: строение языка как системы, теория знаковости, типология, семантика,

проблемы парадигматики, синтагматики и иерархии, вопросы, связанные с определением языкового уровня как онтологической сущности и формулированием критериев выделения уровней в языке (уровневая сочетаемость) и т.д.

Крупным вкладом в разработку общей теории языка явились фундаментальные труды В.М. Солнцева – докторская диссертация и книга на ту же тему "Язык как системно-структурное образование" (1971, 1977) и монография "Введение в теорию изолирующих языков: в связи с общими особенностями человеческого языка" (1995). В книге "Язык как системно-структурное образование" глубоко исследуются и по-новому решаются многие вопросы теории языка, рассмотрены проблемы онтологии и строения человеческого языка, разработана общая теория систем и структур, определяется место языка в ряду других системно-структурных образований, рассмотрена проблема знака и его значения, развивается концепция инварианта и варианта в языке, дается теоретическое обоснование структурно-субстанционального подхода к языку.

Монография "Введение в теорию изолирующих языков" обобщает результаты описания более 20 языков Восточной и Юго-Восточной Азии, предлагает особый тип лингвистического описания, базирующийся на синтезе теоретических представлений, рожденных при анализе индоевропейских языков, и тех данных, которые отражают специфические свойства изолирующих языков; изолирующий строй языков рассматривается как определенный этап в развитии языков, предлагается деление всех языков мира на изолирующие и неизолирующие с последующим делением на флективные и агглютинативные.

Общетеоретические исследования В.М. Солнцева неотделимы от его исследований в области конкретных языков: неоценим его вклад в отечественную китаистику, монголистику, вьетнамистику.

В.М. Солнцев был инициатором и руководителем российской части Российско-вьетнамской лингвистической экспедиции (1979–2000), проводившей во Вьетнаме полевые обследования малоизученных и бесписьменных языков народов Вьетнама – всего обследовано 20 языков.

В.М. Солнцев обладал незаурядным организаторским талантом: 22 года был заместителем директора Института востоковедения АН СССР (1965–1987), 13 лет – директором Института языкознания РАН (1987–2000), с 1979 г. был председателем российской части Российско-вьетнамской Комиссии по сотрудничеству РАН и Научного центра по общественным и гуманитарным наукам СРВ, заместителем председателя Комиссии по сотрудничеству РАН и Академии наук Монголии в области общественных наук, был членом бюро Отделения литературы и языка РАН, главным редактором большого числа коллективных, серийных и индивидуальных монографий. Длительное время был членом экспертного совета ВАК, а также председателем филологической секции Комитета по Ленинским и Государственным премиям. На протяжении всей своей деятельности В.М. Солнцев всегда активно участвовал в общественной жизни страны. Он был вице-президентом Общества российско-китайской дружбы, президентом Общества монголоведов РАН, вице-президентом Международной Ассоциации монголоведов.

Научная и общественная деятельность В.М. Солнцева высоко оценена в нашей стране: он награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и "Знак почета", медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со для рождения В.И. Ленина" и "В память 850-летия Москвы"; за рубежом он награжден орденом "Дружба" СРВ и медалями МНР "50 лет Монгольской Народной революции" и "Дружба"; избран почетным членом Международной Ассоциации монголоведов; ему присвоено звание почетного профессора Хэйлунцзянского Университета (КНР, Харбин).

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА "НАУКА"

Подписка на академические журналы издательства "Наука" в I полугодии 2001 г. будет проводиться по той же схеме, по которой она велась во II полугодии 2000 г., – по ценам Объединенного Каталога Прессы России "Подписка-2001" (т. 1) в отделениях связи, а также по специальным (сниженным) ценам.

Специальные (сниженные) цены предоставляются государственным научно-исследовательским организациям Российской академии наук, а также их сотрудникам. В связи с недостаточностью бюджетного финансирования подписка для других учреждений и их специалистов будет осуществляться на общих основаниях.

Индивидуальные подписчики академических организаций смогут оформить подписку по специальным ценам, **предъявив служебное удостоверение**. Лица, желающие получать подписные издания непосредственно на свои почтовые адреса, а также иногородние подписчики смогут оформить ее по специальным заявкам. Индивидуальная подписка по-прежнему будет проводиться по принципу "Один специалист – одна подписка".

Коллективные подписчики, перечисленные выше, для оформления своего заказа должны будут направить в издательство "Наука" надлежаще оформленные бланк-заказы. При положительном рассмотрении полученных заявок оплата производится через отделение банка или почтовым переводом на основании полученного подписчиками счета ЗАО "Агентство подписки и розницы" (АПР).

Учреждения РАН, специализирующиеся на комплектовании научных библиотек **академических организаций** (БАН, БЕН, ИНИОН), могут осуществить подписку, как и прежде, непосредственно в издательстве, предварительно согласовав с ним список пользующихся их услугами организаций и количество льготных подписок.

Лицам и организациям, сохранившим право подписки по специальным ценам, в соответствии с настоящими условиями, достаточно будет при оформлении подписки на I полугодие 2001 г. лишь подтвердить заказ, указав в письме номер своего кода, присвоенного АПР при предыдущем оформлении подписки.

Бланки заказов как коллективных, так и индивидуальных подписчиков **будут приниматься только с печатью организации** (оттиск должен быть четким и читаемым).

Убедительно просим всех индивидуальных и коллективных подписчиков журналов издательства "Наука", имеющих право на подписку по специальным ценам, заблаговременно направлять свои заказы и письма по адресу: 117864, ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90, комната 430, факсы: 334-76-50, 420-22-20.

Поздно поданная заявка будет оформляться только с соответствующего месяца.

В конце этого номера журнала публикуются бланки заявок с указанием цены подписки, доставляемой по Вашему адресу.

Издательство "Наука"

CONTENTS

R.K. Potapova, V.V. Potapov (Moscow). Phonetics and phonology at the crossroads of centuries: ideas, problems, decisions; L.P. Krysin (Moscow). Social marking of language units; R.Z. Muriasov (Moscow). Non-finite forms of the verb: a contrastive and typological study; M.Ja. Blox (Moscow). The dicteme and its role in the level structure of language; O.Ju. Kriučkova (Saratov). Reduplication in the light of language typology; G.I. Kustova (Moscow). Congnitive models in semantic derivation and the system of derivative meanings. **From the history of science.** O.A. Radčenko (Moscow). The problem of language community in the German philosophy of language (the first half of the XX century). **Reviews**: V.A. Plungian (Moscow). Typology of verbal categories: Papers presented to Vladimir Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday; A.T. Falileev (St.-Petersburg). *G. Isaac*. The verb in the Book of Aneirin. Studies in syntax, morphology and etymology; V.G. Burov, B.Ju. Gorodeckij, A.L. Semenas (Moscow). *Li Tsing*. The category of in-/determinacy in Russian: language means and their function in speech; V.M. Alpatov (Moscow). *Patrick Seriot*. Structure et totalité. Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale.

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.04.2000 Подписано к печати 06.06.2000 Формат бумаги 70 × $100^{1}/_{16}$
Офсетная печать. Усл.-печ.л. 13,0 Усл.кр.-отт. 18,5 тыс. Уч.-изд.л. 15,2 Бум.л. 5,0
Тираж 1399 экз. Зак. 3713

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители: Российская академия наук, Отделение литературы и языка РАН

Адрес издателя: 117864, Москва, Профсоюзная, 90
Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, телефон 201-25-16

Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099 Москва, Шубинский пер., 6